

К1514105

De

Виктор ГУРА

ХЛЕБ ДА СОЛЬ!

История слободы Николаевской



Вологодская областная
универсальная научная
библиотека им. И.В. Бабускина

ДАР из Библиотеки
с. Гурь

ВИКТОР ГУРА

ХЛЕБ ДА СОЛЬ!

История слободы Николаевской



Нужно было пережить со страной, со своим народом все лишения и радости послевоенного возрождения, прежде чем подступила пора зрелого размышления. Появилась возможность оглянуться, подумать о пройденном и пережитом, различить и невнятные сумерки отдаленного прошлого. И тут оказалось, что историческая наша память - совсем не бросовое дело. Напротив, память эта важна для будущего, а вложенный в нее воспитательный заряд обретает такую взрывную силу, что может опалить самое черствое, самое равнодушное сердце.

НИКОЛАЕВСК 2013

K1514105

ВОЛОГОДСКАЯ
областная библиотека
им. И. В. Бабушкина

84
84(2=411.2)6-4 + кр

Г 95 Книга выпущена по инициативе редакционного совета литературного клуба «Слово» благодаря финансовой поддержке администрации Николаевского муниципального района и лично главе района Юрию Юрьевичу Чувашину.

Художественно-публицистическое издание

Виктор Васильевич Гура

Хлеб да соль!

История слободы Николаевской

В книге использованы репродукции работ художника **Анатолия Петровича Токарева**

На обложке - картина **А. Токарева** "Озеро Резницкое"

Редактор издания - **В. Ю. Сухнев**

Технический редактор - **Н. В. Гребенникова**

Корректурa - **Г. Н. Великая, Н. В. Гребенникова**

Верстка - **В. В. Бондаренко**

Печать - **Н. М. Каплунова**

ВОИН, УЧЕНЫЙ, ПИСАТЕЛЬ

1.

«Виктор Васильевич Гура, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, родился 1 июня 1925 года в заволжской степной слободе Николаевской в семье колхозного бухгалтера Василия Гавриловича. Мать его, Анна Андреевна, урожденная Фишер, была из поволжских немцев. Отец – из тех украинцев, которые в XVIII веке были переселены на Волгу».

Так начинается один из биографических очерков о нашем земляке. Как видим, в судьбе Виктора Васильевича переплелись корни двух народов, издавна населявших заволжскую степь, – украинцев и немцев. Хотя и фамилия Гура не совсем украинская – скорее, польская. Недаром в 1944 году Виктора Васильевича «сватали» в Войско Польское, которое формировалось на территории СССР.

Это очень характерно для наших мест: веками перемешивалась под горячим солнцем кровь украинцев, русских, татар, немцев, казахов, поляков... Я называю только крупные этносы. А сколько еще представителей малых народов Поволжья и Северного Кавказа становились по самым разным причинам николаевцами!

Наша заволжская степь издревле была плавильным котлом, в котором со временем выкристаллизовалась своеобразная народность-николаевские слобожане – свободные, по-хорошему упрямые и цепкие люди. Они знали цену труда и коллективизма: в одиночку на степных ветрах и скудных глинистых почвах выжить было невозможно. Трудолюбие, обязательность, чувство локтя – вот что всегда отличало николаевцев. Поэтому за Волгой никогда не нищенствовали – ни при

царях, ни при коммунистах. Работали, растили детей, защищали Родину, когда призывал долг.

И еще одно великое свойство было у николаевцев всегда – тяга к знаниям. Возможно потому, что эту тягу воспитывали замечательные николаевские учителя. Трудно даже перечислить, сколько прекрасных специалистов-николаевцев получили российская наука, культура, просвещение, здравоохранение, связь. Небольшой пример: в Николаевске родился не только один из космонавтов, но и несколько крупных военных инженеров и конструкторов, обеспечивавших связью полеты в космос, разрабатывавших керамическую броню космического челнока «Буран». Есть в Николаевске также свои археологи, филологи, писатели, военачальники – физики и лирики.

Удивительно высокую духовную атмосферу нашей слободы, а потом города создавали целые поколения интеллигенции. Дети и внуки пахарей и пастухов не только получали образование в лучших университетах страны, но и становились основателями научных школ, ведущими учеными целых направлений, преподавателями. Они несли в душе огонь знаний и передавали его молодым. Одним из таких подвижников был Виктор Васильевич Гура.

Мощный толчок к его занятиям литературой дала, конечно, встреча с Михаилом Александровичем Шолоховым. Писатель с семьей эвакуировался в слободу Николаевскую, которая в войну на некоторое время стала административным центром Сталинградской области. Осенью 1941 года в десятом классе, где учился Виктор Гура, появилась новая ученица – Светлана Шолохова. Она и познакомила начинающего журналиста и его друга, будущего поэта Александра Красильникова, со своим легендарным отцом. Мальчишки пришли в гости к Шолохову и принесли первые пробы пера. Вот как вспоминает об этом Виктор Васильевич в статье «Письмо на Родину», опубликованной в николаевской районной газете «Заволжье» 7 мая 1975 года: «Докучали мы ему своими писаниями. О них теперь стыдно вспоминать, но тогда уж очень хотелось показать большому писателю... Сашка сказал, что принес стихи свои, я было ударился рассказывать о том, что пишу роман о гражданской войне на Волге. Шолохов тут же прочитал все, что мы принесли, и прямо сказал, что из всего этого пока ничего не выйдет».

После школы Виктор Гура поступил в Саратовский университет, на историко-филологический факультет. Ему повезло с педагогами: в Саратове в эвакуации оказались преподаватели Ленинградского университета профессора С. Д. Балухатов, В. Е. Евгеньев-Максимов, Г. А. Гуковский, В. Я. Пропп, И. М. Тронский, Б. М. Эйхенбаум. А еще здесь преподавали филологи А. П. Скафтымов и Ю. Г. Оксман. В одной статье я нашел утверждение, что таким профессорско-преподавательским составом, какой сложился в годы войны в Саратовском университете, тогда не мог похвастать даже Московский университет. Действительно, это были выдающиеся ученые, каждый из которых в своей области литературоведения уже тогда являлся авторитетом.

Можно представить, с каким удовольствием, с какой жаждой нового учился у этих профессоров юноша из заволжской глубинки! Но учиться пришлось недолго: студента Гуру призвали в армию и направили в начале 1943 года во 2-е Киевское артиллерийское училище. Оно тогда начинало готовить первых офицеров самоходной артиллерии. Виктор окончил его с отличием, то есть с правом выхода в гвардию. Вспомню тут старую сентенцию: талантливый человек во всем талантлив. Вчерашний гуманитарий, занимавшийся источниковедением и фольклористикой, должен был изучать тригонометрию, матчасть самоходной установки и прочие дисциплины, очень далекие от филологии.

Лейтенант Гура почти сразу после выпуска оказался на Первом Украинском фронте, под районным центром Липовцем Винницкой области. По всему фронту разворачивались тяжелые бои – начиналось освобождение Украины от захватчиков. Липовец стоял на реке Соб, притоке Южного Буга, а железнодорожная станция находилась на линии Христиновка - Казатин. В оперативном отношении Липовец был важным центром, за который немцы старались зацепиться. Поэтому бои здесь шли ожесточенные. Позже Виктор Васильевич напишет в автобиографии: «Не забыть никогда мне медленно наступавшее хмурое утро 31 января 1944 года, когда на мою самоходку, стоявшую в одиночестве у линии железной дороги под Липовцем, обрушился шквальный огонь шести прорвавшихся немецких танков. Впятером мы отбивались до последнего снаряда и подбили пять вражеских

машин. Я был тяжело ранен, не чувствовал ног, подтягиваясь на руках, с трудом вывалился на подтаявший вокруг самоходки горячий снег».

Ему тогда не исполнилось и двадцати... После госпиталей Гура вновь встал в строй. Недолго служил в Ташкенте, а потом, тоже на короткое время, был переведен под Москву. Получив однажды увольнение, Виктор Гура поехал в столицу, где тогда в Староконюшенном переулке жили Шолоховы. Об этой встрече Виктор Васильевич пишет в той же статье в «Заволжье»: «За завтраком, усадив к себе поближе, Михаил Александрович расспрашивал, где и в каких боях я участвовал. Особенно интересовался тогдашней новинкой – тяжелыми самоходками, на которых мне пришлось воевать, их лобовой и бортовой броней, мощностью орудия, использованием в обороне, прорыве и наступлении. Интересовали его и николаевские новости, и судьбы ушедших на войну ребят моего класса, и виды на урожай на Волге... Шолохов в это время много работал над романом «Они сражались за Родину» и часто выезжал на фронты, в места действия своего романа».

Потом Виктор Васильевич не раз встречался с Шолоховым, больше месяца жил у писателя в Вешенской. Это были не праздные встречи – Гура собирал материал о творчестве великого русского писателя, потому что уже тогда твердо решил заниматься литературой. И Шолоховым. Но пока надо было воевать. С частями 3-го Белорусского фронта Гура дошел до Кенигсберга, после победы над Германией отправился на восток, на новый фронт – в Манчжурию. Демобилизовали его только в начале 1946 года. Боевой офицер, награжденный двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и другими, снова стал студентом филфака Саратовского университета. Было ему тогда двадцать с небольшим... Время делало из мальчишек героев, или мальчишки были такими, что делали время героическим?

2.

Будучи студентом, Виктор Гура готовит первую книгу о Шолохове, собирая для нее материалы – биографию и библиографию. Это была серьезная работа – к тому времени о творчестве писателя вышло немало публикаций на самых разных языках. В 1950 году Саратовский

университет издает книгу Гуры «Михаил Александрович Шолохов. Библиографический справочник». (Саратов, 1950). Редактором справочника был профессор Александр Павлович Скафтымов, у которого Гура учился в начале войны. Скафтымов был легендарной личностью. Он родился в семье священнослужителя, окончил Саратовское духовное училище и семинарию, а в 1913 году – историко-филологический факультет Варшавского университета. Сначала преподавал в гимназиях, а с 1918 года – в Саратовском университете. По праву считается одним из крупнейших советских источниковедов и исследователей русской литературы. Он прожил почти восемьдесят лет и умер в 1968 году. Гура, уже будучи известным ученым, не порывал связи с учителем, который передал ему главное в работе исследователя – точность и трудолюбие.

В университете Виктор Васильевич встретил и свою единственную любовь – Ирину Викторовну. Они проживут вместе больше сорока лет... Девочка из хорошей ленинградской семьи, она в 1936 году осталась на попечении бабушки: маму арестовали и отправили в Кемь, на строительство Беломоро-Балтийского канала. В 1937 году мать расстреляли. Бабушку с Ирой и семью дяди, как родственников «врага народа», выслали в Башкирию, в глухое село Мелеуз. Перед войной им разрешили уехать из Башкирии, но не в Ленинград, а во Владимир, где бабушка и дядя каждые десять дней отмечались в милиции. Потом Ирина Викторовна не раз говорила, что судьба их пощадила. В Ленинграде, в блокаду, они наверняка бы погибли.

Школу Ирина окончила за несколько дней до войны. Работала сначала диктором Владимирского радио, потом редактором службы новостей. В 1944 году ей разрешили поступить в вуз. Она узнала, что Ленинградский университет находится в эвакуации в Саратове, и, не раздумывая, поехала на Волгу. Здесь, в университете, она и познакомилась с Виктором Гурой, который вернулся доучиваться. В 1947 они поженились, а в 1949 году вместе отправились по распределению в Вологодский педагогический институт. Ирина Викторовна вспоминала, что им сначала было предложено распределение в Литву. Но Виктор Васильевич наотрез отказался: он воевал там и знал, как в Литве относятся к русским.

Многие выпускники Вологодского пединститута до сих пор добрым

словом вспоминают супругов Гура. Виктор Васильевич преподавал советскую литературу. С 1964 года он заведовал кафедрой русской и зарубежной литературы. Вот где проявились не только творческие, но и организаторские способности Виктора Васильевича! Кафедра провинциального педагогического института превратилась в центр притяжения интеллектуальных сил страны. Гура организывает всесоюзные и республиканские конференции литературоведов, которые быстро становятся «своеобразными съездами», как отмечал журнал «Вопросы литературы» в 1976 году. На правительственном уровне утверждается постоянно функционирующее в Вологде Межвузовское научно-методическое объединение. Оно каждый год выпускает сборники «Проблемы реализма», которые редактирует Виктор Васильевич. В Вологде проходят Чтения по истории культуры и литературы Древней Руси, в которых участвует академик Д. С. Лихачев. Гура разрабатывает для своей кафедры новые учебные курсы, выделяя литературоведение как науку. Помня уроки профессора Скафтымова, Виктор Васильевич особенно подчеркивает в новых курсах важность источниковедения и библиографии. Эти разработки потом с успехом использовались на филфаках других вузов.

Всегда рядом с Виктором Васильевичем была Ирина Викторовна. Она защитила кандидатскую диссертацию по творчеству Алексея Толстого, преподавала. И успевала вести семью. Забегая вперед, скажу, что в семье Виктора Васильевича и Ирины Викторовны родился сын Александр и дочь Наталья. Сейчас Александр Викторович – доктор филологических наук, ведущий сотрудник Института славяноведения Российской Академии наук. Наталья Викторовна преподает английский язык в Минском педагогическом университете. Внук Тимофей служит в белорусском посольстве в Тегеране, а внучка Анастасия работает в Америке. «Бескорыстие, преданность выбранной профессии, доброжелательность, открытость, истинная интеллигентность – вот что всегда было и остается отличительной чертой их семьи», – писала в газете «Вологодская неделя» одна из учениц супругов Гура. Там же она приводит слова Ирины Викторовны: «В Вологде было много счастливых лет. Любимая семья. Любимые дети. Любимые друзья. Любимые студенты...».

Виктор Васильевич скоропостижно умер в гостях у дочери, в Минске, 17 ноября 1991 года. Там же, в столице Белоруссии, он и похоронен.

Но вернемся в «счастливые годы». Гура преподавал и одновременно работал над книгами. Буквально за год подготовил сборник «Русские писатели в Вологодской области», который вышел в 1951 году. Виктор Васильевич стал основателем областного литературного краеведения. Написал множество работ о вологодских писателях – о незаслуженно забытом поэте Василии Красове, которого высоко ценили Белинский и Лермонтов, о Константине Батюшкове, Павле Засодимском, который нередко подписывался прозрачным псевдонимом «Вологдин». А также о Владимире Гиляровском, «дяде Гиляе»; об Иване Евдокимове, авторе биографических книг о русских художниках; о Константине Коницеве, писавшем о деятелях русской культуры – уроженцах Севера.

В 1968 году Виктор Васильевич защитил докторскую диссертацию «Роман и реализм», на основе которой была создана монография «Роман и революция». В книге исследовалось становление романа в 1920-е годы и творчество А. Белого, Б. Пильняка, А. Веселого, М. Булгакова, И. Эренбурга, А. Серафимовича, К. Федина, Л. Леонова, А. Толстого, М. Шолохова и многих других писателей того времени. Книга стала настольным пособием студентов-филологов и всех, кто занимался литературоведением.

Однако главной темой Виктора Васильевича Гуры оставалось творчество Шолохова. Еще в 1953 году он защитил кандидатскую диссертацию «Творческая история романа Шолохова «Тихий Дон», которую некоторое время спустя Учпедгиз выпустил отдельным изданием. В 1980 году в издательстве «Советский писатель» вышла книга Гуры «Как создавался «Тихий Дон» – результат многолетних исследований. Книгу подробно и доброжелательно рассматривали авторы самых разных литературных изданий – от «Литературного обозрения» до «Нового мира». Виктор Васильевич, не подавая ни малейшего повода для полемики, сумел сказать в книге главное: авторство Шолохова не подлежит никакому сомнению.

А в 1956 году Виктора Васильевича приняли в Союз писателей СССР. Надо сказать, что в Вологде тогда не было областной

писательской организации, и Гуря много сделал для того, чтобы она заработала.

Научная и педагогическая деятельность нашего земляка отмечена высоко: он отличник народного просвещения СССР, награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалью имени Ушинского, а в 1985 году получил звание заслуженного деятеля науки.

3.

Несмотря на то что совсем юным Гуря покинул родную слободу, он никогда не порывал связь с родной землей, где жили его родственники и друзья. Приезжал в гости на Волгу, часто публиковался в районной газете «Заволжье». Кстати сказать, именно с подачи Виктора Васильевича в Николаевске началось обсуждение идеи шолоховского музея. Как и многие николаевские литераторы, Виктор Васильевич считал честью и долгом печататься в «Заволжье», потому что здесь его всегда ждал благодарный читатель, говорящий с писателем на одном языке, хранящий общие воспоминания.

Много лет Виктор Васильевич складывал книгу, которая частично публиковалась в «Заволжье». Он в самом начале пишет: «В книге моей нет ничего придуманного, нет вымысла, все в ней – сущая правда. Это – моя правда, рассказанная моими словами, в ней – мой опыт, моя память, мое ощущение истории во имя земного поклона моей родине и ее людям».

Эта книга состоит из исторического очерка «Хлеб да соль!», повестей «Орлы и коршуны», «Под кожушком», «Верькино детство». Эти произведения о разном, но связывают их главные действующие «лица» – наша великая степь и слобода Николаевская. «Хлеб да соль!» – история заселения Заволжья. «Орлы и коршуны» – история пугачевщины в привязке к слободе Никольской, впоследствии Николаевской. А «Под кожушком» – это история слободского детства автора, история жизни и смерти его любимой бабушки. Как видим, несмотря на то что в этих разделах исследуется разный материал, объединяет их не только степь и слобода, но и исторический подход к изображаемому событиям.

Поражаешься, с каким терпением собирал материал для этой книги Виктор Васильевич Гуря... Чтобы написать «Хлеб да соль!», он

исследовал десятки книг и сотни архивных документов. Назову лишь некоторые источники: Павел Небольсин. «Очерки волжского низовья»; «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей» – под редакцией В.П.Семенова; Федор Полунин. «Географический Лексикон Российского государства»; труды Астраханского губернского статистического комитета; архив Министерства юстиции. Это источники XVIII – XIX веков и начала XX века. Редчайшие книги, в которых с разных сторон изображалась история заселения Заволжья. А ведь их надо было еще найти! Обстоятельные выписки из книг Гура комментирует, ссылаясь на другие источники. А если не хватает фактического материала, помогает чутье историка, о котором сам Гура говорит: «Сверкнувшая мысль зацепилась за что-то значительное и высветлила, приблизила ко дню сегодняшнему совсем живой кусок сочной, пульсирующей жизни наших предков. Во всяком случае, для меня это молниеносное мгновение оказалось очень важным открытием, я понял, что пронзительная молния не только ослепляет, но и озаряет».

Это тяжелый, многолетний труд, конечно же, не сулил ни славы, ни денег. Работа над историей родной слободы сама по себе была наградой для ученого. Так Виктор Васильевич Гура понимал свой долг перед малой родиной. Прекрасный пример служения науке и укор скорохватам-переписчикам – ловцам конъюнктуры и дешевой славы...

Мне приходилось читать немало краеведческих материалов, повествующих об истории Николаевской слободы и Соляного шляха. Почти все авторы сходятся в том, что началом Николаевской послужил хутор Дмитриевский. Многие связывают возникновение слободы с указом правительствующего Сената и решениями императрицы Елизаветы. По этим сочинениям выходит, что до указа в наших краях европейского населения не было. Однако Виктор Васильевич весьма доказательно убеждает, что соль из Эльтона брали задолго до правительственных постановлений и великого переселения украинских чумаков. Он нашел в архивах упоминание о некоем Зауморье, которое располагалось на месте хутора Дмитриевский и представляло собой укрепленное поселение, окруженное с трех сторон водой.

«Одно название хутора – и больше ничего неизвестно, – пишет

Виктор Васильевич. – Но что-то было, было же что-то! Во всяком случае, моя Родина начинается за Волгой с этого хутора, с гибельной для него встречи со степью. Хутора Дмитриевского не стало, но на вымершее место пришли новые люди, чтобы навсегда осесть здесь. Родина начиналась с тяжелых и радостных будней несущего жизнь труда, с опасных сражений, в которых отстаивалась сама жизнь. Уходящая в глубь веков Родина становится нам еще ближе и дороже».

Очень любопытны рассказы Гуры о путешествиях по нашим степям знаменитого писателя Дюма и Академии Наук адъютанта Ивана Лепехина. Но, опять же, Виктор Васильевич не заикливается на самой фабуле этих путешествий, а исследует их в привязке к истории слободы и Соляного шляха на Эльтон.

Совершенно неизведанным материалом у Гуры становятся исследования николаевских фамилий. Мы-то к ним привыкли, а для нездешнего уха они звучат необычно: Величко, Рыбальченко, Чуприна, Панасенко, Довгаль, Торенник, Осьмак, Полицеймако, Гетманец, Толочек, Скамбрычий, Коломиец, Дубина... В книге «Хлеб да соль!», в главе «Профессорские диалоги», Гура упоминает воинские должности в украинских казачьих формированиях. Среди них есть и такая должность – скарбничий. По-современному, начальник тыла. Вот когда я понял значение фамилии моей бабушки Елены Григорьевны, в девичестве Скамбрычей. Редчайшая фамилия! А происходит она, как теперь понимаю, именно от должности в запорожском войске – скарбничий. Только «перекрученной» на простой лад, вроде также перекрученного нашими хохлами непонятного названия конфет монпасье – лампасе... А ведь я несколько лет рылся во всех доступных источниках, чтобы найти корни бабушкиной фамилии!

Повесть «Орлы и коршуны» посвящена восстанию Пугачева, его пребыванию в наших местах. Она написана в начале 1989 года, незадолго до смерти Виктора Васильевича. Еще не все архивы раскрыты, еще не вся правда о пугачевщине почерпнута из документов, и поэтому Гура рисует Емельяна Пугачева как героя, вождя народных масс. Это право писателя, и тут не место полемизировать с ним, хотя есть и другой взгляд на историю пугачевского бунта, вспыхнувшего «неожиданно» в самом конце

тяжелейшей русско-турецкой войны 1768 - 1774 годов, пятой по счету. Пугачевщина заставила Екатерину, во-первых, снять с фронта несколько боевых частей и направить их во главе с Суворовым на подавление мятежа, во-вторых, спешно подписать Кючук-Кайнарджийский мир, по которому Россия получила далеко не все, что могла бы получить.

Здесь мы встречаем поэтическое описание нашей слободы, в которой остановился Суворов.

«Тут и открылось путникам большое селение, какого всю дальнюю дорогу сюда не видели по всей Волге и за нею, на луговой стороне, в предстепье. Просторные хаты и узкие двухоконные хатенки, заселенные малороссиянами, возчиками соли с Эльтона, стояли высоко, на подклетьях, – весной, в особо высокие разливы Волги, низинная часть слободы затоплялась. Но дома вышли уже и в степь, за ерики, лепились по верху за Преображеньем выбеленные весело, расписанные цветочками саманки-мазанки.

Широкая и ровная улица шла берегом Воложки и выходила к площади, где начиналась строительством новая каменная Никольская церковь. За нею опять ерики и степи, без перекладных, без всяких ямщиков – степь да степь кругом».

Обращу внимание на великолепный язык, на глубокую проработку характеров Пугачева, Суворова и других действующих лиц этой небольшой повести. Здесь Виктор Гура раскрывается как прекрасный писатель, чутко слышащий великий и живой наш язык. И таким писателем он остается в повестях «Верькины истории» и «Под кожушкой». С большой любовью пишет о своей бабушке, о родных и друзьях, вспоминает запавшие в душу детские впечатления. В этой пестрой картине мира, которую открывает для себя юная душа, опять появляется главный герой, вернее, героиня – слобода Николаевская. Со всеми приметамы быта, нравов, с неспешностью существования, с неповторимым «хохлацким» говором, с песнями и преданиями бабушки. Под пером Виктора Гуры это время переливается всеми красками, живет и разговаривает с нами – сегодняшними.

Его герой из повести «Верькины истории» носит фамилию Горюшкин – это прозрачный намек на собственную фамилию. Становление маленького человека и его открытие окружающего мира – вот вечные

темы, которые поднимает в повести Виктор Гура. А мир Верьки Горушкина – это, опять же, наша давняя, утонувшая в водах нового времени слобода. То, что без возврата потеряно, но что будет помниться, пока живет эта книга.

Уроки доброты не пропадают, хотя люди, дававшие эти уроки, к великому сожалению, уходят. Но недаром Виктор Васильевич, вспоминая любимую бабушку, пишет: «Завещанная бабушкой жажда жизни оказалась всепобеждающей и вязала нас, пришедших на войну мальчишек, нетленной доброй памятью со старшими».

Этой доброй памятью со старшими вяжет теперь нас книга Виктора Васильевича Гуры. Она напоминает нам, откуда мы пошли, где наши корни... Нет ничего труднее и благороднее такого сочинительства!

Виктор Васильевич не успел издать свои литературные сочинения отдельной книгой. Пусть же эта книга станет данью памяти прекрасному человеку и писателю, нашему выдающемуся земляку...

Вячеслав СУХНЕВ

ХЛЕБ ДА СОЛЬ!

Когда вскоре после войны откуда-то из-за Эльтона полыхнуло пламя и отозвалось в небе огненным заревом и неизвестным в моих родных степях гулким тревожным эхом, эхом нового времени, я не слышал и не видел этих чудес. Жил в Саратове, учился в университете. Но моя добрая тетка, безропотно сносившая самый черный труд и неизбывную нужду, не знавшая грамоты и никогда в жизни не покидавшая родных заволжских степей, оказалась в этот осенний, еще теплый день в Суслычем. Вблизи тех мест, где когда-то стоял хуторок – мазанка с колодцем да загон для скота, обнесенный плетнем, хуторок наших дедов и прадедов, ходивших в стародавние времена на Эльтон за солью.

Тетка Ольга рассказывала мне, как неистово крестясь, чего с ней раньше не случалось, без оглядки бежала к своему шалашу, в страхе приговаривая:

– Свят, свят, свят...

Честно потом признавалась:

– Дуже злякалась... Всэ, думаю... Конец свиту!

Только теперь узнал я с горделивой радостью, что «дорога в космос» начиналась именно в этих степях, отсюда стартовала первая баллистическая ракета, отсюда ушли в космос пары безвестных «стратонавтов» – Козявка, Альбинка...

Потом ранней весной наша степь, начинавшая одеваться в пестрый цветной сарафан, мягко приняла первого космонавта Юрия Гагарина. Случилось это совсем вблизи от старинного соляного тракта, проложенного чумаками от озера Эльтон к слободе Покровской, уже почти под самым Саратовом.

Прошло время, и наступила пора проложить дорогу в космос и моему земляку Юрию Малышеву, уроженцу слободы Николаевской, знаменитой хлебом и своей добываемой на Эльтоне солью. Теперь это – город, потянувшийся каменными этажами к свету, вышедший своими зелеными площадями и улицами к Волге. На этот раз, казалось, все живое пестрое многолюдье, стар и млад, вышли встречать своего земляка. На расшитых яркими петухами рушниках преподносили землячки с радушным поклоном хлеб да соль... И отведывал космонавт добытое извечными трудами хлеборобов-земляков, наследников чумаков-солевозчиков.

– Хлеб да соль! – отзывались их сердца.

В моем рассказе прошлое переплетается с настоящим. Ветер нового времени обдаёт своим живым дыханием родные мои заволжские степи, день сегодняшний вступает с историей в чуткие и отзывчивые отношения и не может быть понят без тревожных раздумий современника о будущем человечества. И моя неграмотная и мудрая тетка Ольга, и познавший неземные дали земляк-космонавт – люди двадцатого века со своими новыми отношениями с миром, со сложными духовными тревогами и исканиями, неизвестными нашими предками. И без этих незримых, но исполненных самой жизни связей равно трудно ступать по дорогам истории и современности, а еще сложнее проникать в мир современника, познавать самого себя...

Совсем недавно приезжал я на встречу со сверстниками. Среди них было немного одноклассников, даже тех, с кем сидел за одной партией. Приехал наш верный наставник, учитель литературы, был и давний мой отзывчивый друг, с которым прошагали через большую войну и чудом уцелели. Все мы хотели побывать там, где прошло наше детство, на старой Николаевке, как называют нынче мои земляки эти близкие палестины. Вскоре оказались мы в районе Успенья, чуть повыше того места, где когда-то красовалась наша рубленая, казалось, на века Образцовая школа. Кучно стояли мы на песчаном взгорье, а внизу, совсем рядом, я хотел было сказать, плескалась Волга. Но она была какой-то незнакомо тихой, как и все мы, пришедшие на встречу со своей родиной. Здесь так много переменилось и не все узнавалось.

Поодаль от берега – незнакомый бугристый островок, поросший

злой крапивной зеленью. Островок этот чудом сохранился, оказался неподвластным всепожирающей стихии. В середине островка, ближе к верхним его пределам, находился когда-то самый центр нашей слободы с красивейшей церковью – Никольской. Имя ее ровно полвека носила вся знатнейшая по тем временам слобода.

Чуть ниже этого островка, за сияющей под солнцем гладью раскинувшейся как море Волги, угадывалось в дальней дымке широкое ныне устье, когда-то крохотной – нам, мальчишкам, ее и переплунуть-то ничего не стоило! – но знаменитой речушки Камышинки. Она воспета в старинных песнях и сказаниях о вольных людях, пробиравшихся переволокой с Дону и выходивших здесь к великой Волге, на простор речной волны...

Мимо нас заросшая полынком дорога, карабкаясь меж песчаных увалов, уходила в древнюю, как этот мир, степь. Выгоревшая и пожелтевшая от пыли лебеда, высохший колючий татарник да редкий пахучий полынок цеплялись за песчаные склоны холмов, на которых когда-то стояли хаты наших предков. У самой реки, на родном пепелище, курился костерок пастуха, и дым отечества до слез разъедал глаза. Жаркое марево застилало дали, и сердце билось часто и гулко. Каждый из нас, казалось, слышал его тревожные толчки не только у себя, но и в груди товарища. От этого становилось как-то неловко. Словно бы стыдясь невольного свидетельства очень личных у каждого переживаний, мы разбрелись по этим унылым холмам и увалам.

И тут у самых своих ног скорее угадал я, чем узнал отворотную дорогу, которая выходила раньше узенькой улочкой почти к Покровам и во времена нашего детства носила имя великого Тараса Шевченко... Спустившись на выбитую в песке дорогу, я отсчитал от когда-то широкой, мощенной булыжником бывшей улицы пять низких, сглаженных временем, едва угадываемых холмов... Да, здесь вот стоял дом, в котором я родился - увы! - уже значительно более полувека назад. Росла теперь тут совсем чахлая растительность: распластавшийся пыльным листом подорожник с тощей махровой метелкой да редкая иссохшая полынь. За один такой-то кустик я ухватился с надеждой вырвать его на память, но он цеплялся за исхлестанную ветрами, выжженную солнцем землю так же крепко, как пришедшие на нее когда-то наши дальние предки...

Нелегко обживалась эта неласковая земля, были и такие, кто не выдерживал горячего дыхания восточных ветров, пыльных, иссушающих бурь, пекла и жажды, но кто основательно пускал корни в эту горько-соленую, растрескавшуюся от суши, дикую горячую степь, оседал на века, и на мокрой от пота рубахе чумака и хлебороба выступала словно бы сама соль земли этой.

Но не только горячим потом приходилось поливать «родимую землюшку», защищая посевы свои, мазанную глиной хату – живот свой. Даже тогда, когда хлебороб становился воином и уходил к дальним пределам Отечества, он защищал и эти родные степи за Волгой... Выпала такая честь и нашему поколению – честь большая и редкая, а судьба его оказалась горестной, можно сказать, трагической. В войне, по справедливости названной Великой, даже громче и торжественней, Отечественной, из каждой сотни нас оставалось в живых только трое... Чем больше осознаешь эти ничем не восполнимые утраты, тем острее необходимость рассказать о своих товарищах-сверстниках как о живых, а вместе с тем об их отцах и дедах, об их бесконечно родных хлебородных степях, слившихся в вечном союзе с многоводной и столь же родной Волгой – о нашей Родине...

Хлеб да соль! С таким присловьем испокон веков входил крестьянин в дом ближнего. Входил с низким поклоном и с уважением к труду хозяина, и если был в нужде, не оставался без крова, хлеба и соли. Прижимая к груди подовый, с растрескавшейся понизу коркой духовитый каравай, от всей души резал хозяин ломоть покрупней, а хозяйка сдабривала сверкающими кристаллами соли, и добрый пришелец приглашался за чисто выскобленный стол.

Хлеб да соль! Извечный союз этих слов обретал на моей родине особый смысл. Ломщик соли на Эльтоне, чумака-солевозчик и выращивающий хлеб крестьянин – одно лицо! Хлеб да соль – дело его рук, его призвание и труд!

«Хлеб да соль!» – так называю и эти рассказы. Не под силу создать одному человеку большую книгу о вечном и бесконечно благородном труде крестьянина, о тяготах и радостях его судьбы в этом мире. Я собрался писать совсем небольшие рассказы о своей маленькой родине, где родился и вырос, о ее неразрывной судьбе со своим великим Отечеством. Называя книгу «Хлеб да соль», я хочу, как и

всякий входящий в дом с этими словами, поклониться своим предкам, моим дорогим землякам.

Первые страницы этой книги писались, можно сказать, с детства, когда окружающий мир воспринимался остро и запоминался навсегда. Его особые краски, запахи и звуки до сих пор живут в нас, и с возрастом ощущаются еще внятнее, живее что ли, и тоскливее. Мы пришли в этот мир с распахнутыми глазами, с душою, открытой настежь. Мы пришли в этот мир для того, чтобы переделать его, по меньшей мере, до основания. Мы скоро узнали, что раньше всего нам предстоит его защищать

А пока вдохновенно, с невыносимо буйной фантазией мечтали мы о сказочном будущем нашего степного заволжского городка. Не скрою, в сновидениях своих я видел, как наяву, громадный город на его месте с ажурным мостом через Волгу, с многолюдными набережными и пристанями. Вдоль реки прорезывали его широкие с лобастыми булыжными мостовыми улицы. А на них как-то подомашнему трогательно вызванивали, открытые всем ветрам, под цветастым тентом южные трамваи. В центре – веселые ярмарки с



Озеро Резницкое. Картина А. Токарева



В.В. Гура, июль 1944 г.

каруселями, балаганами, с настоящим цирком, в котором показывали свою силу крепкие усатые мужики... Так мечталось. И на меньшее я был не согласен...

Наша юность набирала цвет, наливалась жизненными соками родной земли, а слободу нашу только называли городом, она теряла этот цвет, хирела, таяла на глазах, словно у нее все было только в прошлом. Кого-то пугали грандиозные прожекты будущей Камышинской плотины, кто-то заколачивал окна или совсем бросал свои остывшие хаты,

продавал на слом и уходил на большие стройки. А мы, дети этого времени, забывали прошлое отцов и дедов. В сущности, уже мало что знали о нем. Правда, перед самой большой войной наши школьные учителя и я с товарищами сочинили кружок особо любознательных и ринулись в историю, но слобода уже зияла заросшими лебедой пустырями, и в историческом ее прошлом оказались такие же пустоты. Нашей молодости не под силу было понять их.

Написал я несколько очерков (один из них напечатала областная молодежная газета) и отступился от исторических эскерсисов. Начал сочинять пространную, многословную «Прощальную поэму», где разом, одним махом прощался и с нашей юностью, и с родным городком. В этих, ныне не моих, а отделившихся от меня писаниях, как вижу теперь, есть какой-то всеобщий смысл. Старшие из нас уже уходили на большую войну, вскоре и мы шагнули в ее пламя. В этом прощании я часто обращаюсь к своим товарищам, многих из которых давно нет в живых. Один убит подо Ржевом, другие под Москвой, под Харьковом, в танковом сражении под Курском, при форсировании Днепра, кого-то сбили в небе Ленинграда, кто-то пал в сражениях под Берлином. А я обращаюсь к ним, как к живым. «Прошли те славные денечки, Коля, когда с тобою, в Волге искупавшись, лежали на песке,

закинувши глаза в синее небо. Вспомни, Шурка, как ездили на велосипеде в Бешеный Ерик удить себелей. Я на седле, ты на багажнике сидишь, там, говоришь, гораздо веселей. Сидишь и марши все насвистываешь, на природу глядя, и по долинам и по взгорьям движемся, как на параде»...

Наверное, не следовало бы приводить здесь такие корявые строки. Это как раз тот случай, когда из несостоявшейся песни легко выкидывать целые фразы. Но не судите слишком строго и, пожалуйста, не принимайте все это как попытку протащить детский лепет в печать. Мне кажется, в некоторых строках чудом, за что-то зацепившись, сохранилось время и чуть-чуть наше мальчишеское настроение.

«Здесь каждый камень мне знаком и виден тыщу раз, (по закоулкам, улкам-переулкам шастал я повсюду). Вон вижу и теперь Никольской церкви каменную грудку – на взломку прошлого умишком каждый был горазд»... «Пыльные улицы, лужицы грязные, в чахлах деревьях наш город притих, скучное, мелкое и безобразное семнадцать лет торчит в глазах моих»... «Живешь? Живи, живи – и руки в боки – будь! Пыли в глаза, залазь песком и в рот и в уши, ты стар уже, но для меня ты – самый лучший! Увижу ль я тебя другим когда-нибудь?»...

Все так же всходило над степью солнце, и с каждым новым днем все ближе становилась война. Нам, совсем еще юным, особенно важно было мобилизовать все чувства, сжать все силы в один кулак, ощутить локоть товарища и потом решительно шагнуть в большую историю, никак не осознавая этого шага как исторического. Думали ли мы о прошлом, когда предстояло защищать настоящее? История тут писалась кровью, а мы все еще учились жить и только начинали шевелить своими извилинами.

Нужно было пережить со страной, со своим народом все лишения и радости послевоенного возрождения, прежде чем подступила пора зрелого размышления. Появилась возможность оглянуться, подумать о пройденном и пережитом, различить и невнятные сумерки отдаленного прошлого. И тут оказалось, что историческая наша память – совсем не бросовое дело. Напротив, память эта важна для будущего, а вложенный в нее воспитательный заряд обретает такую взрывную силу, что может опалить самое черствое, самое равнодушное сердце.

Тревожная память пробуждает чувства добрые, заставляет думать напряженно, зовет к действию. Так и я последние полтора десятка лет думал, пробирался через века к своим предкам, отцам, дедам и прапрадедам. Искал о них по крупицам, читая сотни книг, великое множество исторических статей, очерков, исследований, разнообразных воспоминаний и публикаций, беседовал со знающими людьми, старожилами и профессиональными историками. Особенно много пришлось рыться в архивах, месяцами сидел в Центральном Государственном архиве древних актов, вчитывался в дела Соляной конторы, занимавшейся озером Эльтон, в фолианты «ревизских сказок» родной слободы, что сохранились в Саратовском архиве, в губернскую статистику и всякую цифирь Астраханского архива...

Как пересказать теперь все, что я узнал? Может быть, расположить как-то и швырнуть в печатный станок груды нарытого материала? Сам по себе он может сказать о многом. Факты, как убеждает опыт, – вещь упрямая, но они уже тронули мое сердце, прошли через него, я разглядывал их своими глазами, брал в руки, пробовал на зуб, обонял, осязал, ощущал, и во мне отдавались шаги самой истории. И оказалось, что это – целая многоголосая «симфония чувств». Как быть с ними, с чувствами? Они ведь субъективные, только мои. Все, что накоплено годами так и останется грудой материала, развороченной рудой, бесформенными комьями и обломками, если все это не согреть теплом своих переживаний и размышлений. В книге моей нет ничего придуманного, нет вымысла, все в ней – сущая правда. Это – моя правда, рассказанная моими словами, в ней – мой опыт, моя память, мое ощущение истории во имя земного поклона моей родине и ее людям.

Хлеб да соль вам, земляки!

С чего начинается Родина?

Вынес я эти слова в название и задумался: с чего же все-таки начинается Родина? Для меня она начинается с запахов сырого, обросшего скользким зеленым мхом дерева волжских пристаней, с горячего дыхания степи, в котором запахи полынка смешались с кизячным дымком, со сладостно-стойким ароматом смородины, с



Утро. Камышин. Рисунок А. Токарева.

густым духом помидорной ботвы. Все эти запахи живут во мне неистребимо и вызывают в памяти самые живописные, красочно-сочные картины детства.

Когда зацветают ранней весной тюльпаны и степь становится искусно сотканным желто-красным ковром – это тоже Родина. Если люет февраль и раз за разом, сковывая дыхание, швыряет в лицо сухой и колючий, но уже почему-то пахнущий весной снег, сердце начинает биться радостно, и где бы ни застала тебя эта вьюга, всей душой чуешь родину...

В минуты тревожного затишья, особенно перед большим боем, когда жизнь ценишь так, как никогда еще не ценил, вспоминаются петляющие в мягком спорыше, выбитые и твоими босыми ногами тропинки детства. Они начинались у твоего дома, бежали через пустырь к калитке товарища. А еще начинались за слободой, у чигиря огородника, в степи, у шалаша бахчевника, у дальнего сада с поспевшими дулями, но чаще всего почему-то проходили у самого обрыва и вели куда-нибудь к реке, к Резницкой Воложке, к Осиновке, к Бешеному Ерику и через Займище, через Песчаное озеро, к самой Волге. К ней еще бежишь вприпрыжку, ее еще не видишь, но уже слышишь, как шлепают по воде плиты труженика-буксира, как, подходя к пристани, радостно извещает о себе идущий сверху почтово-

пассажирский, как резко, пронзительно и нетерпеливо отдает прощальные гудки спешащий к Астрахани скорый... И вот она, плещется у ног твоих, ищет в мокром песке твои пальцы и лижет их – теплая и ласковая, широкая и могучая, родная и великая.

А приходилось ли вам видеть Волгу в ледоход? Льдины идут сверху лавиной, почесываясь друг о друга, плывут дружно, неторопливо, но им уже тесно, они торосятся, взбираются друг на друга, ломают бока, раскалываются, вздыбливаются, и мощный гул стоит в округе. Потом он стихает, и только слышится шорох мелких ледяных осколков. Река вздрогнула, кажется, в последний раз и встала, а в майнах еще плещется холодная свинцовая волна. Через день-другой заботливая рука первопроходца, обходя эти майны, расставит вешки, и вскоре ляжет через реку торная зимняя дорога...

И когда начинали вдруг слишком умные головы спорить о том, может ли солдат защищать как свою Родину три березки, выросшие под окнами его родного дома, у меня никогда не возникало никаких сомнений... Родина начинается с той земли, где человек родился, где делал первые неуверенные и такие радостные шаги, где мир открывался ему во всем сокровенном звучании, во всех своих невероятных красках и незабываемых запахах. Для нас, для меня и моих сверстников, для наших дедов и прадедов, даже для прапрадедов, это – Волга, заволжские саратовские степи, это – мало кому известная, но многим, прежде всего хлебом и солью знаменитая, я бы сказал, великая труженица, наша родная Николаевская слобода.

Время ее основания никому не известно и, я больше чем уверен, точно установить уже невозможно. Но снять пелену загадочности еще не поздно, и мы будем пытаться сделать это. Кроме того, появилось немало всяких нелепостей и несуразиц, придумок, проникших в разное время в печать. Надо как-то разобраться во всем этом, и то, что можно, все-таки исправить.

Ясно одно, что слобода наша появилась за Волгой, чуть выше устья Камышинки, всего на одну версту, как считали прежде. За образовавшимся тут большим песчаным, поросшим мелкоколесьем островом, на широком и стремительном волжском рукаве, названном Воложкой, между ним и крутым подъемом в степи, изрезанным

глубоким Ериком, при его впадении в Воложку, в сущности, на самой стрелке еще одного низинного островка.

Всякий неискушенный в знании этих мест человек может удивиться: не нарочито ли в таком неудобном для жизни месте поселились наши далекие предки, зачем-то «огородили» свои построенные на сваях жилища со всех сторон водой и жили, особенно в весеннее половодье, как на острове, испытывая от этой жизни на воде большие неудобства. Объяснимся сразу: освоение низовых степей за Волгой исторически складывалось совсем не так просто, и предки наши принуждены были заботиться пуще всего о защите селений от кочевников.

Степи эти знали и расцвет первобытной культуры, и времена дикости и запустения, и движение через века воинственных кочевых племен – хазар, печенегов, половцев, и небывалое по многолюдью истребительное нашествие татаро-монголов, закрепившихся за Волгой на несколько столетий. Золотая Орда обосновала здесь свою столицу, построила руками невольников красивейшие дворцы, орошаемые сады и парки, свезла сюда награбленное со всего мира богатство и перекрыла все дороги на Среднюю и Малую Азию, на море Хвалынское, на Индию. Здесь, в заволжском Сарае, зрели самые коварные замыслы против русских соседей, отсюда совершались опустошительные набеги на Русь. Сюда после Куликовской битвы возвратились с позором жалкие остатки войск Мамая, наголову разбитые русскими воинами. Здесь же встретила Золотая Орда и свой закат.

В наших степях остались и обитали еще пару столетий ногайцы, кочуя по луговой стороне Волги от Астрахани до самой Камы. Английский посланник при дворе Ивана Грозного Антоний Джениксон через редкие ногайские кочевья дважды совершал путешествия в Бухару и видел за Волгой много оскудевших пастбищ и необитаемых земель. Возвращаясь в мае 1559 года через Астрахань, отчаянный путешественник отмечал: «по всей дороге нет жилищ».

В 1634 году из дальних сибирских земель совсем неожиданно для уже мирно и привычно кочевавших ногайцев пришли новые завоеватели – калмыки, столкнулись с ногайскими улусами на их старых кочевьях, «их побивали, жен и детей в полон имали и животину отгоняли». Смирившиеся разрозненные ногайские кибитки калмыки

подчинили своей орде, но значительная часть гордых и смелых ногаев ушла на Шемаху и Дербент.

Вольготно расположились в саратовских степях калмыцкие кочевья, облюбовав пастбища по притокам Волги, по Еруслану и Торгуну. Выходили к Саратову на торжища с русскими, добирались до Самары и нападали на слабо защищенные русские города, переходили Волгу по льду и чинили набеги на «крымскую сторону», спускались в астраханские степи и охотно кочевали там по правой стороне Волги. Но однажды, уже в семидесятых годах XVIII века, тысячи калмыцких кибиток под водительством хана Убаши покинули саратовские степи так же неожиданно, как и пришли на них. Недолго и на этот раз пустовали без кочевников степи, еще хранившие ноздреватые копытные следы низкорослых калмыцких скакунов. Преодолев немеренные пустынные версты, к Рын-пескам вышли казахи, а вскоре так называемая тогда Киргиз-Кайсацкая орда стала кочевать у Эльтона и выше, в наших краях, на Торгуне...

Долгое время считалось, что эти пустынные и дикие степи словно бы «искони и навеки предназначались только для обиталища кочевых племен» и для оседлой жизни оставались непригодными. Веками не видели на их бескрайних просторах ни заботливо возделанных хлебных полей, ни мирного очага даже у самых берегов волжских. Еще в середине девятнадцатого века с тоской писали: «куда ни обрати взоры, всюду встречаешь здесь только безбрежную, ровную, грустную и однообразную голую степь. Пустыри, солончаки, сыпучие пески»¹.

Страшнее всякой нечистой силы оказались в здешних местах восточные ураганные ветры. Летом они крутят вихри, поднимают пыльный мелкий прах, гонят желто-бурые пески. И тогда, по словам изумленных очевидцев, «солнце меркнет, кажется бледным пятном среди желто-серого фона». А зимой метели и вихри леденят снежную пустыню и против них ни одно, даже самое сильное животное, не может устоять, а лошади обращаются в бегство и «несутся иногда до истощения сил и нередко погибают тысячами». В один из таких буранов калмыки «потеряли более полмиллиона голов скота»².

¹ "Павел Небольсин". Очерки волжского низовья. СПб, 1852, с. 2.

² Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей. Под ред. В.П. Семенова. Т.6. СПб, 1901, с. 37, 40, 53.

И еще одно тяжкое для жизни обстоятельство отмечается в наших степях. По словам одного ученого путешественника, все в них пропитано солью: «Степной ветер разносит соляную пыль, и жаркий сухой воздух насыщается солью; он солон и щиплет язык... Роса, выпадающая в степи, бывает иногда настолько солон, что трава и кибитки кажутся покрытыми как бы инеем».

Любой из путешественников начала восемнадцатого века, едва перебравшись за Волгу, при первом порыве юго-восточного ветра чувствовал соленое дыхание Эльтона. А обер-секретарь Сената, опираясь на «подлиннейшие сенатские архивы» 1727 года, с восторгом, витиевато и сладостно уверял, что эльтонская «соль всякого астраханского бузуна превосходит, и зело бела, и чиста, и дух от нее малиновый»³.

Воевода Федор Полунин, описывая «нижние страны» Волги, еще плохо заселенные «по причине опаснейших набегов соседственных беспокойных орд», радостно примечает, что «натура в оной стране сама собою производит всякие к пище и лекарству полезные растения, а особливо спаржи чрезвычайной величины и отменной доброты»⁴.

Чего уж говорить о спарже, когда в нижней Волге русские долгое время и землю не могли распахать, и хлеба сеять. Только к концу XVI века здесь появились первые небольшие низовые городки-крепости Саратов и Царицын с горстью стрельцов. «Напередь того при Царицыне и Саратове городах, – писал тот же Иван Кирилов, – ничего в полях и степях сеять за опасением внезапных приходов кочевников не смели, и ныне хлеб довольной родится, также огородные овощи, арбузы, дыни и прочие умножены».

Не скрывая никаких трудностей, астраханский губернатор А.П. Вольнский еще в 1719 году доносил в Сенат: «От Саратова до Астрахани между городов по 200 и по 300 верст жила никакого нет, того ради как купецким людям, так и прочим приезжим и рыбным ловцам от калмыков и от кубанцев чинится великое разорение и работных людей берут в плен, также и зимою проезд зело труден, того ради, по моему бы мнению, надобно между городов еще сделать хотя малые города для

³ Ив. Кирилов. Цветущее состояние Всероссийского государства. Кн. П. М., 1831, с. 30.

⁴ Федор Полунин. Географический Лексикон Российского государства. М., 1773, с. 59.

прибежища проезжим и для закрытия пустоты от неприятельских набегов, выбрав к поселению удобные, безопасные места».

Петр Первый решил все эти проблемы по-своему и весьма энергично. Примерно в это время начата была строительством особо укрепленная Царицынская линия от Волги к Дону. Земляной вал двенадцатиметровой высоты с деревянным палисадом, двадцатьюпятью форпостами и четырьмя крепостями призван был защитить южные границы государства от набегов крымцев и кубанцев.

Буквально спустя десятилетие из малороссийских и донских казаков создается Волжское казачество, и его станицы вытягиваются вдоль Волги единой оборонительной цепью от Царицына до Камышинки. А по Камышинке и Иловле до самого Дона в связи со строительством канала сооружается новая засечная линия. На северо-востоке решено продолжить Закамскую черту до самого Оренбурга, заложенного в 1735 году. Была также устроена цепь пограничных крепостей по Яику, прорезавшая разноплеменные кочевья.

Вот что предпринималось, вот какие усилия прикладывались, прежде чем выращивать на нижней Волге «особливо спаржи чрезвычайной величины и отменной доброты». Скорее всего, именно в это время и в наших краях за Волгой появляются первые и еще очень редкие русские поселения. Все-таки забираться далеко в степи, за Волгу, даже в середине 40-х годов XVIII века русскому человеку было небезопасно, «понеже де как в зимнее, так и в летнее время киргиз-кайсаки по луговой стороне беспрестанно разъезжают немалым числом людей и рыболовцам да и зверовщикам чинят грабительства и убийство, зачем де на той стороне ловцы и станицы не имеют, окромя островов...»⁵.

Не забудем это характерное выражение «окромя островов» и вспомним, почему наши дальние предки выбрали такое неудобное место. Не была ли это станица рыболовцев да зверовщиков? А может быть, волжские казаки посылали за Волгу свои станы, подъезды и сторожи, целые станицы (несколько человек вместе) «для проведывания вестей про неприятельских воинских людей»?

Не будем забывать при этом, что за их спиной была Волга с ее укрепленными линиями, засеками, острогами, крепостями, с

⁵ ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн., 1615, л. 158 обор.

начинавшими селиться здесь беглыми со всей России, стрельцами и разными служилыми и работными людьми. Надо помнить и о том, что со времен Ивана Грозного Волга стала магистральной торговой дорогой и нередко с тех пор и надолго оставалась в руках казачьей вольницы.

Подходя к нашим краям, минуя поросшие мхом бугры и утесы, которые со временем народ назовет разинскими и сложит о них легенды, обходя древние курганы, знаменитые Ураковы острова и приближаясь к Камышинке, Волга словно бы торопится в своем пути к морю, разливается широко и свободно, не зная перекаатов и мелей, набирает в основном русле стремительное течение и раскидывается бесчисленными рукавами, затонами и ериками по обоим берегам.

Места эти издавна знамениты, известны нашим древнерусским предкам. Камышинской переволокой пользовался еще князь Игорь, пробирались «голутвенные люди» с Дона, выходили на Волгу большие, в несколько тысяч человек, отряды донских казаков, отправляясь «для зипуна» в заволжские калмыцкие улусы, были среди них и «многие казацкие бурлаки, и запорожские хохлачи, и иные многие гулящие люди» с луками и пищалями⁶.

Шли, плыли, тянулись по Волге утлые лодчонки, унжонки,



На Волге. Рисунок А. Токарева

⁶ Г. Перетяткович. Поволжье в XVII и начале XVIII века, Одесса, 1882, с. 192.

коломенки, гусянки, торговые насады и завозки с мочалом и пенькой, рыбницы или прорези с живой рыбой, ладьи и струги с гусями шеями, расшивы на парусах, похожие на галеры, – самые красивые на Волге. Географический лексикон XVIII века уверенно сообщает, что по Волге «одних работных людей всегда на судах вверх и вниз ходящих, також и рыболов, по меньшей мере до миллиона считают»⁷.

Вот и идут «с великим бережением» и осторожностью целые купеческие караваны, иностранные корабли с посольством в далекие азиатские страны, опасаясь нападений «воровских» казаков, налетов степных кочевников, встреч с беглой «голытьбой». Русские торговые люди не приучены были даже к скупым записям происшествий и всяких встреч в дороге, охотнее подсчитывали доходы и убытки опасных по тем временам путешествий по Волге. Да и далеко не всем иностранным путешественникам удалось вести пространные путевые записи. Правда, самые скупые, весьма противоречивые и нередко обманчивые сведения обретают, я бы сказал, большой исторический смысл. Пышное, тщательно снаряженное в Нижнем Новгороде голштинское посольство отправлялось 30 июля 1636 года из Нижнего Новгорода на большом трехмачтовом корабле «Фридерик» в опасное по тем временам путешествие в Персию. Еще в Москве, как замечает летописец этого путешествия Адам Олеарий, «особенно предупреждали нас насчет казаков и разбойников на Волге»⁸, но полный переполох случился уже в пути, когда под Самарой гонец настиг посольство и сообщил, что на корабле среди нанятых гребцов «имеются четыре настоящих русских казака»⁹. С тех пор воображение путешественников весь путь тревожили «казаки-разбойники». То они мерещились среди команды, то, казалось, прятали в прибрежных камышах свои лодки, то чуть ли не верхом переходили Волгу у Овечьего брода.

Крайне тревожно стало после Тетюшей, берега оказались здесь совсем пустынными, и теперь до самого Каспия не попадалось ни одного селения. Ниже Самары, правда, впервые встретили большой

⁷ Федор Полуниин. Географический Лексикон Российского государства. М., 1773, с. 59.

⁸ А. Олеарий. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906, с.142.

⁹ А. Олеарий. Указ.соч., с. 381.

отряд вольных казаков, а под Ахматом даже на левом берегу разглядели около десятка тех же «вооруженных разбойников». Миновав устье реки Еруслан, с самыми тревожными чувствами подъезжали к Камышинке, о которой наслышались в дороге как о гнезде казачьем. Охотно привожу дословный рассказ Адама Олеария о том, что он увидел на берегах этой знаменитой «разбойной» речушки:

«Далее с правой стороны находится гора и река Камышинка. Эта река вытекает из реки Иловли, которая в свою очередь впадает в большую реку Дон, текущую в сторону Понта и представляющую пограничную реку между Азией и Европой. По этой реке, как говорят, донские казаки со своими мелкими лодками направляются к Волге. Поэтому это место и считается крайне опасным в отношении разбойников. Здесь мы на высоком берегу направо увидели много водруженных деревянных крестов. Много лет тому назад русский полк бился здесь с казаками, которые хотели укрепить это место и закрыть свободный проход по Волге. В этой стычке, как говорят, пали с обеих сторон 1000 человек, и русские были здесь погребены»¹⁰.

Не все в этом рассказе можно почитать за истину, но Адаму Олеарию на месте будущей «крепостцы» Камышинки, построенной лишь спустя целую треть века, открылось чрезвычайно важное зрелище, которое представляет для нас историческую ценность. Когда мне впервые довелось с большим волнением читать и тут же выписывать эти строки, с нетерпением ожидал, а обратит ли свое внимание важная посольская особа еще и на левый берег Волги? Может быть, разглядит и там что-либо значительное? Случилось так, что Адаму Олеарию оказалось не до этого. На воде началось тут прямо-таки драматическое действие в нескольких красочных картинах. Раздались салютные выстрелы из пушек и мушкетов, весело заиграли трубачи. Голштинское посольство встретилось с персидским и татарским караванами числом более двадцати больших и малых лодок, шедших тесно, гуськом и рядом, с опаской, что ли...

Как вскоре выяснилось, на караванах плыли вниз русский посланник Алексей Романчуков, татарский князь Мусаил, купцы персидского шаха, татарский посол из Крыма... «Фридерик» поднял паруса и сблизился с караванами. Между татарским князем, шахским

¹⁰ А. Олеарий. Указ.соч., с. 387-388.

купцом и кораблем посольства начали шнырять лодки с посланниками, стрельцами, затем сам Олеарий отправился к шахскому купчине отведать крепкой русской водки. Снова обменялись салютами и теперь уже единым караваном продолжали совместное плавание.

К вечеру над Волгой разыгралась гроза, начался ливень, но после сильных грозовых ударов снова наступила тихая погода. В свите голштинского посланника находился известный немецкий поэт Пауль Флеминг, и он не замедлил изобразить эти природные явления нашего края в живописно-созерцательном сонете. Обращаясь к Эолу, Нептуну, Юпитеру и другим божествам, поэт объяснял внезапные перемены в погоде ссорой этих богов. Никаких других жизненных деталей в сонете не оказалось, не привлек внимания путешествующего лирика наш заволжский пустынный, весь в сыпучих болхунах и барханах берег. Может быть, и в правду не на что было обратить внимание, может быть, и разглядывать было нечего, кроме этих сыпучих песков? Не будем судить слишком строго этих путешественников, пусть себе плывут к Астрахани, их еще ожидает морское крушение под Дербентом...

Далее, как в сказке, ровно через тридцать лет и три года в июле 1669 года мимо наших мест во всей красе прошел самый большой русский корабль «Орел», построенный для плавания по Каспию. Шел он под флагом русского царя, спешил к Астрахани, и попутный ветер до отказа наполнял его паруса. Ими искусно управлял голландский мастер Ян Стрюйс, а курс прокладывал шкипер Давид Бутлер. Впрочем, судьба неласково обошлась и с первенцем русского флота – корабль был сожжен самим Разиным, и с заморскими наемниками – им едва удалось унести ноги. Но еще тогда, когда «Орел» стоял на якоре под Астраханью, сделана была отчетная запись о том, как «прошли мимо городка, названного Камышинка (Camuschinka), выстроенного за год перед тем по приказу и велению его царского величества и обнесенного валом и шанцами по указанию английского полковника Томаса Бейля. Этот городок расположен на реке Камышинке и построен для отражения донских разбойных казаков, которые по этой реке пробираются к Дону¹¹.

¹¹ Исторические путешествия. Извлечение из мемуаров и записок иностранных и русских путешественников по Волге в XV-XVIII веках. Сост. В. Алексеев. Сталинград. Краевое кн. изд-во, 1936, с. 121-122.

Источник этот, можно сказать, принес «первые вести» о Камышинке как крепости. Впрочем, это был даже не городок, а острог, построенный на крутой горе левого берега Камышинки. Ян Стрюйс сообщает далее важное известие о том, как Степан Разин тут же взял Камышинку хитростью, без боя. Немало поскитавшийся по свету парусных дел мастер, не без доли авантюризма и явно с чужих слов, зато в ярких красках и с такими деталями, словно сам был очевидцем, приводит сцену с персидской княжней, а Костомаров охотно заимствует эти описания¹². Народной молве после этого ничего не стоило соединить разрозненные события, окрасить их своим воображением и создать легенду, что тут же при Камышинке и бросил Степан Разин персидскую княжню-красавицу в набежавшую волну...

У Стрюйса, как, впрочем, и у других путешественников, дословно с ним совпадающих, немало всякой путаницы и наивных описаний. Почему-то особенно часто путают Камышинку с Ерусланом, вольно обходятся с другими географическими подробностями¹³. Но во всех случаях – и в рассказах с чужих слов Конрада Фон-Кленка, и в описаниях голландского живописца Корнелия де Бруина, и в заметках шотландского врача Джона Белля – речка Камышинка всегда оказывается местом наиболее драматических событий. Одно из самых сочных таких описаний – «Сказание летописи о граде Астрахани» – извлечено из записных книг Московского приказного стола: «В лето от создания мира 7175-го (1667), мая месяца в 7 день, с Дону пришел к Волге реке, на Камышинке переволокъся вор и изменник Стенька Разин с донскими казаками, и которые суды плыли в Астрахань Волгою рекою, все пограбил против урочища Шишкина бугра.

В это же время приплыл насад великого господина светлейшего Иоасафа Патриарха Московского и вся Руси и иные насады. Он же, злой лукавый вор, пограбил той патриарш насад и дворян его, Алексея Золотарева с товарищи, велел повесити на шолге. Да с ними же повесил гостя Василия Шорина, приказчика его Федора Черемисинова,

¹² Николай Костомаров. Бунт Стеньки Разина. СПб, 1859, с. 93-94, 113-114.

¹³ Бальтазар Койэтт. Путешествие господина Коупраада Фон-Кленка, чрезвычайного посла высокомогущих штатов к его величеству царю Московии. Амстердам, 1677, с. 450, 456. Впрочем, Ян Стрюйс был в свите Фон-Кленка на этот раз в качестве конюха и пушкаря, и рассказы о взятии Разиным Камышинки, о судьбе персидской княжны, может быть, поэтому дословно совпадают с тем, что известно было со слов Стрюйса раньше.

и насады все велел пограбители, снасти, струги, завезки и лотки пограбить, чтобы впредь его на низ и в верх утеkleцов не было»¹⁴.

Случилось это во время первой переволоки Степана Разина на Волгу, когда еще и острога никакого на Камышинке не было и когда это страшное для караванов место спешили миновать незамеченными или обходили, насколько возможно, дальней стороной... Не был, впрочем, безопасным и левый берег Волги. Против Камышинки, чуть выше ее устья, начинался здесь широкий со стремительным, особенно в половодье, течением рукав, который вновь впадал в Волгу уже значительно ниже устья Камышинки. Не там ли вольные люди и ожидали охотнее всего купеческие караваны?

Повременим ставить слишком крутые вопросы, поищем возможные свидетельства и аргументы. Впрочем, и теперь уже можно понять, какие грандиозные исторические события разворачивались в это время на Волге. Наши края становились ареной многолюдных массовых крестьянских восстаний, движущей силой которых были ватаги вольных людей. Народная память не могла не откликнуться на эти события. Сотни народных преданий, легенд и песен по-своему изобразили движение масс. Одна из них, обращаясь еще ко временам Ивана Грозного, рисует народного любимца Ермака Тимофеевича. Начинается она эпически развернутым и вместе с тем лирически проникновенным зачином:

Как на речке, братцы, было на Камышинке...

И льется далее широко и свободно:

*Собирались там, соезжались они, люди вольные,
Люди вольные собирались, они беспачпортные,
То донские, гребенские казаки, они со яицкими...*

Величественная и торжественная песня эта завершается призывом Ермака Тимофеевича к собранному в отряды «беглому люду»: «Зимовать мы будем, ребяташки, на речке Камышинке».

В другом варианте этой песни рассказывается уже о жизни зазимовавших здесь вольных людей:

*Как на Волге-реке, да на Камышинке
Парни живут, братцы, люди вольные:
Все донские, гребенские со яицкими...*

¹⁴ Материалы для истории возмущения Степана Разина. М., 1857, с. 241.



Берег у старой Николаевки. 1954 г. Рисунок А. Токарева

А одна из самых старинных записей этой песни уточняет место действия, трогательно воссоединяет вольных людей и с Волгой, и со степями славными саратовскими:

*Как на славных на степях было Саратовских,
Что пониже было города Саратова,
А повыше было города Царицына,
Собирались казаки-друзи, люди вольные,
Собирались они, братцы, во единый круг...*

Историческая народная песня, разумеется, еще не исторический документ, у нее свои способы передачи пафоса времени, свои памятливые зачины, традиционные поэтические формулы, и дух времени такая песня передает ярче и всегда проникновенней любого сообщения и конкретного факта. Замечу тут же, что и некоторые живые детали в песне народной представляют большой интерес. Песни разинского цикла редко, но заимствуют традиционный зачин про речку Камышинку, а еще чаще сообщают, что в ее устье, в самом начале разинского движения, при первой же переволоке на Волгу, люди вольные осели, основали свой стан. И в песне поется, как Разин

собирал отряды вольных людей «во единый круг», как выбирали его вольные люди своим атаманом:

*Ай на речке Камышинке
Там жили люди, они люди вольные,
Все донские казаки...*

Еще в сборник песен, собранных П.В. Киреевским, вошел текст «Песни разинцев», одной из самых лирически-трогательных и психологически-правдивых песен:

*Ах туманы вы мои, туманушки,
Вы туманы мои непроглядные,
Как печаль-тоска ненавистные!
Не подниматься вам, туманушки, ко синя моря долой,
Не отстать тебе, кручинушка, от ретива сердца прочь!
Ты возмой, возмой, туча грозная,
Ты пролей, пролей, част-крупен дождик,
Ты размой, размой земляну тюрьму,
Чтоб тюремнички, братцы, разбежались,
Во темном бы лесу собиралися.
Во дубравушке во зелененькой
Ночевали тут добры молодцы,
Под березонькой они становилися,
На восход богу молилися,
Красну солнушку поклонилися:
«Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Над горой взойди над высокою,
Над дубравушкой над зеленою,
Над урочищем добра молодца,
Что Степана свет Тимофеевича,
По прозванию Стеньки Разина...»*

Подлинность этой части песни и ее привязанность к разинскому циклу народных песен специалисты нередко подвергают сомнению. Но психологическая ее глубина, исторический достоверный пафос выражения души народной, чаяний и переживаний народных – вне всякого сомнения. А нам еще важно, что здесь правдиво раскрывается жизнь «людей бедных», «людей беглых» на Волге, в урочище Степана Разина, у горного утеса на правом берегу Волги, уже чуть

выше той же Камышинки:

*Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Обогрей ты нас, людей бедных,
Добрых молодцев, людей беглых:
Мы не воры, не разбойнички,
Стеньки Разина мы работнички,
Есауловы все помощнички.
Мы веслом махнем – корабль возьмем,
Кистенем махнем – караван собьем,
Мы рукой махнем – девицу возьмем.*

У того же Киреевского дается чрезвычайно интересный для нас текст песни с остро выраженным социальным протестом. В ней Разин даже не упоминается, фольклористы склонны утверждать, что песня скорее всего сложилась вне связи с разинским движением, но рисует близкую ему картину народного возмездия. А нас эта песня интересует еще и такими важными подробностями, какие другие песни не донесли до нашего времени. Приведем значительную часть этой песни и подчеркнем в ней эти детализированные обстоятельства:

*Что понижe было города Саратова,
Что повыше было города Царицына,
Протекала речка матушка Камышинка,
Что вела-то за собою берега круты,
Круты-красны берега, луга зеленые,
Она устьицем впадала в Волгу-матушку.
Как по той ли реке-матушке Камышинке
Выплывают ли стружечки есаульские.
На стружечках тех сидят гребцы бурлацкие:
Все бурлаки, все молодчики Заволжские.
Хорошо все удальцы были наряжены:
На них шапочки собольи, верхи бархатны;
На камке у них кафтаны однорядчны;
Канаватные бешметы в нитку строчены;
Галуном рубашки шелковы обложены;
Сапоги на всех на молодцах сафьяновы;
Они веслами гребли да пели песенки.
К островочку среди Волги становилися:*

*Они ждали-поджидали губернатора,
Губернатора ли ждали астраханского...*

И когда увидели «бурлаки удалые», «молодчики заволжские», что «ляд несет» губернатора – срубили его «буйну голову» и бросили в Волгу-матушку...

Все в этой песне радостно и знаменательно: и влюбленность в матушку Камышинку, в ее красны и круты берега, луга зеленые, и идеализация молодецкой удалой жизни, и описание разнаряженных «гребцов бурлацких», только что весело распевавших песни, а теперь поджидающих у острова среди Волги ненавистного астраханского губернатора и тут же вершащих правое «резницкое» дело...

Вот и настала, кажется, пора спросить, почему я так долго и обстоятельно рассказываю обо всем этом? Может быть, я отдаляюсь все больше от главного в рассказе, а не приближаюсь к нему? Собирался, дескать, о предках рассказывать, о родине своей, а мелет окоlesiцу... Я-то знаю, что иду последовательно к своей цели, но пока вместо того, чтобы напрямик ответить на эти твои вопросы, нетерпеливый читатель, я хотел бы сам спросить тебя, знаешь ли ты свою родину так, чтобы сказать, не задумываясь, где и когда возникло поселение, в котором ты живешь?

Вот и я, изучив вдоль и поперек многие архивы и редкие книги, не могу ответить на этот вопрос однозначно. А задумывался ли ты, мой читатель, что это за «молодчики заволжские», выплывавшие из Камышинки на стругах есаульских? К какому такому «островочку среди Волги» становились и ждали-поджидали астраханского воеводу? Может быть, деды-прадеды говорили тебе, как называлась Воложка, на которой они жили, как назывался остров, против устья Камышинки, отделивший слободу от основного русла Волги-матушки?

Знакомство с историческими событиями, с бурной жизнью на Камышинке, с размахом народных волнений на Волге, с разгулом добрых молодцев, людей беглых и вольных, из тех, что «не воры, не разбойнички», но могут и корабль взять, и караван сбить, и буйну голову срубить», – знание всего этого вело к мысли, что «молодчики заволжские» – не случайная оговорка народной песни. Меня эта «оговорка» убеждала в том, что и на моей родной Воложке вершились не только «резницкие» дела, развертывались бурные, драматические

события. На ее берегах оседали «молодчики заволжские». Я не хочу сказать, оседали для жизни мирной. Трудно, может быть, даже невозможно было в это время на берегу «дикой степи» осесть основательно и заняться хлеборобской мирной жизнью.

Знал я чуть ли не с детства, что Воложка называлась Резницкой, ее со временем «перевели» на положение озера, потому что мелела она на наших глазах катастрофически, стремительно. Хорошо помню, как однажды в большое половодье пересекли мы из Камышина Волгу против течения и подошли к тому месту, которое называлось Разгуляй и являлось началом моей родной Воложки. Здесь, действительно, было место, где разгуляться и волжской стихии, и добрым молодцам заволжским. Мутные и тяжелые весенние воды бурунами ходили вокруг нас, как щепки, несли громадные бревна разбитых плотов, выкорчеванные деревья, коловертью кружили всякий весенний мусор. Наш катерок поначалу еще как-то справлялся со стихией течения, с трудом рассекал белопенные барашки волн, а затем его так несло, что рулевой едва успевал держаться русяла.

Вспоминая о том, как наблюдал за этой стихией, вцепившись в стальные прутья, отделявшие палубу катера от бурного потока, как сладко и тревожно кружилась голова, думаю теперь, а не тут ли, в Разгуляе, встречали идущие сверху корабли люди вольные, «молодчики заволжские», Стеньки Разина работнички? Не оттого ли и назвали наши предки родную Воложку - Резницкой, а остров против Камышинки - Камышинским, а потом Казачьим?

Один за другим встают эти вопросы, согнувшись в три погибели под тяжестью неведомого, но на этот раз встают плотной стеной, цепляются друг за друга... Давно я знал и о Воложке Резницкой, и о Разгуляе, и о Воложке Солянке, и об острове Казачьем, но никогда не связывал все эти названия воедино, не вдумывался в их смысл. И вот однажды, когда погруженный в исторические разыскания, открыл вдруг для себя первые, самые ранние названия того селения, которое стало потом моей родиной, восстановилась выстрадавшая ожиданием и какая-то таинственная связь с тем, что знал ранее, с названиями окружающих вод и земель.

Озарение пришло совершенно неожиданно, сверкнула мысль и, как молния, на какое-то мгновение осветила темно-синее небо

прошлого. Сверкнувшая мысль зацепилась за что-то значительное и высветлила, приблизила ко дню сегодняшнему совсем живой кусок сочной, пульсирующей жизни наших предков. Во всяком случае, для меня это молниеносное мгновение оказалось очень важным открытием, я понял, что пронзительная молния не только ослепляет, но и озаряет...

Не будем выстраивать стену новых вопросов, вернемся еще раз на Камышинку, в порубежье веков, когда древняя Русь уступала владычеству новой великой России. Продолжая искать выходы к морю, Петр Великий все чаще устремлялся в этих поисках на Север, но не забывал и горячих беспокойных окраин взбудораженного невиданными переменами и народными волнениями государства. По его указу напротив старинного острога Камышинки, по остаткам земляного вала которого мы еще мальчишками охотно лазили, встречаясь, так сказать, с историей накоротке, строилась тогда Петровская крепость, по Камышинке-реке и Иловле сооружалась новая засечная линия, и на ней поселялись стрельцы, выходцы из Полтавской, Черниговской и Харьковской губерний, а внутри этой линии многие годы рыли начатый еще в 1697 году канал, пытаясь соединить Волгу с Доном – грандиозные замыслы и вечно не покидающие русского человека надежды на их свершение!

Копать глубокий и широкий ров и тут же насыпать высокий вал начали буквально в двухстах саженях от того места, где еще в XVI веке по повелению турецкого султана Селима крымский хан силами пригнанных из Азова невольников уже пытался соединить Волгу с Доном, выйти с помощью канала на Волгу и отвоевать у России Астрахань.

Теперь на Камышинку было собрано и брошено на рытье канала громадное по тем временам количество работных людей. И под палящим солнцем, в изнурительную жару и в лютые холода, под дождем и на пыльном суховее ежедневно, из года в год, долбили они неласковую каменистую землю. Многие из людей этих оставляли навсегда насиженные родные места, семьи свои, зараставшие бурьяном пашни и ложились костью «в работах на Камышинке». Со всей Волги продолжали стекаться сюда новые работные люди. Из-под Нижнего Новгорода, с необъятной Казанской губернии, со слобод

Самарской луки, из-под Саратова. А в 1716 году впервые прибыли по вызову самого царя под Камышинку на земляные работы несколько тысяч малороссов во главе с генеральным хорунжим Иваном Сулимою¹⁵.

В этот же год плыл по Волге в качестве врача при посольстве Артемия Вольтинского шотландец Джон Белль. В своих воспоминаниях о путешествии через Россию «в разные азиатские страны» он, между прочим, не только скупо рассказывает, но и пытается объяснять увиденное: на Камышинке «нашли мы капитана Перри, родом англичанина, со множеством работников, прокапывающих ров между Волгою и Доном, через что учинилось бы сообщение с Черным морем; но как земля была очень жестка и неровна, то оставили сию работу, хотя расстояние не более как за пятьдесят верст простиралось»¹⁶.

Обратимся к живым свидетельствам еще одного путешественника и доверимся острому глазу искусного голландского живописца Корнелия де Бруина, начавшего в 1703 году плавание по Волге свое многолетнее и трудное путешествие в Персию и Индию, на Цейлон и на Яву и возвращавшегося через четыре года тем же путем.

Подъезжая к Камышинке, живописец и его спутники наблюдали общее оживление на обоих берегах великой реки, видели немало рыбацких шалашей и лодок. Подошли к Камышинке еще до захода солнца. и Корнелий де Бруин сошел на берег. Здесь он увидел начатый сооружением, по его словам, всего четыре года назад и теперь уже значительно обстроенный, довольно обширный, окруженный земляным валом город, который продолжали укреплять, несмотря на то, что он внушительно возвышался на обрывистой скале левого берега Камышинки. А напротив, «на другой стороне Камышинки, сооружали и крепость, окруженную земляным валом, на коем и теперь работали, но сооружение это плохо подвигалось вперед, потому что рабочие не выносили тягости работ по причине дурного здешнего климата».

Упоминает Корнелий де Бруин и о решении Петра Первого «прорыть тут канал для проезда в Черное море». И еще одно знаменательное событие было отмечено путешественником. В это же время намеревались «устроить здесь плотину между двумя горами»,

¹⁵ Дм. Бантыш - Каменский. История Малой России. Ч. Ш. М., 1830, с. 141.

¹⁶ Белевы путешествия через Россию в разные азиатские земли. Ч. П. СПб. 1776.

перегородить Камышинку, но вынуждены были оставить и это предприятие¹⁷.

Что и говорить, крови и пота было пролито здесь, на Камышинке, немало и русскими крестьянами, и солдатами, и поселенными на засечной линии стрельцами, и работными людьми со всей России.

Обратный путь Корнелия де Бруина оказался не только тревожным, но и полным всяких опасностей. Восстание казачьей гольтыбы под водительством Кондратия Булавина уже полыхало на Хопре, а вскоре распространилось на Сечь, на Слободскую Украину. Отряды булавинских атаманов Драного и Голого вышли в воронежские края, очень беспокойно стало и на Волге.

16 сентября 1707 года голландский живописец и его спутники прошли Царицын и видели, как город начинает отстраиваться после прошлогоднего пожара. Шли волоком, тянули струг на канате, прижимаясь к западной стороне, так как «по близости восточного берега было не безопасно» – то и дело встречали струги, ограбленные «разбойниками». На третий после Царицына день путешествия «переплыли небольшой залив, служащий убежищем разбойникам, коих небольшие лодки прятались за деревьями»¹⁸.

Судя по всему, путешественники снова приближались к Камышинке, но прошли ее на этот раз поспешно, не оставив никаких путевых записей. Вскоре вышли на Волгу ватаги булавинского атамана Некрасова, вступили в низовые волжские города, заняли ненадолго и Дмитриевск на Камышинке. Именно в это взбудораженное время развертывались здесь большие события, имевшие продолжение в моих заволжских степях...

Совсем еще недавно крохотный острожек, «малая крепостница», становится в это время воеводским городом Дмитриевском и обороняется «на все стороны» – то с ногайской стороны переходят по льду Волгу калмыки и подступают к городу, то с кубанской или крымской стороны обступают город большие орды кочевников. Служилые люди Дмитриевска бьют челом правительству и уверяют, что они «по строению города, за неимением в то время Царицынской

¹⁷ Путешествие через Московию Корнелия де Бруина. - Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1872, кн. III, с. 179-180.

¹⁸ Путешествие через Московию Корнелия де Бруина. - Там же. кн. 1У. с. 232.

линии, от набегов кубанских имели неусыпные в службе труды и всеусердное по присяжной своей должности старание»¹⁹.

Не нам определять точное время построения Дмитриевска, тем более, что высказываются различные точки зрения по этому поводу. Среди жителей Камышина сохранилось предание, будто бы в 1692 году казанский воевода боярин князь Черкасский собрал по царскому указу со всех городов Казанской области тысячу человек из черносошных крестьян и сформировал из них полк. А четыре года спустя полку этому велено было отправиться с семьями в город Камышинку, куда он и прибыл в конце лета 1697. Это было в самом начале строительства канала, нужда в служилых и работных людях была великой. Требовались и стрельцы для охраны канала, и строители нового города, готовили людей еще и «для шлюзного дела». Во всяком случае, в 1710 году на место петровской крепости «были переведены и жители левого берега, и поселение получило имя Дмитриевска, в честь святого великомученика Дмитрия Салунского, икона которого привезена была поселенцами еще из Казани и почиталась чудотворной»²⁰. Старожилы Дмитриевска, отставные служилые солдаты и позже рассказывали, что они «по указу Петра Первого в прошлых давних годах переведены из Казани и из прочих верховых городов на реку Камышинку для построения вновь города Дмитриевска и для содержания караулов и разных служб»²¹.

Город так часто переводили с берега на берег, что я, юный пятнадцатилетний историк, начитавшись всяких справочников и путеводителей по Волге, где об этом писали много и охотно, повторяя друг друга, и сам запутался да еще ввел в заблуждение редакцию областной комсомольской газеты «Молодой ленинец». То ли где-то вычитал, а скорее, слышал от древних николаевских стариков, что во время одного из таких переводов на левом берегу Волги остался хуторок Дмитриевский. Что называется - слышал звон, да не знает, где он... Во всяком случае, ошибка эта была тут же осознана и тяжело переживалась.

Совсем недавно мне попал в руки совершенно официальный

¹⁹ Ив. Кирилов. Цветущее состояние Всероссийского государства. Кн. П. М., 1831, с. 29-30.

²⁰ Городские поселения в Российской империи. Т. IV. СПб, 1864, с. 437.

²¹ Г. Перетяткович. Поволжье в XVII и начале XVIII века (Очерки по истории и колонизации края). Одесса, 1882, с. 248.

документ «Описание населенных местностей Царевского уезда, находящихся в ведении общей полиции. Составлено в 1877 году»²². Ксерокопию этого документа я держу в руках и выписываю из него: «Слобода Николаевская находится при озере Резницком, основана она из хутора Дмитриевского и по устройстве в ней первой церкви во имя Николая Чудотворца, в 1794 году, стала называться слободой Николаевскою»²³. Здесь не все изложено так точно, как хотелось бы, но совершенно ясно, что речь о хуторе, носящем имя города, о хуторе, оказавшемся за Волгой, за островом, названным поначалу именем реки, на которой стоит этот город, не ведающий, на каком берегу этой речушки ему лучше стоять, – все это совсем не пустой звон...

Наши давние предки, разумеется, знали все это доподлинно.

А как быть теперь нам, как узнать, когда все это происходило, что за люди населяли этот хутор, откуда пришли, какова их судьба и, наконец, почему на месте этого хутора основали потом слободу? Целый рой вопросов, и ответить на многие из них, честно скажу, не поможет уже никакое озарение. Вот и остановились мы на развилке дорог, не зная, какую из них выбрать, как добраться до правды. История ведь не очень-то интересовалась, какими-то там хуторами да слободами...

«Новопостроенный» в самом конце семнадцатого века и названный в самом начале следующего века городом Дмитриевским, он, городок этот, долгое время сохраняет обличье глухой сторожевой крепости.

Служилые люди исправно несли службу, но не стали удовлетворяться этим, обратились с просьбой к правительству отвести им как новопоселенцам земли и угодья. И вот в Архиве Министерства юстиции отыскиваются материалы приказа Казанского дворца о наделе землями служилых людей Дмитриевска. В 1707 году по их просьбе прислан был на Камышинку «нарочно из приказа Казанского дворца дьяк Макар Полянский», который и отвел «вокруг Дмитриевска на выпуск и на сенные покосы, а также лесные места для рыбных ловель» по нагорной и по луговой стороне 440 десятин, в том числе острова

²² Труды Астраханского губернского статистического комитета. Вып. 2-ой, второе доп. издание. Астрахань, 1879.

²³ Труды Астраханского губернского статистического комитета. Вып. 2-ой, второе доп. издание. Астрахань, 1879.

на Волге – Дубовской, Камышинский и Шишкинский²⁴.

Сначала охотнее пользовались наделами нагорной стороны, защищенной от кочевников широтою и глубиною волжских вод, но мелкие владетели эти, по словам тонко чувствующего их запросы историка, «не упускали богатых заливных лугов низовой стороны, лежащих насупротив отведенных им пашенных и усадебных земель, особенно если тамошные сенокосы были защищены течением реки и речек»²⁵.

И если даже в нашем понизовье, в такой опасной близости к кочевникам (калмыки нередко выходили к Волге почти напротив Дмитриевска, чуть южнее Воложки Соленой), отводились уже в начале восемнадцатого века земли и угодья с сенными покосами и рыбными ловлями, то чувствовали, зная, служилые люди силу крепостей и острогов за своей спиной. Вкус приходил во время еды, и привлекали больше земли не по отдаленной и глубоко, на пару сотен верст уходившей в степи реке Еруслан, а «от устья оной... на низ по Волге,



Берег реки Волги. Рисунок А. Токарева

²⁴ Архив Министерства юстиции. отд. III Саратовского уезда дела, визка 61-я, дело № 2300. Цит. по кн.: Г. Перетяткович. Указ. соч., с. 249.

²⁵ Г. Перетяткович. Указ. соч., с. 335.

где займище и острова». Совсем вблизи города, можно сказать, на виду у него.

Стремление обладать природными богатствами луговой стороны историки объясняют «некоторым спокойствием, которое наступило на короткое время со стороны кочевых обитателей степи, не тревоживших особенно своими набегами окраинного населения. Впрочем, и в это время более предусмотрительные из местных жителей не предавались иллюзиям, а, вступая в договоры с владельцами угодий по левой стороне, старались обеспечить свои интересы на случай вторжения кочевников и их разорений»²⁶.

И снова вспоминается тут наше беспечное босоное детство. Когда поляя вода стихала, начинала спадать, а Волга входила медленно и лениво в свои берега, освобождались «зелены луга» нашего Займища и на Казачьем острове, на том самом, на котором дьяк Казанского дворца, называя его Камышинским, отводил служилым людям Дмитриевска угодья, травы буйствовали, вымахивая в человеческий рост. Наши отцы и деды на шустрых узконосых лодчонках по каким-то им только ведомым протокам забирались в самую гущу этих трав, и ходили острующие, как бритвы, косы в спутанных водой и ветром, дурманно-сочных зеленях – вжиг, вжиг, вжиг... И кружились над взмокшими головами косарей шмели и осы, и темнели рубахи меж лопаток, и падала, падала стоявшая стеною трава... Брали и мальцов с собою. К обеду мы уже успевали наловить на ушицу. Задымилась первые костерки, и косари потянулись к ним. Солнце припекало так, что скошенная трава усыхала на глазах, и тогда пьянящий ее дух кружил голову, был так сладостно приятен, что и теперь, закрыв глаза, вдыхаешь запах привядших трав и непременно видишь Волгу и Воложку, утопающих в море зелени, редкие костерки на берегах с едва курящимся сизым дымком, робко потянувшимся вверх к крутому, как яичный желток в редкой белеси облаков, растопившему весь этот радостный мир солнцу.

В это время всеобщей благодати в природе наливались через край озера на Займище и полнились жирующей рыбой, а Резницкая протока, забираясь ериками в степь, так размывала их, что там оставались удобные для рыбной ловли заливы, тинистые заводи, и нас,

²⁶ Г. Перетяткович. Указ. соч., с. 335-336.

мальчишек, ничем, бывало, не могли извлечь оттуда. У самой остролистой, режущей как сабля, осоки кидали в самые мутные заводи корзины с выданным в рыбацком азарте дном и шарили, шарили внутри и никак не могли ухватить ручонками широченного, почти круглого карася, который и на сковородку-то вряд ли мог поместиться...

Старшие из нас, гордые тем, что вырвались из-под опеки родителей, выходили на Волгу к Шишкинскому острову. Там тогда еще ходила стадами чуткая рыба – стерлядь. Случалось, ловили ее, а еще больше хвастали нам, и тогда не было предела нашей зависти. И бесконечной была радость, когда брали старшие «на жереха» к крутым обрывам под самым Дубовским островом. Здесь же, бывало, у бакенщика переправлялись и на этот остров и ловили там в озерах золотых увальней – линей.

А однажды на Волге, собравшись мальчишеской стайкой, наблюдали, как настоящие рыбаки подтягивали к берегу большой невод. По всей протоке у Дубовского, как конвоем, сопровождали его рыбацьи лодки. Вся эта ватага медленно приближалась к берегу, и по тому, как тяжело извлекался невод, как серьезны были обветренные, прокаленные солнцем лица рыбаков, чувствовалась торжественная и какая-то тревожная значительность совершаемого действия. Издали мы видели, как вспенилась вдруг вода внутри невода, как забилось и заходило в нем что-то живое и нами никогда не виданное. Успевали мы разглядеть только громадный плавник на хребтине, и он, как буер, рассекал тесное для него пространство. Казалось, в неводе была не рыба, а неведомое нам большое морское животное, и оно металось, билось, пенило воду вокруг себя, фонтаном поднимало брызги... И вдруг все стихло, напряглись лица и руки рыбаков, а мы замерли, затаились у обрыва.

Не помню теперь, как оказалась на берегу красивая большая рыба. Лежала она вверх животом тихо и покорно и была такой ослепительной, такой нежной белизны, какой я никогда больше не видел. Мы вздрогнули, видя такую, ничем не защищенную обнаженную красоту. Нам стало стыдно, и мы отвернулись.

В древние времена Адам Олеарий наблюдал, как между Камышинкой и Царицей рыбак поймал белугу в четыре локтя длиною и, чтобы усыпить, бил ее большим молотком по голове. Пойманная на



Рыбаки. Рисунок А. Токарева

моих глазах белуга была, мало сказать, большой, она была великой рыбой, и я не видел, не хотел видеть и знать, как удалось рыбакам справиться с ней. В это время нас отогнали подальше, и я до сих пор думаю, что красавица белуга покорно сдалась на милость победителей...

Этим днем мы не могли уж и помышлять о рыбалке, а вечером, притихшие, собрались у костра, и в больших, как омуты, глазах моих товарищей я разглядел тускло мерцающие искры уже покрывшегося пеплом костра. Все мы переживали виденное и думали об одном. Мир был полон для нас тайнств и неожиданных открытий, надо было понять и себя в этом мире и определить свое отношение к нему, к его красоте и богатствам. Мог ли я тогда думать, что людям еще надо знать, как пользоваться этим миром и что нам, притихшим у костра мальчишкам, оставались считанные годы до того времени, когда надо будет защищать и красоту этого мира.

Просто не верилось, чтобы всем этим богатством не пользовались с давних времен те же служилые люди города-крепости у самого устья Камышинки, только что названного Дмитриевском. Уже позже и не однажды думал я: неужели богатые покосами, рыбой и дичью заволжские острова и займища, удобные для охоты и рыбной ловли уголья – озера, рукава с заводями и заливами, неужели все это не

влекло к себе оседавших здесь русских людей, собранных сюда чуть ли не со всей Волги?

Оказывается, влекло, и еще как! И вот напротив новопостроенного городка Дмитриевска, наделенного в самом начале восемнадцатого века удобными богатыми угодьями, появляется хутор его имени, возникший на низинном островке, на самом острие встречи со степью. Как крепостным рвом, отрезан был хутор от степи крутым, заполненным водой Ериком, впадавшим в Воложку, слева ее с тем же Ериком соединял ручей, а за спиной та же спасительная в случае опасности Воложка. И когда на лобастых, открытых всем ветрам песчаных взгорьях Ерика появлялись воинственные, вооруженные всадники, уходить нужно было в камыши, где прятались лодки, и выбираться на Волгу под защиту крепости.

Видно, так было не однажды. Тревожное спокойствие кончалось, кочевые обитатели степи зачастили со своими набегами, их стрелы все чаще загоняли в камыши мужественных жителей хутора.

Снова пронзительно сверкнула молния, и на темно-синем небе прошлого, озаренном факелами, словно вырезанные, четко обозначались скачущие всадники в островерхих шапках. С гортанными криками они прорывались к острову. На этот раз, кажется, пришла большая беда... Страница за страницей листаю старую книгу. Как самый увлекательный роман читается краеведческий словарь. И вдруг в изумлении начинаю твердить те несколько строк, о которых мог только догадываться. Оказывается Николаевская слобода по документам конца восемнадцатого столетия «называлась так же Зауморской, Зауморье тож»²⁷.

Обращаюсь тут же за помощью к другому словарю, и всезнающий Даль объясняет, что Зауморье могло возникнуть на вымершем или выморочном месте...

Кто теперь скажет, что было на этом хуторе – урочище ли вольных, беспачпортных людей, «молдчигов заволжских», казачья ли станица или сторожка, выдвинутая к началу степи? А может быть, рыбацкий стан стрелецких или черносошных жителей «новопостроенного городка», что на Камышинке, – хутор Дмитриевский?

²⁷ А. Н. Минх. Историко-географический словарь Саратовской губернии, Т.1, вып. 2, Саратов, 900, с. 437.

Одно название хутора и – больше ничего неизвестно. Но что-то было, было же что-то! Во всяком случае, моя Родина начинается за Волгой с этого хутора, с гибельной для него встречи со степью. Хутора Дмитриевского не стало, но на вымершее место пришли новые люди, чтобы навсегда осесть здесь. Родина начиналась с тяжких и радостных будней несущего жизнь труда, с опасных сражений, в которых отстаивалась сама жизнь. Уходящая в глубь веков Родина становится нам еще ближе и дороже.

Дорога на Эльтон

На исходе августа, в тот год, когда случилась возможность проехать на Эльтон древней дорогой предков, еще держалась сильная жара. Думалось, тронемся в путь ранним утром по холодку, но хозяин «уазика» и наш добрый спутник Николай Сергеевич, человек с мужественным открытым лицом и обязательностью военного, чем-то был занят с утра, и выехали мы за город в самое пекло. Тут же миновали лесозащитную полосу, пересекли широкое асфальтовое



Дорога. Рисунок А. Токарева.

шоссе, стрелой уходившее на юг к Волгограду, и вырвались в степи.

Молодой, устремленный к цели шофер, наш Саша, вцепился в руль, и насквозь прогретый на солнцепеке, темно-защитный, обычно тряский «уазик» мягко покотился по грейдеру, как по асфальту. Николай Сергеевич уступил мне место у смотрового стекла, и я, как корабельный впередсмотрящий, вглядывался в открывающиеся дали, которые, несмотря на кажущееся однообразие степи, все время менялись.

Хлеба уже убрали, на полях не видно было ни людей, ни машин, не попадались и придорожные одинокие жилища, но ухоженная человеком степь, отдавая ему плоды труда, еще цвела всеми предосенними красками. «Уазик» наш, взобравшись на крутой мостик, перескочил через бетонные лотки оросительного канала, по которым вода устремлялась далеко в степи. Невдалеке под защитой лесной полосы укрылась насосная станция, чуть дальше по брызгам, переливающимся в лучах солнца, угадывались работающие дождевальные установки. У самой дороги начинались и тянулись к Волге бахчи. Они раскинулись здесь широко и простирались как огромные зеленые футбольные поля, усеянные зреющими пятнистыми арбузами, щедро раскатанными по этим полям самой природой.

Николай Сергеевич хорошо замечал перемены времени, помогал взглянуть в мои родные степи и увидеть в самой их природе что-то новое, неизвестное во времена нашего детства. Не утерпел он и приказал Саше остановиться у какого-то неказистого, подпаленного солнцем перелеска, и оказалось, что внутри этого перелеска не в редкость маслята и даже самые настоящие боровые грибы.

По левой стороне дороги открылся во всей красе лиман, заросший иван-чаем. Это был первый лиман на пути к Эльтону с оставшимся от чумацких времен тревожно-предупреждающим названием «Не спи!». И показалось мне, что мы плывем мимо оазиса. Таким ярким, щедрым на краски разноцветьем выделялась напоенная лиманной влагой почва во всей еще только начинавшей блекнуть предосенней степи.

И тут узнал я, что мой спутник в дороге на Эльтон еще и большой знаток настоящего на степных травах чая. Дотошно выискивает он в ярком цветении мяту, донник, шалфей, старательно высушивает и в пропорциях, одному ему известных, смешивает, добываясь не только

невыразимого и несравнимого ни с чем аромата, но и особого, снимающего усталость эффекта.

– Испытанное средство, да и напиток божественный, – улыбаясь, заканчивает свой рассказ про чудодейственные степные травы Николай Сергеевич. – Кое-что выведаль и у казахов, они тут в степи каждую былинку знают. Большие любители чая!

Для моих спутников поездка по бесконечной, километр за километром уходящей под колеса дороге была обычным, ничем не примечательным делом. Чтобы развлечь как-то моих заскучавших собеседников, я стал рассказывать о том, как медленно тащились по выжженной степи с тяжело груженными солью караванами наши предки и как подстерегала их со всех сторон опасность. Где-то здесь, на эльтонской дороге, налетели однажды ночью на поспешавшего Суворова кочевники, тяжело ранили его ординарца, да и сам великий полководец едва вышел невредимым из этой стычки в степи. А в прошлом столетии уже с возможным тогда комфортом ехал по этой же дороге к Эльтону прославленный французский романист Александр Дюма в сопровождении большой и именитой свиты.

– Летом 1858 года Дюма-отец, – рассказывал я, – плыл из Нижнего вниз «по батюшке» по Волге. Ведь по-французски Волга – мужского рода. В Камышине писатель сошел с большого волжского парохода, переправился в Николаевскую слободу, а оттуда – этой вот дорогой, на Эльтон...

– Так уж и этой дорогой? – впервые за время пути удивился Саша.

– А другой и не было... Впрочем, судите сами. Из слободы – на Эльтон, оттуда – на Баскунчак, затем снова водою по Волге в Царицын...

Саша изредка недоверчиво поглядывал в мою сторону, а я порывлся в своих бумагах, нашел выписки из Моруга и продолжал:

– Теперь писателю казалось, что он «по горло сыт водою и степью». Вот что он писал из Астрахани Дюма-сыну: «В Камышине – внимание! – я отправляюсь к киргизам... Найди на карте озеро, вернее – три озера; первое из них – озеро Эльтон. Там я ночевал в палатке посреди степи и пировал с очаровательным человеком, господином Беклемишевым, атаманом астраханских казаков. Из Астрахани

привезли солончакового барана, в сравнении с которым нормандские бараны ничего не стоят... Хвост нам подали отдельно – он весил четырнадцать фунтов. На десерт Беклемишев подарил мне свою шапку, которая в Париже сошла бы за элегантную муфту. Ты ее увидишь»...

Именитого французского путешественника всю дорогу ублажали, как могли. оказывали «теплый прием», поили и кормили всякими яствами уже и без того закормленного писателя, утомленного вниманием и перегруженного впечатлениями... Но не только в степи у костра пировал Дюма, запивая изжаренного барашка кумысом – русская водка ему не нравилась! Его учили готовить волжскую стерлядь и осетрину. Он высоко оценил баранину на вертеле – шашлык. Мясо для него целыми сутками вымачивали в уксусе вместе с мелко нарезанным луком...

– Наконец, для полной экзотики свезли Дюма во владения князя Тюмена. – завершил я свой рассказ. – Тут писателю довелось отведать и лошадиную ляжку, и голову лошадиную, начиненную черепахами, и сырую конину с зеленым луком... Прямо в постель ему подавали большую чашку верблюжьего молока. Выдержав все это, Дюма и тут обнаружил истинный характер мушкетера. Его не очень удивили пышные приемы и богатства князя Тюмена с его пятьюдесятью тысячами лошадей, тридцатью тысячами верблюдов, многими стадами баранов. Как-никак, «это в некотором роде калмыцкий царь»... А вот его «очаровательная восемнадцатилетняя жена с раскосыми глазами и жемчужными зубами» произвела впечатление. Писатель перестал поторапливаться домой... Впрочем, он сам рассказывает, что произошло при расставании: «Я было попытался потереться носом о нос княгини, но меня предупредили, что эта форма вежливости принята только между мужчинами. Как я сожалел об этом!». Говорят, по возвращении в Париж рассказы Дюма о России превзошли приключения Монте-Кристо, но писатель всегда так увлеченно и так увлекательно рассказывал, с таким жаром и с такой убежденностью, что прежде других верил всему этому сам...

Со вниманием, я бы сказал, изумленно слушали мой рассказ спутники. Саша даже скорость сбросил. Промолчав почти всю дорогу, он вдруг открылся в беседе, и выяснилось, что мой земляк, коренной

житель здешних мест, как и почти все его сверстники, мало что знает о прошлом своих родных степей и об этой древней дороге на Эльтон, в которую я так пристально всматривался.

Вскоре впереди на фоне неба четко обозначилась чуть ли не единственная пока вертикальная линия в степи. Это была, как выяснилось при близком рассмотрении, деревянная, обшарпанная, явно доживавшая свое время церковь в селе Александровке. Мы были, по моим представлениям, где-то близко к середине чумацкого пути к Эльтону, у знаменитого могутинского умета. Николай Сергеевич отыскал в этом селе древнего, совсем ветхого старика. Но и тот уже не знал старинной дороги на Эльтон.

От Александровки пробирались мы каким-то проселком, а вернее, шли прямо по степи, ощупью, оставив справа могутинский лиман. Вон впереди – покореженное здешними неистовыми ветрами одинокое дерево, около него заросший крапивой колодец... Может быть, здесь и становились на отдых, кормили волов чумаки-солевозчики. Может быть, здесь ломщики соли, приставшие к каравану, промывали свои язвы-раны, а вот в тех курганах хоронили умерших в дороге чумаков...

Когда уже изрядно проехали мы по степи без всякой дороги, я



Рисунок А. Токарева.

попросил Сашу остановиться и пошел пешком. В нескольких шагах от машины наткнулся на глубокую колею от старо-прежнего деревянного ошинованного железом колеса. Видно, что оно прошло здесь давненько и в крепкую непогоду – грязь падала с колес и засыхала большими, пропахшими дегтем комьями. Может быть, этот затерявшийся в степи след и есть остаток старой чумацкой дороги на Эльтон? Судя по всему, от той дороги не осталось теперь никакого следа, но очень уж хотелось мне признать эту колею за старую дорогу. И я решил: пусть будет она колеей времени, проложенной нашими предками в день сегодняшней.

Почему-то считается, что степи наши заволжские бесконечно ровные и гладкие, как стол, и по ним хоть шаром кати. Мы же очень осторожно пробирались к цели, шли у самых суслиных нор, по уже изрядно заляпанной соляными лишаями земле. Впереди и по сторонам простирались давно неезженные никем степи с редкими, совсем небольшими холмами в бурых подпалинах, с едва приметными ложбинами, покрытыми редкой, словно бы нарочно рассаженной здесь тычками растительностью. Эти рыжевато-серые кустики росли словно лениво и никак не поднимались вверх.

В одной из ложбин – я даже вздрогнул от неожиданности – лежали, подогнув под себя ноги, большие, в сваленной клочьями шерсти верблюды. Их было много, больше десятка, все такой же, как растительность вокруг, серо-бурой окраски. Их трудно было заметить, они сливались с этим окрестным миром, и только головы их, словно посаженные на высокие, опушенные шерстью шесты, медленно и важно поворачивались в сторону потревожившего их сонный покой «уазика» и провожали нас безразличным взглядом...

Только что ехали мертвой степью, и вдруг – все ожило. Вот она загадочная дремотная Азия, гляди на нее сколько хочешь, гляди в ее нетронутое цивилизацией естество! Ты же хотел это видеть наяву и в самой близости? Но я, кажется, уж не раз видел такое, откуда-то знаю все это... Но откуда? И вспомнились старинные, наивные в своей бесхитростной простоте карты. На них заволжская наша сторона представляла еще более загадочной в сравнении с той, в которую мы теперь углубились. На этих картах наша степь изображалась, можно сказать, символически в виде редких песчаных холмиков да полынных

кустиков. А в правом углу карты художник давал волю своей фантазии и мастерству и тщательно выписывал царя здешней природы во всей его красе – жизнестойкого, вечного, важного верблюда. А мне еще почему-то казалось, что верблюд слишком мудро косит на меня глазом...

На Эльтон я уже не раз ходил еще в детстве, прошел, кажется, все эти лиманы и уметы с редкими колодцами в иссушенной зноем степи. До сих пор чувствую во рту вкус отвратительно теплой, отдающей тиной воды в бочке, взятой в дальний путь. Впереди – подернутая маревом степь, и я один, как перст, в этой степи. Надо мною такое большое и такое жаркое солнце, что и взглянуть на него опасно – ослепит и испепелит тут же. Перед глазами уныло маячат изогнутые ухватом воловьи рога. И целый день в ушах звенит иссушающий зной, сухо жужжат назойливые оводы и мухи, и гулким эхом отдаются в голове одни и те же изнурительно однообразные клики:

- Цоб, цобэ! Цоб, цобэ! Цоб, цобэ...

Но это было больше во сне, чем наяву, – так сильно врезались в детскую память с ее причудливой фантазией рассказы отца, который



Чумацкий тракт. Картина А. Токарева.

сам-то ходил на Эльтон всего два-три раза на исходе гражданской войны или вскоре после ее окончания. Собирались тогда несколько семей, ехали на Эльтон и возвращались с солью для домашних нужд.

Особое впечатление, по словам отца, производила первая встреча с Эльтоном. Еще издали утомленного жарой и дальней дорогой путника поражало необычное явление, близкое северному сиянию. Преломляясь в кристаллах соли, играли в небе разноцветные лучи. Солнечная испарина над озером словно бы подсвечивалась снизу и озаряла все вокруг золотым сиянием. Может быть, поэтому калмыки и назвали это озеро Алтон-Нор, Золотое озеро, а русские обозначали его на своих картах «оз.соленое Елтонское», а чаще всего совсем коротко – Эльтон.

Кочевым народам это озеро было известно со времен, уходящих в глубокую древность. Знали о нем и русские еще при царе Алексее Михайловиче. Они не только покупали соль у калмыков при волжских торжищах, но и сами тайно пробирались на Эльтон. Петр Великий милостиво разрешил кочевым людям торговать солью между собой, но вывозить ее в великорусские города и уезды не было велено.

Еще до этих запрещений во времена вольной соляной продажи Перфилий Елистратов сын Солодовников не раз брал соль на Эльтоне. В двадцати пяти верстах от Камышинки, против нагорного Каравайнского урочища, на луговой стороне, была от него, купца Солодовникова, пристань, были пушки для предосторожности, а для соляной кладки – немалые амбары, и содержались они исправно лет шесть. Соль возили на лошадях, а лошадей было по пятьсот и по тысяче. Присылались сюда для охраны служилые люди числом в двести человек. Из Камышинки и Саратова давались для калмыцкого разговору толмачи, для письма – подьячие, а для духовных потребностей – священники.

По дороге на Эльтон рыты были колодцы, а при них опять же охрана - «защитение от нападения». По сказке старожилов царицынских, «служилых людей бывало в карауле сот по пяти, так как непрестанно от калмык были нападки, отгон лошадам и взятке людям и протчие обиды и грабительствы»²⁸.

Брать соль с Эльтона, как видно, было крайне опасно, обходилась

²⁸ЦГАДА. ф. 248 (Сенат), кн. 1615, л. 152.

эта соль довольно дорого, и по смерти купца Солодовникова вывозка ее в верховые города прекратилась. Но соль с Эльтона продолжали брать то на довольство Войску Донскому во время Турецкой войны, то на свои нужды волжским казакам, которые «жительство имеют между Царицыным и Дмитриевским». Во времена вольной соляной торговли обыватели и уездные люди неоднократно ездили на Эльтон за солью и «брали ее без всякого дела и труда». Правда, ездили «разом человек по 200 и по 250 с ружьем, у кого какое есть»²⁹.

Волжские казаки готовы были даже вывозить соль с Эльтона в другие учрежденные места и просили об этом в 1742 году военную коллегию. Сами же они давно и охотно брали соль на Эльтоне и способствовали тайной ее продаже. По представлению властей Саратова и Дмитриевска, «предостеречь того, чтоб они отвоз и продажу мимо казны не употребляли невозможно», «понеже де от оных городов степь дикая», а по Волге много идет судов вверх и вниз и «за тайной продажей уследить весьма неспособно»³⁰.

Большой интерес к Эльтону проявила только что вступившая на престол Елизавета. Сенат тут же, удовлетворяя любопытство царицы, запросил Астраханскую, Оренбургскую и Казанскую губернские канцелярии сообщить, какой обширности сие озеро и сколько с него соли возить можно³¹. Казанская канцелярия почему-то промедлила с ответом, Оренбургская честно донесла, что об Элтонском озере здесь «ничего не ведомо», астраханские власти, привычные к своему астраханскому бузуну, посчитали за лучшее оставить сие озеро «за неспособностью».

Смутные сведения, как оказалось, имела об Эльтоне и Соляная контора, дела которой сгорели в большие московские пожары 1737 года. Однако Сенату смогли донести, что озеро имеет в округе 28 верст, оно ближе к Дмитриевску, чем на Камышинке, — «по сказке калмыцкой от того Элтонского озера калмыцкого их кочевого пути до Дмитриевска города два дни, до Саратова четыре дни». Калмыки, дескать, уже не раз возили соль к Саратову, но много возить им будет невозможно, «потому что калмыцкий народ к многотрудной и

²⁹ ЦГАЦА, ф. 248 (Сенат), кн. 1615, л. 157, 157 обор.

³⁰ ЦГАДА, ф. 248 (Сенат), кн. 1615, г. 27 обор.

³¹ ЦГАДА, ф. 248, кн. 1615", л. II обор, 155 обор.

непрестанной работе скучен», а казне. «ежели от великих дождей помешательства не будет, соли можно заготовлять и вывозить сколько будет потребно»³².

И вот шлет нетерпеливая царица в ноябре 1745 года из Петербурга в Астрахань гонца – солдата Сергея Тарасова с указом, чтобы отправили на Элтонское озеро нарочного, а в Сенат незамедлительно сообщили «обстоятельные ведомости». А вскоре снаряжается целая экспедиция на Эльтон во главе с вятским воеводой подполковником Николаем Чемодуровым. По прибытии в Саратов к ней присоединились саратовский воевода Степан Дурасов, подпоручик Дмитрий Родионов, геодезист Иван Лебедев³³. Все они переправляются 16 сентября 1746 года через Волгу и в сопровождении хорошо снаряженного конвоя устремляются к Эльтону «для осмотра и достоверного свидетельства соляного Элтонского озера».

Озеро поразило не столько своей обширностью – длиной двадцать, а поперек шестнадцать верст! – сколько толщами зарытой здесь соли. «Желая ведать глубину соленых пластов на озере и хотя бы примерно объявить, сколько всего с одного озера соли взять можно», преодолели сажень на пятьдесят иловую и вязкую глину и пошли по соли, как по льду. И чем дальше от берега рыли ямы в соли, тем «оная соль толще» становилась и тверже, так что «болея пешнями уже о твердости соли рыть было невозможно». «Через многие годы окаменела соль и тако ж твердь обрела, что пешни ломались и рыть стало нечем. Точно по всему тому Элтонскому озеру соль, что далее от берегу в озеро, то соли толще, по которой длину озера меряли. Едучи с командой по соли власно как по льду, на которой тогда с правой стороны и тузлука (рассола) не было от берега местами от четырех и до семи верст в озеро ... Обыкновенно над тем озером тузлук (весьма соленая вода) и откуда ветер, оттуда воду или тузлук згонит к тому берегу, куда ветер, а протчие места, откуда расол згонит, остаетцы сухо и настоящая соль там, как точно на реке лед, только обломитца на нем невозможно, ибо до самого дна самая естеством твердая соль»³⁴.

Вблизи озера сохранился весьма обветшавший земляной городок.

³² ЦГАДА, ф. 248, кн. 1615, л. 150-150 обор, л. 148 обор.

³³ ЦГАДА, ф. 248, кн. 1602, л. 360.

³⁴ ЦГАДА, ф. 248, кн. 16X5, лл. 491 обор, 492.



Добыча соли на озере Эльтон. Картина А. Токарева

сделанный еще до 1705 года московским купцом Перфилием Солодовниковым, а к озеру тянулись не только старые тележные и санные следы, но и торились новые дороги. Не далее как за неделю до приезда команды Чемодурова тайно и воровски приходили на Эльтон не менее ста телег и ушли по старой дороге на Камышинку, но потом свернули с нее прямо к Волге и спустились вниз.

Чемодуров предлагает построить новую крепость на удобном месте да так, чтобы вокруг Эльтонского озера было видно ее и чтобы в пресной воде не было нужды, а в городке том поместить немалый караул.

Считая, что поставку соли с Эльтона надо возобновить и что способнее возить эту соль к Дмитриевску, экспедиция Чемодурова предлагала по дорогам к озеру вырыть колодцы, возобновить старые копани – «следующие за солью оные копани для себя сами могут в доброе состояние привести», выбрать удобные места для приемки соли у Волги и построить на луговой стороне соляные магазейны...

О какой-либо «опасности от степных народов» не было уже и речи. Правда, в соляной конторе еще продолжали считать, что «за оной солью до Эльтонского озера ездить надлежит в многолюдстве», и предлагали не только на озере, но и у пристани (очевидно, на луговой стороне против Камышинки) построить крепости и собрать для возки

соли побольше лошадей, верблюдов, телег, нанять рабочих людей немалое число со всей России.

И пошла, как говорится, писать губерния. Царица пожаловала Николая Чемодурова в полковники, поставила его во главе Саратовского соляного комиссариатства. Один за другим направлялись в Сенат рапорты, доношения, регламенты, и пухли бумаги по озеру Эльтон так, что теперь знакомиться с ними приходилось лишь стоя на стуле и с большим трудом вглядываясь в скоропись первых страниц громаднейших по толщине, чуть ли не в человеческий рост, фолиантов.

В январе 1747 года царица Елизавета уже звала «охочих людей» на разработку Эльтонского соляного озера. Ее указ через правительствующий Сенат объявлялся «во всенародное известие». После призывных трубных кликов он громко зачитывался во всех людных местах – на площадях и торжищах: «Понеже по указу ея императорского величества и по определению правительствующего Сената велено с Элтонского соляного озера, которое близ города Дмитриевска, что на Камышинке, ставить в казну соли бузуну, в городе в Саратов и в Дмитриевск, сумму немалую. Того ради, ежели кто пожелает с того озера ту соль брав возить и ставить в Казну в вышеписанные города, те б для того немедленно явились в Саратове, у определенного к тому приуготовлению соли, подполковника Николая Чемодурова, которому велено с теми охочими людьми чинить договоры, и с кем о поставке той соли договоры учинены будут, у оных соль в магазейны принимать, а за поставку денги выдавать без всякого удержания»³⁵.

Но когда Дмитриевская воеводская канцелярия учинила эту публикацию, то среди местных, не раз ходивших на Эльтон,



*Указ императрицы
Елизаветы Петровны. 1747 г.*

³⁵ЦГАДА, ф. 248, кн. 1615, л. 556.

обывателей «охочих людей никого не явилось». Ведали, наверное, работные люди на Камышинке почем фунт лиха в «пустой и порожней степи», в дороге на Эльтон и обратно, испытав на себе, как тяжел и солон путь этот.

Правда, и Сенат считал, что «в Царицыне и в Дмитриевске весьма мало» таких «охочих людей». Зато вот купцы Дмитриевские Василий Терентьев сын Калашников, Василий Яковлев сын Костарев, Андрей Сидоров сын Подпасков пообещали уже в 1746 и 1747 года поставить с Эльтонского озера до Дмитриевска по 50 тысяч пудов соли «сухим путем и своим коштом». Им было на кого надеяться: после публикации указа Елизаветы в одиночку и целыми деревнями бежали на ломку и возку соли помещичьи крестьяне, надеясь с помощью «государевой работы» вырваться из крепостной неволи.

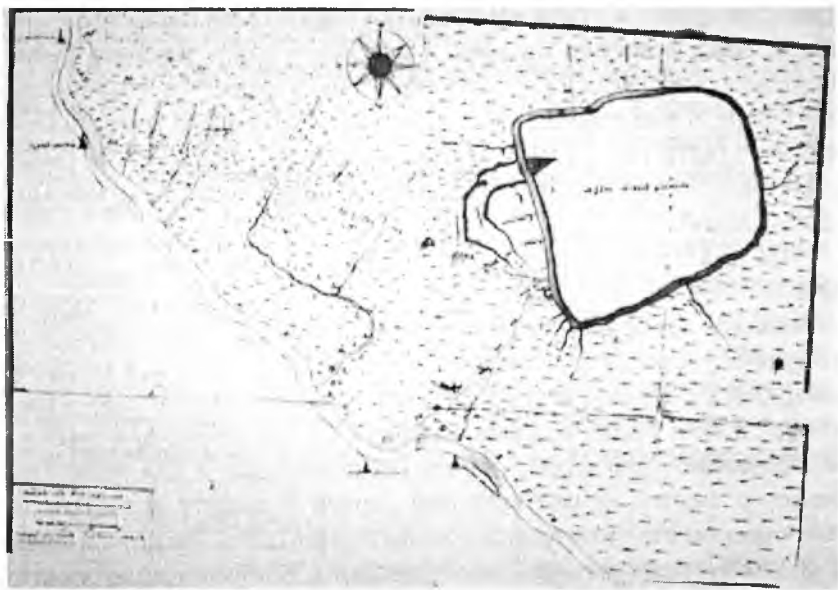
От великой кабалы, от польских панов, от изнурительных войн бежали украинские крестьяне. Бежали из-под самого Киева сначала в ближние воронежские края, а затем на Хопер и в низовое Поволжье. Целыми семьями потянулись они из слободской Украины в 1747 году, особенно из-под Харькова, из-под Полтавы, на разработку соляного озера Эльтон.

И вот он в руках у меня важнейший документ – прошение общества бывших соляных возчиков слободы Николаевской от 5 марта 1828 года, где вспоминается, что было «назад тому более осьмидесяти лет», когда императрица Елизавета «дабы положить прочное основание Элтонскому соляному промыслу» звала желающих поселиться в Саратовской губернии: «Предки наши, имея первым предметом в хозяйстве разведение в изобильном количестве скотоводства, быв поощрены таким обнадежением, пренебрегши свободу свою, и права званию малороссиян принадлежащие и самих родственников, вышед из Малороссии и с 1747 года поселились на диких, порожних и никем не обитаемых казенных степях с большою трудностью в устройстве домов и прочих домашних заведений, ибо не имели ни с которой стороны к тому пособия; и по сему случаю, некоторые из них в то же время возвращались обратно в Малороссию, не имея возможности к оседлости, а другие опять приходили и селились»³⁶.

Запомним эти так важные для нас и весьма знаменательные признания – предки наши пришли из Малороссии «и с 1747 года

поселились на диких, порожних и никем не обитаемых степях». Где именно поселились, кто поселился, откуда именно вышли эти первые поселенцы? На все эти и на многие другие вопросы еще надо отвечать обстоятельно. А пока читатель пусть поверит на слово – пришли сотни, тысячи людей, молодых, крепких, выносливых, некоторые пришли с женами и детьми, оставив на родине только стариков. Тащились на волах издалека со своими самыми нужными на первое обзаведение пожитками, а главное – со снаряжением, необходимым для ломки и возки соли. Среди них были не только люди, занимавшиеся на родине скотоводством, но и чумаки, привычные ходить за солью.

При впадении Резницкой Воложки в Волгу строились соляные магазейны и обносились земляным валом, на берегу Соляного затона – так теперь называлось это место – ставили соляные пристани. Всего в двух верстах отсюда, на месте хутора Дмитриевского, и обосновались первые переселенцы и назвали свое поселение... Впрочем, мы еще не знаем, как они его назвали. Может быть,



*Карта Заволжья середины XVIII века из Саратовского архива.
Составлена Николаем Чемодуровым*

³⁶ ГАРСО, ф. 208, оп. I, ед. хр. 401, л. 37.

Зауморская? Во всяком случае, ранней весной 1747 года появились здесь первые жители, но «некоторые из них» поздней осенью ушли домой, на Украину. Через пару десятков лет – это мы уже знаем доподлинно – путешественник Иван Лепехин нашел на луговой стороне Волги «против самого Дмитриевска» хорошо обстроенную слободу Никольскую. Заглянем в его дневные записи, сделанные в конце июня 1769 года: «Слобода сия нарочито пространна, и поселены в ней малороссияне, приписанные к Эльтонскому озеру, которые наиболее участие имеют к поставке соли. С них никаких оброчных денег нет; но единственно они обязаны сделать до несколько поездок на Эльтонское озеро за солью и поставить оную до волжского берегу»³⁷.

Когда наш любознательный путешественник устремился к Эльтону, преодолел окружающие Никольскую слободу глубокие сыпучие пески и «поднялся на степь», ему открылось такое зрелище, которое я своими словами передать не решаюсь и вновь даю слово Ивану Лепехину: «...По всем сторонам видны были непрерывные обозы, взад и вперед идущие, и вся почти степь покрыта была пасущимися волами. Дорог к Эльтону столько много, что и перечесть их трудно; и сие единственно сделано для лучшего содержания рабочего скота; но со всем тем степь от чрезмерной засухи так была бестравна, что волы более насыщались соленую землю, нежели растениями»³⁸.

Продвигаясь к цели, молодой, не знающий устали путешественник «наехал» вначале на Пресное озеро, где чумаки запасались водой для дальнего степного похода, затем привернул к копаням у заросшего осокою и камышом озера Могута, в котором гнездилась «великое множество различных водяных птиц» – уток, чапур, диких гусей и даже лебедей. У могутинского умета, построенного «для отдохновения проезжающим и для прохлады усталого скота», нашел казацкий караул – защиту возчиков от кочующих по степи калмыков – и заночевал здесь. На другой день к обеду путешественник наш подошел к балухтинскому умету,

³⁷ Дневные записи путешествия доктора и Академии Наук адъютанта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства, 1768 и 1769 году. СПб, 1771, с. 401.

³⁸ Иван Лепехин. Указ. соч., с. 402.

построенному у небольших озер Балухта, затем вышел к Круглому озеру, у самой развилки дорог с Эльтона – на Саратов и на Дмитриевск. Отсюда через пять верст открылось «наидостопамятнейшее» озеро Эльтон. Тут опять дадим слово Ивану Лепехину: «Подъезжая к Эльтону, представлялося глазам нашим на небе великое зарево, подобное тому, какое в темные ночи бывает при несчастных пожарных случаях. Зарево сие происходило от озера, в котором тузлук или рапа такой же имела цвет»³⁹.

Это было первое и самое сильное впечатление. На берегах знаменитого озера путешественник не нашел ничего примечательного, кроме бедных шалашей и землянок, построенных для ломщиков соли. Тут же находилась довольно большая команда казаков и других военных людей для охраны промысла. На самом озере, в глубине его, верст за шесть от берега, по грудь в соленой рапе работали целыми артелями ломщики и вывозили добытую соль к берегу на лодках. На покатых токах по всему берегу – груды соли, приготовленной для отправки к волжским пристаням...

В тот год, одна тысяча семьсот шестьдесят девятый, стояла в заволжской степи засуха, все травы выгорели, и только сизые полынные метелки качались на ветру. Саранча довершала дело, догрызала последние остатки растительности в степи. Всю обратную дорогу сухо стрекотали кузнечики, на пологих холмах у своих нор посвистывали суслики, сопровождали путешественников длиннохвостые «земляные зайчики». А по множеству проложенных с Эльтона дорог тянулись к Волге тяжело груженные солью фуры, понуро плелись волы, лениво помахивая хвостами, отбиваясь от приставучих мух и оводов. Перед глазами чумаков маячили все те же изогнутые ухватами воловьи рога, и утомленные путники уже не в силах были покрикивать на животных, а лишь шептали пересохшими губами:

- Цоб-цобе, цоб-цобе, цоб-цобе...

³⁹ Иван Лепехин. Указ. соч., с. 404.

Над ревизскими сказками

– Не могли бы вы, лейтенант, объяснить происхождение своей фамилии? Может быть, вам известно что-нибудь об этом? – вежливо спрашивал меня сидящий майор-кадровик.

Стоя перед ним, я недоуменно пожимал плечами и выглядел, наверное, совсем не по-военному. С такими странными вопросами ко мне обращались впервые. Самому же до этого и в голову не приходило – вот еще задумываться над такой блажью! С отцом, правда, не раз вели речь о редкостной нашей фамилии, но он и сам толком ничего не знал. Говорил только, что фамилия наша не склоняется. И тут же шутил, а с шуткой, может быть, передавал то, что шло от поколения к поколению:

– И предки наши ни перед кем не склонялись!

А вот теперь, в начале лета 1944 года, в замоскворецких штабных коридорах ломали голову, тревожили памятью дальних предков. И даже о будущем задумывались куда более серьезные люди, не чета мне – мальчишке, хотя и хлебнувшему фронтового лиха.

В Сумах формировалась Вторая Польская армия, и в те дни в кабинетах кадровиков было беспокойно. В закоулках у приемных толпились в застиранных гимнастерках молодые офицеры из дальних госпиталей и пересылок. Появились откуда-то мне до этого неизвестные пухлые, лохматые толковые словари. Их судорожно листали какие-нибудь Васильковские, Храбровицкие, Яхновские, Разумовские и другие русские офицеры, носившие фамилии с откровенной польской окраской. Тут же по ходу дела и меня просвещали с помощью этих словарей. Я тогда ни при какой погоде не слыхивал про тихие, затерявшиеся в горах польские городишки Зелена Гура, Елена Гура и еще про какие-то там местечки в этом же духе. Просто не знал об их существовании на белом свете – и все тут. И, уж конечно, не мог догадываться о какой-либо связи своей фамилии с этими городками.

А вот куда гнули в те дни кадровики, я сообразил довольно быстро. И теперь считаю, что от службы заместителем командира батареи во Второй Польской армии меня оберегла совсем глупая мальчишеская находчивость или изворотливая дальнобойная солдатская смекалка. Что-то в этом духе...

Попалась мне редкая в то время, занимательная книжка – увлекательный роман Генриха Сенкевича «Огнем и мечом». И я подумал: «Может быть, у польского писателя найду оправдание тому, почему мне надо служить в польской армии?». В центра романа оказалась целая плеяда героев-шляхтичей, от «худородных» до знатных магнатов. Есть тут и пришлый богатый литвин Подпитятка, и целые хоругви всяких наемников, но даже самые отдаленные ассоциации с моими предками никак не могли возникнуть. Гуры, видать, были не того поля ягода.

Зато подвиги польских рыцарей выписывались тщательно, баталистически сочно и представляли прямо-таки в сказочных, чуть ли не фантастических ситуациях, обретая невероятные, можно сказать, былинно-богатырские размеры. Подлинную правду о русинах, чего уж тут греха таить, искать у Генриха Сенкевича не приходится. В прежние времена говаривали в таких случаях, не про нашу честь писано...

Одним словом, Армия Польска формировалась в Сумах без меня, но мною овладела с тех пор истинная страсть – докопаться до подлинных корней своего фамильного дерева. Обретенное по кровному родству это, пожалуй, единственное наследство – фамилия! – несло в себе утешение об уходящем в прошлое нравственном богатстве да еще горделивое сознание, что родословные корни уходят в глубины истории Отечества, в толщи народной жизни...

Пока же фамилия наша, – тут уж никуда не деться, – доставляла больше неприятностей, чем радостей: то исказят ее нарочито обидно и так исковеркают, что сам себя не узнаешь, то доведут, украинизируя, до смысла «малой кучки», то полонизируют опять же по смыслу чуть ли не до высот Эвереста – «дуй до гуры», то русифицируют до «гурьевской каши», то вставят в нее такой звук, что фамилия моя боевито и раскатисто «гуркотит» уже как фамилия прославленного русского генерала, то выбросят из нее тяжкое «р», и тут же нищаешь в своих же глазах, превращенный то ли в китайца, то ли во француза...

Если хорошо напрячь память, прежде всего вспоминается доброе семейное предание о деде моем Гавриле, изрядно послужившем своему русскому Отечеству в царском флоте. Доводилось ему не однажды ходить и в дальние плавания. А был он мужик дюжий,

рослый, выделялся крепким сложением – чуть ли не сажень в плечах – и обладал при этом своим характере, можно сказать, силой былинного богатыря. Кулаки у него были просто страшные, – едва ли не по полпуда весом.

Однажды дед Гаврила «не сошелся характером» с прочно стоявшим на ногах коренастым английским матросом. Случилось это в каком-то приморском кабачке, и дед так врезал этому матросику в левое ухо, что из правого кровь брызнула... Много ли в этом рассказе правды, – не знаю, но отец мой неоднократно, с большой охотой и гордостью рассказывал об этом, может быть, потому, что сам уже такой силы не имел. Мне же до сих пор кажется, что деды моего деда были совсем богатырского склада и обладали силой, куда большей, чем была у русского матроса Гаврилы Гура. Не потому ли и получили некогда прозвище такое, с великой мощью природы связанное, и многие века оставались верными самой сути своей фамилии.

За Волгой, на родине моей, эта фамилия – не диво, более двух столетий пашут землю и выращивают хлеб Гуры. Не один десяток трактористов и комбайнеров с этой фамилией трудятся там и теперь. Откуда пришли их предки в эти иссушенные, тогда почти безжизненные заволжские степи? Кто эти люди, наши предки?

Вот какие вопросы встают передо мной почти четыре десятилетия. Так и слышу все эти годы: «Не могли бы вы объяснить происхождение своей фамилии? Может быть, вам известно что-нибудь об этом?». И каждый раз вслушиваюсь во вкрадчиво-вежливый голос, и каждый раз вижу задающего эти вопросы майора-артиллериста с первой паутиной седины на висках.

Уже чуть ли не сразу после войны, кажется, даже вздрогнул еще от одного напоминания о том же. На каком-то московском вокзале, когда послевоенное «передвижение народов» было в самом разгаре, стоял в длиннющей очереди в камеру хранения и близок уже был к заветной цели, держал паспорт наготове. В столпотворении душного подвала не сразу заметил, как через плечо мое украдкой бросали взгляд, вытянувшись на цыпочках, две простенько одетые девицы, – то на меня, то в раскрытый паспорт глянут. Пошептавшись в стороне, они все-таки решились спросить, не из Чернигова ли я.

Изумлению моему не было предела, когда узнал, что в Чернигове

проживает мой однофамилец и тезка. И отцы наши, как вскоре выяснилось, оказались Василями. А когда разговорились, то девицы нашли даже некоторое сходство между мною и черниговским однофамильцем. Конечно же, мы были молоды, очень молоды, но милые эти, непосредственные девчушки – я в этом уверен! – не искали скорых дорожных знакомств, а однофамильцев, в конце концов, я встретил потом даже в Вологде...

Все эти годы, в какой бы город судьба меня ни забрасывала, я не прекращал поисков дальних своих предков. Вчитывался в страницы местных городских и районных газет, заглядывал в телефонные справочники, в библиотечные краеведческие каталоги, даже в указатели имен какой-нибудь очень уж научной книги... Моя любознательность переходила всякие границы. Но скажу честно: однофамильцы попадались редко, а если и попадались такие, то происхождением своим были связаны с Заднепровьем, чаще всего оказывались родом из-под Харькова и реже – из-под Полтавы.

Но больше всего разыскивал я старые ревизские сказки, редкие теперь, но много говорящие о наших предках документы – подлинные списки всеобщей переписи российского населения. С особой увлеченностью, с неугасающим во времени азартом искал я ревизские сказки середины «осьмнадцатого века». Интересовали меня не только такие сказки по родной слободе, но и всякие другие, хотя бы остатки листов всеобщей переписи этого времени, особенно украинских слобод по Медведице, ревизские сказки по Дмитриевску и по другим, территориально близким к моей родине населенным пунктам.

Мне почему-то казалось, что по этим ревизским сказкам я смогу узнать даже о том, откуда пришли за Волгу так тщательно, один за другим вписанные в переписные листы люди. Довелось-таки подержать в руках старинные ревизские сказки подмосковного города Дмитровска, писанные мудреной старославянской вязью. Не без труда доводилось проникать в сложные, нередко трагические человеческие судьбы того времени. Потому, может быть, и казалось: найди я такой документ по неизвестной, еще только зачинавшейся заволжской слободе Никольской, и за скупыми записями официальной людской ревизии проступят долгожданные следы божественной сказки больших человеческих судеб. И начнут вставать в живом обличье и

говорить своим голосом мои дальние, далекие и самые близкие и родные предки.

Чуда и на этот раз не случилось, но радость моя была велика, когда однажды, после долгих и совсем пустых поисков, в уголок ветхого пропыленного флигелька Саратовского областного архива принесли мне громадный фолиант в толстом кожаном переплете. Откинув тяжкую доску, я увидел перед собой сказки четвертой ревизии 1782 года по Камышинскому уезду Саратовского наместничества. Тут же с волнением начал читать: «...малоросской слободы Никольской по сравнению с ревизией 1775 года». Сравнение с третьей ревизией, когда мои предки только что, всего три десятка лет как пришли на Волгу, делало раскрытый мной документ совсем уникальным, и сердце мое билось, наверное, более радостно, чем у искателя, раскопавшего древний клад с золотыми монетами.

Находка моя не имела цены, и я не знал поначалу, как подступиться к ней, как пользоваться бесценным для меня документом. Обрадованный такой находкой, заглянул почему-то в самый конец рукописи. Вижу, на 881 оборотном листе подбиваются итоги переписи населения моей слободы – 3.133 душ мужеска пола, 2.266 душ женска пола. Это же надо! Более пяти тысяч человек проживало в восьмидесятых годах XVIII века на совсем еще недавно пустых и порожних местах! За какие-то три с половиной десятилетия произошло такое, можно сказать, великое переселение за Волгу! Да было ли в самом Саратове столько жителей в это время!

Кто же эти первые, во всяком случае, для нас теперь почти самые первые жители слободы Никольской? Кто же прочертил, может быть, пропахал борозду для первой, самой широкой улицы и начал ставить по ней свои жилища? Кто же строил соляную пристань и сооружал целые улицы громадных амбаров на берегу затона, образованного впадением Воложки в Волгу, кто рубил первую церковь Преображения на Широкой улице у самых истоков слободы? Ведь кто-то же из этих первопроходцев и на Эльтоне добыл, и к Волге доставил первые возы чистойшей поваренной соли?

Теперь вот листаю я запятнанные сыростью времени ревизские сказки, вчитываюсь в чистойшее многоголосие моих предков, и кажется, что не только руки писаря, их тяжелые рабочие руки

касались этих листов, а сердца бились где-то тут рядом... Заметно, сразу же бросается в глаза существенная особенность этой переписи: перечисляются на первых же листах люди семейные, но семьи еще малые – молодая жинка, малолетний сын или дочь; и совсем редко в какой семье – третий ребенок. Да и сам голова семьи еще не вошел в лета. Ему чаще и сорока нет, а если и перевалил за срок этот, то не больше години или пары годин. Редко, но все-таки проживают при таких молодых семьях и старики. Значит, семьи эти осели прочно, оторвались от ранее насиженных мест и начинают пускать корни в землю заволжскую. Правда, живут еще трудно, с оглядкой, посматривают, как приживаются за плетнем соседи. Но босоногие, прокаленные дочерна дети из этих семей уже бегают по пыльной улице своей родины.

Может быть, и для кого-то из сорокалетних эта беспокойная еще заволжская сторона уже стала родиной, может быть, тут создавали они свои семьи? И совсем очевидно, что уже в это время где-то за слободой, за песчаными бурунами ерика, клали одного за другим самых первых из тех, кто пришел за Волгу и родился, быть может, где-то на Днепре, в столь же безвестных тогда Сорочинцах, в Миргороде или Чугуеве, или под Полтавой... Во всяком случае, в ревизских сказках уже против многих фамилий людей старшего поколения делается пометка «помре» и обозначается год смерти.

С низким сыновним поклоном выписываю имена и прозвища старожилов моей родины: Афанасий Куцемако, Данило Капля, Павел Тягнибеда, Степан Рева, Прокоп Свернигора, Иван Коцарь, Аким Рябокось, Сидор Заец, Козьма Собгайда, Тарас Кошевой, Осип Вовкодав, Петр Белов, Прокофий Погорелой...

Не правда ли, как гордо и многозначительно звучат имена наших предков! Тут же готов вписать сотни других фамилий старожилов, и в каждой из них можно прочесть что-то новое, в каждой есть какая-то своя мета судьбы или того места, где родился, времени или профессии, своего дела или дела, перешедшего от отца, от предков.

Вот они эти имена и фамилии, вернее сотая их доля – Иван Федоров сын Гончар, Иван Трентев сын Погожой, Максим Павлов сын Шаповал, Иван Леонтьев сын Пустовой, Федор Демьянов сын Чеботарь...

Еще и еще, фамилии и фамилии, целые гнезда фамилий людей того времени: Колесниченко, Козаченко, Москаленко, Литвиненко, Каплуненко, Гуренко, Бондаренко, Колотенко, Гугуренко, Левченко, Харченко, Зайченко, Бовченко, Диденко, Семиротенко, Тригубенко, Плаксенко, Панченко, Резниченко, Еременко, Мельченко, Кожушко, Черевичко, Гречко, Загоруйко, Нежуйко, Величко, Рыбалченко, Чуприненко, Панасенко, Горбатенко, Степаненко, Довгаль, Торенник, Гусак, Осьмак, Полицеймак, Шуга, Золотарь, Гетманец, Толочек, Кровец, Коломиец, Шульга, Дубина, Печеничной, Солодухин, Половинкин, Моженец, Цханной, Острожной, Нарезной, Забурунный, Заярный, Колюжный, Божкова, Гребенникова, Зеленская...

Среди первых жителей Николаевской слободы встречается немало фамильных гнезд, связанных с запорожскими казачьими традициями их предков. Некоторые из этих фамилий я выписал и теперь называю – Гетман, Воевода, Кошевой, Булавной, Шалашной, Хорунжий, Скарбничей, Дыкан, Шагайдачный...

Больше всего, пожалуй, распространены фамилии, указывающие на основное дело их носителя, на особенности его труда, переходившего из поколения в поколение, от дедов и отцов, к сыновьям и внукам. Это самые большие гнезда тружеников, прежде всего растивших хлеб и добывавших соль, а также мастеровых людей, без которых невозможны были эти большие дела – Чумак, Коваль, Бондарь, Чабан, Гончар, Колесник, Чеботарь, Ткач, Швец, Дегтяр, Слесарь, Шаповал, Крохмаль, Красюк...

С особой тщательностью выбирались, наконец, совсем редкие в ревизских сказках фамилии. Скрыт был в них намек на то, откуда пришли все эти люди, наши предки, это географически определенные фамилии – Игнат Заднепрнянский, Иван Запорожченко, Прокопий Гайворонский, Лукьян Харьковский, Никифор Полтавский, Георгий Киевский...

Дорогие наши предки, разрешите через века, прозрев времена, низко кланяться вам, широко дяковать, щедро благодарить за то, что фамилиями своими, большими трудными делами указали те пути-дороги, которые прокладывали и которыми шли за Волгу!

Многое можно выведать из ревизских сказок сурового осьмнадцатого века: и про должников в подушном окладе, и про людей

непомнящих родства, без всякого роду и племени, неизвестно как появившихся за Волгой в слободе Николаевской. Но уже никогда, думаю, не узнаем мы пути-дороги Шандора Пивара, женившегося на Авдотье Пантелеймоненко и осевшего в наших краях. Не выведать у прошлого и о загадочном появлении в слободе новокрещеного перса Пьеда сына Граханова и почему так трагически сложилась его жизнь уже в 1749 году. За что, за какие грехи наказали его? А может быть, он повесился сам, не выдержав испытаний жизни?

На отдельных листах самым тщательным образом записаны в ревизских сказках надзиратели и приставы луговых соляных магазейнов с их женами и детьми, а также состоящими у них на службе малороссиянами мужеска и женска пола. Но никак не попадалось то, что искал с особым старанием и надеждой – какие-либо сведения о лицах духовного звания и о службе их в Николаевской слободе. Через них можно было узнать и время постройки здесь первых церквей.

Первой рубили мужики, только что поселившиеся за Волгой, Преображенскую церковь, рубили основательно, ставили широко, украшали богато, не жалея средств, и стало Преображение едва ли не первой русской церковью в этих степных краях за Волгой. Знал я об этом из подлинных источников, а еще в детстве от уже дряхлых стариков слышал передаваемую из поколения в поколение легенду о том, как нашли мужики-переселенцы в камышах одного из озер чудодейственную икону Николы-угодника. Может быть, ее и поместили в Преображенскую церковь и почитали особо, украсив дорогим окладом, а по иконе этой и название слободе дали, потом построили новую церковь Никольскую. По тем временам все это весьма и весьма правдоподобно.

И вот передо мной переписные листы шестой ревизии всех двадцати девяти церквей Камышинского уезда, Саратовской губернии, Пензенской епархии. Правда, ревизские сказки эти поздние, начало XIX века (август 1811 года), но некоторые сведения в них даны в сравнении с пятой ревизией конца XVIII века (октябрь 1795 года). На четвертом месте после трех камышинских церквей стоит в ревизских списках первая николаевская церковь, и называется она уже Главно-Преображенской, и уже не деревянная, а каменная постройка

восемнадцатого века. И не одинокая. В конце этого века сооружается самая обширная, самая богатая двухштатная Никольская церковь с высокой изгородью и многочисленными пристройками. Она и оказалась в самом центре быстро разраставшейся слободы.

Судя по всему, слобода какое-то время вытягивалась вдоль Воложки, а потом перешагнула за ерики и устремилась в степь. Тут же, в трехстах метрах за ериком, в конце новой мощенной булыжником улицы, появилась третья каменная церковь Успенская, а за ней вверх сквозь песчаные буруны ушла в степи Ковалевская дорога. И шла она теперь не на юг за солью, а на восток за хлебом, осваивать новые степные богатства.

Многое могли бы рассказать священники Главно-Преображенской церкви Федор Петров и Петр Иванов. Кто знает, может быть, они еще монахами- послушниками пришли сюда вместе с первыми переселенцами, а теперь, уволенные от должности за старость, доживали свои дни с попадьями, вошедшими в лета поповичами и всякими другими родичами, а также прижившимися у главной церкви престарелыми протопоповыми вдовами, дьяконами, дьячками пономарями, увечными людьми...

Если еще и еще раз перелистать страницы ревизских сказок, взглядываясь в строки, мимо которых прошел раньше, сопоставляя факты и размышляя над ними широко, с историческим размахом, можно сделать, может быть, и другие извлечения. В переписных листах часто встречаются много говорящие о себе прозвища. И входили они в ревизские сказки как фамилии целого семейного гнезда – Бублик, Толстогуз, Чуприна, Чичибаба, Ломинога, Легеня, Кобушка, Кривошей, Недогрей, Краснощек, Вернигора, Черепок, Подколода, Колпак, Пискун, Квелый, Рябой, Швидкой, Моргун, Рогоза, Дремлюга, Лапоть, Очкур, Кочерга, Зубан, Щетина, Щербина, Белоус, Беспалой, Картавый, Непокрытый, Задера, Шейка, Баланда, Шпак, Жук, Галушка, Червяк, Турка, Квитка, Стеблина...

Охотнее всего такие прозвища давались под Полтавой, а во времена моего детства эти прозвища назывались «уличными». Ими довольно метко определяли сущность того человека, которому приклеивали такой «ярлык», выражая отношение к нему соседей и совсем близких людей. В этих прозвищах сказывалась и

наблюдательность тех, кто хорошо знал человека, которому давалось прозвище, но его детям не очень приятно было получать в наследство такое «клеймо», и несли его через всю жизнь даже тогда, когда к тебе это уже не имело никакого отношения. Бывало так, с помощью определенных «уличных кличек» жители легче отличали однофамильцев друг от друга:

- Цэ який Сизоненко, Лютый?
- Мабудь то Литвинов Кривошей!
- Та знаешь его, це Гура Ойра...

Во многие ревизские сказки родной слободы довелось мне вчитываться. Смотрел и четвертую ревизию в сравнении с третьей 1775 года, и ревизию пятую 1795 года, и шестую, проходившую в августе-сентябре 1811 года... Конечно, и свою фамилию искал во всех списках. В ревизии 1762 года нашел на 769 оборотном листе одну – единственную семью. Выписываю все, что с нею связано:

«Самойла Максимов сын Гура – 55 лет, у него жена Софья Игнатьева дочь – 40 лет, сын Федор – 16 лет, дочери Матрена – 10 лет, Варвара – 4 года» (ГАСО, ф. 28, оп. I, ед. хр. 22).

Нельзя не сказать и о существенной особенности в написании фамилии этой. Писарь старательно, с нажимами и тонкими линиями вывел заглавную букву фамилии – Хура, но, видно, тут же поразмыслил и оставил еще едва заметный штрих, провел через заглавную букву еще одну неуверенную и совсем тонкую линию. Неискушенный в тогдашних писаниях человек уже, может, прочитал – Жура... Вот и получается, что хотел, как говорится, заглянуть во имя истины в святцы. А заглянул – и навел тень на плетень...

И все-таки, что это за семья? По тем временам, кажется, весьма типичная, даже благополучная, а в сравнении с другими почти во всем средняя. Но вот заглянул я в ревизские сказки конца осьмнадцатого века и диву дался. Оказывается, Самойла Максимов сын в 1789 году бежал, и осталась Софья Игнатьевна со своими чадами одна-одинешенька. Правда, сыну ее Федору Гура вот-вот стукнет тридцать годков. Когда вошел в лета, стал во главе уже своей семьи. Потом вышли замуж самойловы дочери Матрена и Варвара, а о главе династии ревизия 1811 года умалчивает. О нем уже ничего неизвестно, но среди беглых он оказался не одинок. В тот же год, может быть, с

Самойлой вместе бежали Матвей Шевченко, Федор Кровец, четырьмя годами позже – Влас Баглут, Дорофей Бугаенко, Карт Овчаренко, Григорий Дубина, Кондрат Степной, Гаврила Хурч, Афанасий Ключка, Иван Чумак и многие-многие другие. Когда бежали со всем потомством, то называлось это по тем временам – «перенес жительство»...

Не сладкая, знать, жизнь заставляла наших предков пускаться в бега. Некоторые из них, бывало, скрывались поблизости и навещали свои семьи, но тех, кто не приживался, сердце влекло из земли отчей...

В начале девятнадцатого века из слободы Покровской перевели почему-то часть возчиков соли в Николаевскую слободу, хотя здесь в это время своих возчиков, как уверял слободской голова Андрей Зеленский, было предостаточно – более пяти тысяч человек. В это время и был причислен к слободе некто Иван Гура. Откуда он появился, мне осталось пока неизвестно, но и задержаться здесь не пожелал. Вновь пришлось пускаться в поиски беглеца, но протянуть его родословную к нашим временам так и не удалось.

Тут и ревизские сказки уже не могли помочь, нужны были метрики николаевских церквей, но и их не оказалось под руками. Правда и без метрик было известно, что прадед мой Петр Данилович Гура родился в этих краях где-то в самом начале тридцатых годов девятнадцатого века. Отец его – Данила – оставался загадкой, только через него можно было узнать, откуда пришли мои предки за Волгу.

Прадеда Петра я еще застал в живых, видел его уже столетнего, истощенного от голода, но в узлах костей еще крепкого. Он одиноко доживал свои дни в крохотной мазанке где-то у самого кладбища, а по воскресеньям приходил к нам поддержать свою затухающую жизнь, крестился на несуществующие образа, молча садился за стол, не торопясь, с достоинством ел и, низко



*Сторож на бахче.
Рисунок А. Токарева.*

поклонившись, уходил. Дом свой, что стоял в переулке за церковью Александра Невского, у самого обрывистого берега Воложки, он давно уже поделил между сыновьями, покидавшими этот мир один за другим.

А земли моим прадедам достались совсем бросовые, солончаковые и дальние – где-то в Суслычем, чуть ли не у самой Кайсацкой. Как-то попалась мне обстоятельнейшая карта этих мест. За Кумыской на много верст – ни одного населенного пункта, и на карточном пустыре этом четко, черным по выгоревшей желтизне обозначено: хутор Гуры. Чей это был хутор, прадедов или их однофамильцев – до сих пор не ведаю. Но баба Шура рассказывала, что ко времени гибели избитого бандой деда Гаврилы там, кроме саманки, колодца с солоноватой водой да овечьего загона, обнесенного дряхлыми плетнями, уже ничего не было...

Теперь я уже мог что-то рассказать о своих предках любознательному майору-артиллеристу, мог и сущность своей фамилии объяснять, но откуда повелись Гуры за Волгой – этого я еще не знал... Правда, мне уже стало известно, что и на Полтавщине, и на Харьковщине мои предки не были коренными жителями. Так случилось, что осели они там ненадолго. Гонимые ветром истории они приходили сюда со всех концов света, из далеких краев за Днпром, из-за Тыкочек, что за Вильной, а отсюда уже бежали и на Дон, и на Волгу.

Львовские лингвисты убедили меня, что фамилия Гура не такая уж редкость и на Волыни. По их картотекам встречается она и во многих районах Львовской области. Вскоре узнал я, что фамилия моя известна и в Белоруссии. А теперь, – можно с уверенностью сказать об этом, – фамилия моя встречается по всей России.

Много можно узнать из ревизских сказок, и многое все-таки удалось узнать. Вчитываясь в их страницы, не только о себе думаешь. Хотелось прочертить дороги наших предков за Волгу как-то точнее, знать о самих предках больше, чтобы понять их, откуда и почему ушли, как приживались на новом месте, откликнувшись на призыв царицы Елизаветы. Почему же тысячи людей, наскоро собравшись, покинули летом 1747 года насиженные места и ринулись в неизвестность, что называется – из огня да в полымя...

Вопросов становилось все больше и больше, и задавал их теперь не какой-нибудь любознательный кадровик, а сам я. Поиски продолжались...

Профессорские диалоги

В увлекательном романе Генриха Сенкевича «Огнем и мечом», со ссылками на хронистов времен Богдана Хмельницкого, содержится тревожное описание юго-восточных земель Украины, знаменитого Дикого Поля тех времен, когда саранча, выплотившись там весною в невиданном множестве, поела все, что могла съесть – посевы и травы. Это великое бедствие вместе со страшным предзнаменованием – затмением солнца, предвещало новые несчастья – набеги крымских татар: «Последние признаки оседлой жизни к югу по Днепру оборвались вскоре за Чигирином, а по Днестру – сразу за Уманью; далее же – до самых до лиманов и до моря – только степь, как бы двумя реками окаймленная... Сколько в тех краях битв отгремело, сколько народу полегло – не счастье, не упомнить. Орлы, ястребы и вороны – одни про то знали, а кто в отдалении слышал плескание крыл и карканье, кто замечал птичьи водовороты, над одним кружащиеся местом, тот знал, что либо трупы, либо кости непогребенные тут лежат... На людей в травах охотились, словно на волков или сайгаков. Охотился, кто хотел. Преступник в дикой степи спасался от закона, вооруженный пастырь стерег стада, рыцарь искал приключений, лихой человек – добычи. Казак – татарина, татарин – казака. Бывало, что и целые дружины стерегли скот от бесчисленных охотников до чужого. Степь, хотя и пустовавшая, вместе с тем была не пустая; тихая, но зловещая; безмятежная, но полная опасностей; дикая Диким Полем, но еще и дикостью душ».

Вроде бы все верно, ладно и складно про степи эти дикие писано, да и про нелегкую жизнь человека в этой украинной степи не забыто, но про дикость души человека верить почему-то не хочется, да и не верится в однозначность этой параллели со зловещей, полной опасностей дикой степью. Что-то тут не совсем так...

Выручил меня на этот раз, широко открыл глаза на прошлое, на

эти дикие степи и на обживавшего их человека большой энтузиаст своего дела, один из тех, кто стоял у истоков русской историографии, профессор Харьковского университета Дмитрий Иванович Багaley. Пришел он на бывшее Дикое Поле, на Харьковщину из-за Днепра, раскопал в местных архивах уникальные документы, смело и обильно ввел их в научный оборот. Сначала издал «Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства» (1886). А на следующий год – монографию «Очерки по истории колонизации и быта степной окраины Московского государства». Несколько позже вышла в свет и вторая часть «Материалов» (1890), а потом еще «Заметки и материалы по истории Слободской Украины» (1893).

Все это довелось мне изучать основательно, досконально, и я словно бы лично знал Дмитрия Ивановича, не только его манеры исследования, но и просто человеческие страсти и особенности.

Слышал я, что почтенный профессор Багaley, уже известный к тому времени историк и источниковед, прочитал 17 января 1889 года блестящую лекцию в актовом зале Харьковского университета на его юбилейных торжествах. Речь эта «Заселение Харьковского края и общий ход его культурного развития до открытия университета» была издана, и поскольку мне довелось читать ее несколько раз и даже переписывать, знал я ее чуть ли не наизусть, а порой даже слышал интонацию профессора, видел его на кафедре, пощипывающим редкую седеющую бородку.

И подумалось, а почему бы мне, презрев разделяющие нас времена, не побывать на этой лекции и не передать все, что услышу, непосредственно как очевидец и слушатель. Ведь время не только разделяет людей, но и сближает их, перекликаясь, люди охотно передают свои знания из поколения в поколение и чаще всего понимают друг друга, находят общий язык.

В тот торжественный январский день, когда в первой оттепели талые запахи будущей весны брали верх, пришел я в университет задолго до объявленного времени, но уже застал перед актовым залом гурты радостно беседующих харьковчан. В толпе заметил я и Дмитрия Ивановича в новом сюртуке, нарядного и торжественного. Он принимал поздравления, кланялся и шутил, скрывая за этим волнение. Из-под очков в простой металлической оправе хитро поблескивали

острые молодые глаза. Мне показалось, что он заметил меня, остановил на мне взгляд с удивлением, и его глаза как бы говорили: «А вы, молодой человек, как попали сюда? Нас ведь почти целый век разделяет, не правда ли?»

Кивнул ему вежливо, молчаливо согласился, но не стал вступать в объяснения. Как-никак, гость я необычный, совсем из другого времени, но про себя подумал, что и я на университетском акте не такой уж случайный человек. Предки мои осваивали эти края, а земляки защищали их. Где-то тут, совсем недалеко, и отец мой воевал и голову сложил. Да и молодой человек, как вы, господин профессор, считаете, не лыком шит. Мы ведь тоже защищали Украину от Днепра и далее. Правда, вы об этом не знаете. А еще – коллеги, в одном профессорском звании ходим. Правда, кто ходит, а кто... Ну, да что об этом говорить...

Этот внутренний монолог выразился на лице моем, видимо, столь явно и откровенно, что взгляд профессора, вновь брошенный на меня, стал приветливей. Профессор, как мне показалось, участливо подмигнул мне: держись, мол, коллега, – и стал подниматься на кафедру. Ректор объявил тему его выступления, и Дмитрий Иванович начал свою речь:

– Наш край заселился недавно, на глазах истории, южнорусскими выходцами из-за Днепра и великорусскими переселенцами с севера. Явившись в Дикое Поле, вдоль и поперек изрезанное татарскими сакмами, слобожане должны были принять на себя нелегкую задачу – защищать свои границы и вместе с тем всю Русь от крымских татар, отвоевать у них степи, служившие им и торною дорогою, и местом кочевьев, и превращать их в тучные и богатые нивы. В течение целого века население должно было затрачивать свои силы не на создание культуры, а на защиту ее от кочевников...

Мысль эту профессор выделил голосом и словно бы указал, как тяжело было народу и куда уходили его усилия, и продолжал свою речь:

– В первой половине семнадцатого века постоянного населения в нашем крае, кроме города Чугуева, не было. По татарским шляхам и русским дорогам разъезжали только сторожа и станицы. Главная их обязанность состояла в наблюдении за татарскими ордами

Направление пути определялось у них реками, речками, колодезьями, перевозами, городищами, курганами и другими урочищами...

Переселение черкас, то есть малороссиян, из-за Днепра в южную степную Украину Московского государства началось очень рано. При Михаиле Федоровиче в степи за южной оборонительной линией, так называемой Белгородской чертой, ими был основан город Чугуев. Самый южный город степной окраины Московского государства. В царствование Алексея Михайловича южнорусское переселенческое движение еще более усилилось. Малороссияне переселялись сюда – то массами, то отдельными семьями... Особенно сильное движение было в тяжелую для южнорусского народа эпоху «Руины», когда правобережная Украина сделалась ареною политической борьбы и ее опустошали и свои, и чужие. Она обратилась тогда в настоящую пустыню. Такой пустыней и изображает ее известный летописец Величко. Население было частью перебито, частью захвачено в плен, многие переселились в пределы России: «В городах правобережных счетом люди остались, толпами бегут пешие на левую сторону в наши города», – читаем в одном донесении. Из больших и малых городков, сел и деревень шли обозы с возами, груженными семьями и пожитками. Навеки оставляя родину своих предков, малороссияне нередко сжигали свои жилища.

– Центральное правительство организовало черкас-переселенцев для борьбы с татарами, а на помощь им присылало отряды русских служилых людей – однодворцев. Так образовались нынешние великорусские селения в Харьковской губернии. Характеристические особенности черкас, составивших основное ядро населения, определяются в актах термином «старочеркасская обыкность». По «черкасской обыкности» они занимают себе участки пахотной и сенокосной земли и леса, устраивают хутора, заводят пасеки, строят мельницы и занимаются безоборочно и беспошлинно всякими промыслами. На родине у себя они были



Эскиз к картине "Чумацкий тракт". А. Токарев

земледельцами, и неудивительно поэтому, что и на новых местах они немедленно стали распаивать пожалованные им земли. Многие приводили с собою значительное количество скота, и скотоводство стало самым важным после земледелия их занятием. Одноворцы, как и черкасы, занимались тем же: земледелием, скотоводством, промыслами, ремеслами и торговлей.

Далее профессор, хорошо знающий историю этого края, очень заинтересованно и увлеченно рассказывал о разных этапах его колонизации, как появился здесь беглый люд со всех концов света, как бежали сюда от трудностей службы, от суда, как укрывались от жестоких владельцев. Бегство было в те времена обыкновенным будничным явлением. Но паническое бегство из Польши от унии, в связи с гонением на православие, оказалось самым распространенным, самым массовым.

Шло в то же время и планомерное переселение в московские уезды русских людей. То же чугуевское городище строили они в содружестве с черкасами, пришлыми из-под Полтавы и Киева. Профессор рассказывал, что с правого берега Днепра во времена царствования Алексея Михайловича потянулись уже целые толпы черкас и заселили своими слободами большую территорию, ставшую известной вскоре под именем Слободской Украины.

Образовались здесь и свои украинские казачьи Слободские полки с выборными начальниками во главе. Харьковский полк имел сотни Харьковскую, Дергачевскую, Люботинскую, Солтовскую, Злочевскую, Марешинскую и другие. Ахтырский полк – Богодуховскую, Краснокутскую, Боровенскую, Коломацкую сотни. А еще были Острогожский и Сумарской полк и полк Изюмский с местечком Балаклея, селом Пришиб, хуторами сотников и подпрапоров, слободами и слободками...

Еще до этой горячей, произнесенной с праздничным пафосом речи профессора Багалея знал я из книг и материалов, а теперь еще и еще раз убеждался, как много и тщательно изучал ученый источники. И теперь обстоятельно, со ссылками на документы, последовательно и логично рассказывает о том, как белгородская линия – сплошной вал, сменяющийся засеками, – долгое время служила границей русского государства. Какая за этой линией тяжкая доля выпадала

Слободским полкам и как начали в 1731 году строить так называемую Украинскую линию, чтобы оградить Слободскую Украину от непрекращавшихся жестоких татарских набегов. Как вели эту линию до Бахмута, а потом до Лугани, как заселяли ее однодворцами, «ландмилицкими полками». И как уже с этой линии бежали насильно записанные в солдаты люди. И как их «велено было ловить, и затем бить нещадно кнутом и батожем», и возвращать на линию.

В это же время добровольно переселяется сюда большое количество русских и украинских крестьян, которых привлекают неосвоенные земли, особенно обильные в здешних местах степные и луговые пастбища. Появляется со временем возможность заниматься не только скотоводством, но и выращивать хлеб, кукурузу, подсолнечник, заводить сады, пасеки, виноградники. Особенно знатные арбузные огороды и виноградники разводят под Чугуевым, под Харьковом. Появляются знаменитые пасеки на хуторах, в Новой Водолаге – тутовые сады. Правда, бахчи и виноградники под Чугуевым были «отписаны на государя», на Алексея Михайловича...

На Торских и Маяцких озерах издавна добывали соль, но теперь и здесь появляется «государев соляной завод». По всей округе –



Эскиз к картине «Добыча соли на озере Эльтон». А. Токарев

кузницы, гончарни, мельницы, винокурни... Особенно славились своими мастерами-ремесленниками харьковчане. Кузнечное, гончарное, кожевенное, ткаческое и чеботарное дело развивалось щедро и широко, и по всей Слободской Украине были знамениты харьковские ковали, гончары, кушнари, гонтари, рымари, бондари, колесники, шаповалы, кравцы, шерстобиты, каретники, шорники, свитники, коцарки...

Речь профессора звучала как все нараставший апофеоз родному краю и завершилась горячими аплодисментами его давних и верных почитателей. Смущённый Багалея, кланяясь, сошел с кафедры, снял очки и ещё долго устало щурился, нервно мигал глазами и пощипывал редкую бородку. В конце торжественного акта его окружили друзья и ученики, жали руку, поздравляли с успехом. Тесное живое кольцо двигалось вместе с ним к выходу, и я, если бы очень захотел, всё равно не смог бы пробиться к почтенному профессору. А потом – мистификация! Я ведь из другого века, совсем юный, а скорее, и не родился ещё... Кто же меня за коллегу примет? Засмеют, зашикают. Решил опять выждать. Может быть, останется профессор в одиночестве, тогда и поговорим. Вопросы кое-какие у меня имелись. Да и не во всём, честно говоря, был я с профессором в согласии – что-то сгладил он, кое-что притушил, а какие-то мысли оказались в слишком ярком пламени. И всё правильно, всё как на празднике. Тут уж помалкивать надо пришельцу из другого века, не соваться со своим уставом...

Невесёлое, несладкое житьё было у наших предков на Слободской Украине. Природа здесь благодатная, края эти степной полевой Украины, что и говорить, благословенные, земля сочная, травы тучные, солнце щедрое, ласковое, дожди почти всегда вовремя. Все вырастить можно, только руки приложи. А работать наши предки умели, воистину не покладая рук. Слободские казаки, пашенные мужики и землю свою защищали, и трудились на ней усердно.

Эти «свободные люди» и границы российские охраняли от разных неприятелей, и сами себя содержали полностью. Сеяли рожь, пшеницу, ячмень, просо, гречиху, кукурузу, подсолнечник, коноплю, даже лён... Процветания не было, благополучие оказывалось часто призрачным. Кто только ни зарился на плоды их труда – от самого царя до воровского черкашенина. Нападали и донские, и запорожские



Солёный затон. Рисунок А. Токарева

казаки, и ногайцы, и особенно жестоко – крымские татары.

Все это некогда Дикое Поле стрелою пропарывал беспокойный Муравский шлях, много раз торенный и почти не зараставший травой-муравой, испытанный крымчаками, кровью русичей пропитанный путь в Московию. Как на таком бойком месте жилось спокойно тому, кто весь день ходил за сохой, а спать ложился с пицалью? Вот и хотелось спросить об этом почтенного профессора, хотя бы мысленно встретиться с ним и поговорить как коллега с коллегой. Не знаю, за кого принимает меня Дмитрий Иванович, скорее, за возможного своего студента. Может быть, поэтому сам спрашивает как студента ласково, с многозначительной такой улыбкой:

– А читали ли вы, молодой человек, «Описание Украины» Боплана?

Разумеется, я слышал об этом жившем на Украине французе, но читать его описание не доводилось. Профессор заметил, что я без особого смущения, но всё-таки пожимаю плечами и словно бы издалека, из незабвенных и благодатных студенческих лет, оправдывая себя, глухо шепчу спасительные слова:

– Нельзя же объять необъятное...

– Ай-ай-ай, молодой человек, – покачал Дмитрий Иванович

седеющей головой, но тут же как бы спохватился – как-никак студент – и участливо добавил:

– Дело, впрочем, поправимое. Карта нашего края, вышедшая из-под пера Боплана и переведённая Бантыш-Каменским, широко известна в научных кругах... Послушайте, очень уж складно и образно писал сей учёный муж, как бы отвечая на ваш вопрос: «Не столь часты деревья в лесу, как татарские полки в поле. Их можно уподобить туче, которая появляется на горизонте и, приближаясь, более и более увеличивается. Вид сих легионов наведёт ужас на воина самого храброго». А от себя добавлю: ничего живого на своём пути татарские полки не оставляли, выжигали городки на линии, слободы и слободки, поджигали траву в степи, уводили в полон людей, забирали скот, последними пожитками не брезговали.

– Может быть, вы, Дмитрий Иванович, подробнее расскажете об этом. Я ведь своими предками интересуюсь. Откуда пришли они сюда, на Дикое Поле, и почему многие покинули эти благословенные места, не прижились, решили перебраться за Волгу на тяжкие соляные промыслы?

– Могу и подробнее, – согласился Багaley. – Слободские полки в течение второй половины семнадцатого века и первой восемнадцатого терпели от татар едва ли не больше, чем Белгородская и Воронежская Украина. Чаще страдал Изюмский полк, расположенный к крымчакам ближе других. В 1693 году Нураддин Султан с войском в тысячу пятнадцать и отрядами янычар внёс опустошение в Харьковский полк. В 1710 году крымский хан с пятидесятитысячной ордой опять опустошил поселения этого полка. На следующий год татары разорили Марофу и увели в плен почти всех жителей, напали на Ахтырский полк, разорили Коломак, захватили немало людей. Ночью, когда татары разбили становище на реке Карачарке, девице Ульяне Свыковой, дочери крестьянина из Новой Водолажки, удалось бежать. Она и рассказала об ужасах татарского набега и плена. Вот и покидали благодатные эти места слобожане, целыми толпами уходили на Дон, шли далее на Царицынскую линию, селились и от Царицына вверх по Волге, Иловле, Медведице и Хопру...

Дмитрий Иванович приостановился здесь, взял в руки свои «Материалы», полистал их и безо всяких объяснений стал читать

самые выразительные, на его взгляд, целые куски текста из ведомостей о татарском погроме 1680 года:

– По сказке харьковского воеводы Ивана Микифорова сына Маслова, в нынешнем году генваря в девятнадцатый день в приход воинских людей крымский хан с ордами в Харьковском уезде в селе Деркачах и в селе Лововом и в селе Алипицах и в селе Борщавом русских людей нашенных черкас и жен их и детей и свойственников, что в полон взяли, и лошадей и всякого скоту и платья и всякой рухляди взяли и то писано ниже сего... У Данилы Токоря сын Ивашка восьми лет да дочь девка Анютка девяти лет... У Клеща Евтишенка дочь девка Авдотха одиннадцати лет... Василий Сердюков тесть срублен. Иван Чвырь срублен. Ефим Бондарь срублен. У черкаски Огафьицы мужа Ивана да лошадь, шубу, зипун сермяжный... У Павла Седого два сына Понаска, девет лет, Еремка, пяти лет, два вола, корову, двор сосжен и хлеба двадцать осмачек... У Лекса Шевца четыре вола, дватцать овец, шесть осмачек хлеба... У Сидора Зеленского челядника Андрюшку Шухика, два вола, триста овец, на речки Удах в хуторе хлеба сосжено сто копен... У Степана Мельника мерочника Ивана срубили до смерти да взято в полон зятя ево Федора Рудя. У Василя Донца в пасеки пасечника Харька. Давыда Ляха взяли в полон. Харьковского полковника Григорья Донца в деревне его на реке Удах семьдесят четыре лошади, сто тритцать рогатой скотины, девятьсот овец да хлеба сожгли сто чети да пчел тритцать ульев да взято три челядника. Всего у казаков взято всякой скотины восемь тысяч восьмьсот тринадцать скотин. Да у них же восемь хуторей со всяким строением сожгли да хлеба стоячего четыресто копен. Да у них же взято пять котлов винных. И всего в Харьковском уезде побито и в полон поимано русских людей и черкас, служилых казаков и мещан и жен их и детей двести пятнадцать человек...

Дмитрий Иванович отложил в сторону свои «Материалы», и я не успел заметить, как в его руках оказался солидный том его «Очерков». Поглаживая кожаный корешок книги, профессор скупно подводил итог тому, что было только что прочитано:

– Никакие это не жалобные ведомости, даже не сказки, а стоны наших предков. Послушайте, какие документы пришлось мне держать в руках. Может быть, о ваших предках. Вот что доносил чугуевский

вестовщик в конце семнадцатого века: «В Балаклее жители ожидают прихода неприятельских людей и на поля с посада не ходят, хлеба не жали. Говорят, что за вестями хлеба не жали, и от разоренья неприятельских людей стало худое житье в Балаклеи, и они пойдут в разные города, покидая свои дворы». А через год балаклейский протоиерей писал: «На той Украине жить нельзя, прокормиться нечем, ради приходу татар пахать нельзя».

Сего правдивее не скажешь, но страдал народ не только от набегов татаровья. Малороссияне, как пишет Самоил Величко, на обеих сторонах реки Днепра жительствующие, имели от польских панов и их дозорцев «утеснение, озлобление, всеконечное знищение и разорение». Став «тогда зараз завистнике добру и вольности людской», ляжа «начаша творити обиды и утеснения».

Почтенный профессор, надо прямо сказать, уже чуть ли не на равных беседовал со мной, готовый принять собеседника как коллегу. Но что-то мешало ему сделать это. В рассеянности он что-то терял в беседе, что-то трудно вспоминал и спрашивал, забывая, что перед ним не студент:

– Приходилось ли вам читать «Летопись» Самоила Величка, «Записки о слободских полках» Григория Квитка, «Краткое описание Малороссии» Григория Грабянки?

Признаюсь, после этих вопросов хотелось мне по-студенчески созорничать. Целая фраза уже шлифовалась в голове и выбегала на острый краешек языка: «Знал по слободе родной не одного Величка, были среди них и писаришки, да все ростом малые, а Гришка Квитка даже в родичах значился, по бабке Бережной». Но смолчал я, не ёрничая, а с почтением к ученому-историку и на уровне ученого разговора обстоятельно отвечал:

– Летопись событий в юго-западной России в семнадцатом веке, писанная Самоилом Васильевичем Величко, бывшем канцеляристом Войска Запорожского в селе Жуках, уезду Полтавского, року 1720, и вышедшая в середине прошлого века в Киеве в четырех томах...

И после паузы продолжал:

– Не только читана сия летопись – тцательно изучена. Выразительно пишет летописец о несчастьях, непристанных огнях, междуусобных невзгодах, бранях, кровопролитиях «тогобочных» и

«сегобочных» сторон Украины... «Читательник ты мой ласкавый, а знаешь ли ты, как наступывало в оной Украине остатное и всеконечное разорение и запустение от турчина?»

Рассчитанно так закончил я свой ответ чуть ли не буквальным цитированием летописи Величка. Любимое его обращение к «читательнику ласкавому» произвело на профессора впечатление – даже эту особенность письма летописца знает гость из другого времени. Какие были матрикулы во времена Багалея, не ведаю, но профессор готов был своему собеседнику выставить, судя по благостной улыбке, явно завышенную оценку.

Озорная студенческая кровь взыграла во мне. И пошел я напропалую, добывая млеющего на глазах профессора анализом записей о слободских полках с начала их поселения, переписи майора Хрущева 1732 года этих полков, исторических обзоров И.И. Срезневского...

– Мне кажется, профессор, что предки мои, безусловно, связаны с сотнями Харьковского полка. Может быть, с Дергачевской или Люботинской, а может быть, с Злочевской или Марефянской? С какой больше – вот что неведомо мне. Чем-то привлекают в Ахтырском полку Колóматская и Краснокутская сотни, а в Изюмском – посадское городище Балаклея, сельца, слободы и слободки, а среди них и Николаевка... Таких одноименных поселений уже тогда было сотни – и все-таки...

Кто знает, может быть, с этого, стоявшего ближе всего к жестокому неприятелю полка охотнее всего уходили за Волгу? Может быть, им казалось, что лучше уж соль добывать, чем каждый день глядеть смерти в глаза и оплакивать гибель или позорный полон близких?

– А еще встретил я, Дмитрий Иванович, в ваших «Материалах» записку торским жителям 1685 года, из коей видно, что через эти края шли на Харьков и Сумы с Торских озер многие возы с продажной солью. Путь такой прокладывали Мартин Комар, Грицко Клименко, Андрей да Марко Бражники, Василь Шулга, Кирило Киянец, Андрей Долгой и многие-многие другие. А может быть, кто-то из них возил соль и за Волгой с Эльтона?

С недоумением повел плечами Дмитрий Иванович и выразил тем свое состояние, тут же что-то вспомнил и, ссылаясь на «Краткое

описание Малороссии» Григория Грабянки, стал рассказывать, как шло переселение с «тогобочины» еще в середине XVII века:

– Сам Богдан Хмельницкий, величавший себя гетманом всего войска Запорожского и народу украино-малороссийского, позволял утесненну от ляхов народу вольно сходить из городов к Полтавщине и за границу в Великую Россию на житье... Из того времени и начали оседать Сумы, Лебедин, Харьков, Ахтырка и иные слободские места аж до Дону козацким народом. И становилось совершенно ясно, что Украина безмерно страдала не только от набегов со всех сторон, от не знавшей предела шляхетской жестокости, но и от междуусобий и раздоров «внутренней смуты». Сотни семей просили новоселья в Слободских полках и селились по ту сторону Орели, по Северскому Донцу, даже в самых неугожих местах, чуть ли не в степях крымского пограничья.

В «Материалах» Д.И. Багалея приводится ведомость о землях мартовецкой сотни Харьковского полка, составленная в 1749 году, когда осевшие здесь люди и жившие больше тридцати лет вновь покинули эти земли и ушли теперь уже за Волгу возить соль с Эльтона. Оказывается, по этой ведомости, на речке Гнилушке обывателей слободки Гнилища грабят и бьют, и все эти раздоры происходят из-за лугов сенокосных, а сумские поселенцы слободки Пердуновки, подобно жителям слободки Троицкой в устье речки Хотомли, пахотными и непахотными полями и санными померками, как выясняется, владеют напрасно.

Земли, судя по всему, уже и здесь явно не хватает... А из-за Днепра на «той бок» бегут жители Черкасс, Белой Церкви, Корсуня, бегут даже казаки некоторых заднепровских полков. Семьями идут крестьяне из-под Киева и из Побужья с намерением привиться «на новом корню», рассчитывая не столько на щедрость природы здешней, сколько на руки свои. С самых ближних мест идут – из Нежина, Глухова, Конотопа, Чернигова, Умани, Фастова. Были и дальние пришельцы – из-под Львова, из-за Вильны, с далекой литовской стороны. Даже молдаване и совсем уже редкие сербы добирались до этих мест.

– Заметьте, дорогой коллега, – заканчивая свой рассказ, Дмитрий Иванович обращался к собеседнику уже совсем доверительно, с сознанием возможности разговаривать на равных. – С 1711 по 1715

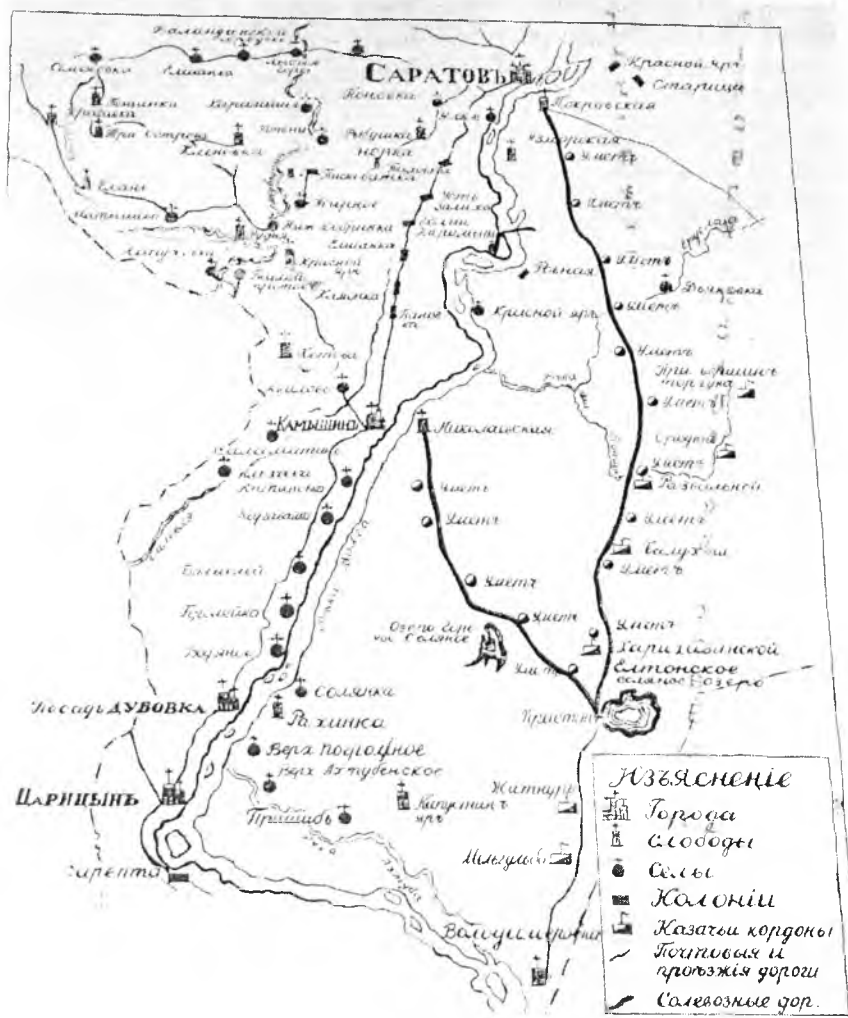
год состоялось массовое переселение народа из Правобережной Украины в Левобережную, в том числе – в Слободскую... Гуртом селились, как и прежде, городищами, слободами, чтобы защищаться от кочевников большой силой. Возникали и новые городишки, похожие скорее на большие села. Притом в быту жителей городища земледелие и скотоводство оставались основными занятиями, как и в быту крестьян, бояр и казаков, а земледельческий быт переплетался с бытом военным.

Жадно слушал я своего многознающего о прошлом здешних слободских мест собеседника. Чем чаще кивал головой с мирным плавным течением его рассказа, чем торопливей записывал его мысли, по ходу рассказа возникавшие, тем с большим жаром Дмитрий Иванович повествовал далее, развивая свои, быть может, в книгах его только еще намеченные суждения.

– А знаете ли вы, мой молодой коллега, какой смысл вкладывается в название здешних поселений – слободы? Тут, молодой человек, есть свои исторические особенности, они и проясняют этот смысл. А отсюда – и смысл других названий – Слободские полки, Слободская Украина... Строительством городов ведали люди, зовомые осадчие, а слободы обыкновенно устраивались одними черкасами, то были поселения пришлых людей, где им давались льготы и привилегии в силу трудностей жизни в этих местах. Самый термин «слобода», следовательно, не от «слободы» в смысле географическом, «слобод» в значении льгот, облегчений от разных повинностей. Льготы эти, правда, представлялись только малорусским переселенцам.

Какие бы льготы ни давались, как бы ни гордились новопоселенцы званием «свободных людей», слободы, в сущности, никакой не было. И гнет был тяжкий, двойной да тройной, и смуты частые, и набегі разорительные – совсем не сладкая, тревожная жизнь.

Вот откуда происходили наши предки, вот откуда призыв императрицы Елизаветы идти на Эльтон, вот почему потянулись они за Волгу. Охотно оставив здесь «свободность свою и права званию малороссиян принадлежащие и самих родственников», шли они, палимые солнцем, дальними степными переходами, не ведая, что ждет их в новых местах, и надеясь на новые «слободы».



Деталь карты Саратовской губернии, составленной в 30-е годы XIX века. Указанные на карте "слободы" - поселения украинцев. Саратовский архив.

ОРЛЫ И КОРШУНЫ

1.

Заблудился я как-то в степи. Случилось это в далеком детстве, так давно, что память о том заросла травой-муравой, седой стала. Ушел средь бела дня за околицу малец-несмышлениш и потерялся. Один остался, хоть кричи. Один-одинешенек на всем белом свете. Надо мною распаханное в бесконечность, в дальней глубине едва подсиненное небо, белизна палящего солнца, ослепительная, до черноты, а вокруг степь да степь. И нет ей конца и краю.

Поначалу хоть какая-то тропинка была. Она робко петляла среди застаревших будыльев от нашего летнего степного жилья-амбара, от едва приметных, поросших полынью землянок казахов-пастухов, гонявших отары овец чуть ли не на край света, за Торгун. Но и тропинка эта совсем некстати потерялась. Начинались зреющие хлеба, местами уже полегшие, со спутанными тяжелыми колосьями. Малыша в них просто не видать. Продираешься, как сквозь заросли, со слезами. Кричи не кричи, никто не услышит, тут и утонет твой плачущий в горьком раскаянии, сдавленный испугом голос.

Долго я тогда, выбиваясь из сил, продирался к жилью, хотя был от него совсем рядом. В такое время, быть может, и приходит к нам еще размытое, но уже полное горечи чувство людской несправедливости, даже жестокости. Вот, мол, оставили меня в тяжкий час наедине с самим собой и забыли... А если люди – подумать только! – теперь и не вспомнят тебя никогда, совсем забыли, к ним уже не выбраться, не дойти, не пробиться? Становится невыносимо обидно,

детское сердце чувствует несправедливость остро и бьется в поисках выхода к людям так громко, что его, кажется, должен слышать весь мир. Может быть, и сам этот мир постигается в мгновения этих, во многом еще не осознанных открытий. Грустные и радостные детские постижения мудро и вечно сплетены, как и все в этом мире, но каждому из нас являются порознь, и они всегда неожиданны, пронзительны...

Не выбраться малышу к людям, если бы не природа-матушка с ее вечными чудесами и не совсем разгаданными бесхитростными прихотями. Заплаканные глаза разлипались с трудом, и я едва разглядел впереди слабую тень: промелькнула надо мною, скользнула по спутанным хлебам, и оттуда, куда исчезла, послышались глухие, тревожные крики:

- Кш-у-у! Кш-у-у!

И еще какие-то звуки с интонациями страха, испуга, даже взвизгивания доносились ко мне. Знать, не так еще далеко отошел от жилья. Глянул на совсем безоблачное небо, и уже не отодрать от сполохов света замороженные глаза. Из-под самого солнечного диска падал на землю ястреб – небольшой коршунок, перечеркивая небо, как молния. Не раз уже видывал я такое у самого нашего степного жилья. Среди бела дня дерзкие степные хищники налетали на наших хохлаток и выросших за лето цыплят. Поначалу куры даже не квохтали, а визжали, казалось, как давно не кормленные поросята. После страха, дикого куриного переполоха все замирало, наступала тоскливая тишина, какая бывает перед грозой после шквального ветра...

А разве часто человеку, далекому от степной жизни, доводится видеть, как отрывается от земли ястреб с утихшей добычей в цепких когтях, и она даже не трепыхнется? Вспоминается потом не тихая жертва-хохлатка, отысканная в степи с прицельной точностью, а жуткая красота, природный драматизм ястребиной охоты. Сначала – головокружительное падение ястреба, смертельная его хватка и несколько отяжеленный взлет. Хищник, кажется, вытягивается струною, начатой слегка закрученным клювом, стремительной шеей. И весь он с земли – точно стрела, пущенная в небо с нанизанной на нее добычей, с изредка вспыхивающем в солнечном свете оперением...

На этот раз коршуночек чуть задержался на взлете и, неожиданно

отвернув в сторону, исчез на глазах, растворился в небе. Тут же медленно проплыла над степью тяжелая тень, и я увидел над собою мощно распластанные серебристые крылья большого степного орла. Стараясь подольше удержать, сохранить в себе волшебство заволаживающего парения, головенка моя закружилась, и я вновь потерял обретенную было дорогу к жилью. Отгонявшие ястреба крики стихли, а оттуда, где они только еще возникали, ничего уже не было слышно, а орел все кружил и кружил надо мною, словно продолжал заволаживать, опускался все ниже и ниже, словно указывал мне дорогу к людям. И снова услышал я крики, начал торопливо выбираться из плена, пробивать дорогу во ржи. И вскоре вышел на совсем выгоревшую, поросшую редкой кустистой полынью степь, на которой стояли наши амбары и едва приметные землянки.

Мне и теперь кажется, что вывел меня к людскому жилью отливавший на солнце серебром орел-красавец и исчез под солнцем, только крылья сверкнули.

Спустя много лет, когда осознал пережитое в степи, вновь, еще острее пронзили меня сплетенные вместе, испытанные уже тогда чувства – сосущая тоска одиночества и радость дороги к людям... Орел моего детства с тех пор не раз во всей красе являлся во сне, вытягивая клюв, распластывая крылья, призывая в дальний полет. Не раз потом глядел я на солнце и, ослепленный им, видел своего орла-спасителя и ту немислимую высь, на которую он поднимал меня и с которой указывал путь...

Теперь я уже не могу открыто, прямо смотреть на солнце. Но, зажмурив глаза до ослепления, как бывало и раньше, до кружения в голове, вижу в ночи не только яркие солнечные всполохи детства, но вижу, как мне кажется, прошлое своих родных заволжских степей, вижу осязаемо, словно живую, динамически подвижную картину. Вижу самого себя, заблудившегося в степях этих, идущего к людям с жадной неутоленного, все возрастающего познания.

Вот они, родные мои степи, передо мной... Тихие, жухлые, выжженные солнцем, безводные, безлюдные, почти мертвые... Еще пронзительнее вижу вас, степи мои родимые, в годину тревожную, лютую, лихую, когда и земля моя слышала топот изможденной толпы, гонимой по верной своей дороге, чутко отзывалась на него. Может



Рисунок А. Токарева

быть, впервые степь моя видела великое движение великого множества людей, шедших к своей цели, изнемогавших от жажды.

А такое было здесь во времена Пугачева, было... Сначала бежали к Пугачеву ломщики соли с Эльтона, шли, озираясь, пробирались голыми степями через Большие и Малые Узени, а то и напрямик, на самый Яик... Бежали калмыки со сторожевых линий, теснились к Уралу кибитки кочевников. Кто-то тайно, в одиночку перебирался через Волгу и скрывался в камышах до поры до времени. Сходились к Пугачу с Медведицы, с Хопра, с самого Дона, с Вешек, с Качалинской, из-под Царицына.

Прослышав про доброго царя, сулящего землю и волю, потянулись на Яик и хохлы-переселенцы со всей приволжской степной необозримости. До брошенных за Волгой в слободе Никольской семей солевозчиков не раз доходили вести, что сражаются они за волю крепко, с радостью великой. Слухами пользовались, что беглые слобожане дерутся где-то под Казанью, а потом иные вести ползли вниз по Волге вместе с движением большого войска. Тут уже целыми ватагами, бросая соляное свое дело, жёнок и детей малых, бежали к Пугачу смело, без утайки.

Докатывались до слободы и вести о трудных схватках повстанцев

под Саратовом, приносили их покровские солевозчики. Поговаривали и о творимых за Волгой жестокостях отряда у Гаврилы Державина. Совсем уже тревожные слухи ходили шепотком, будто бы сама царица Катерина шлет к Волге войско за войском, и солдат уж там видимо-невидимо, со всех сторон обложили повстанцев. Тогда и начали уходить из войска пугачевского слобожане-повстанцы. Бежали ночами, скрывались под самой Никольской слободой по ерикам, по заросшим орешником балкам, по оврагам, по большим и малым волжским островам.

Когда же Пугачев 14 августа 1774 года взял Камышинку, самые сырые из слобожан, разоренные вконец бедняки окраинных Гугунов оказались – из любопытства, что ли! – в этой ветхой крепостишке. Ведь царь-батюшка впервой в наших краях, не грех и взглянуть на царскую особу, такое раз в жизни случается...

Тут и удалось услышать недавний, только что в расчете на донских казаков писанный и объявленный во всенародное известие манифест:

«Божиею милостью мы, Петр Третий, Император и Самодержец Всероссийский и протчая и протчая и протчая...

Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков быть верноподанными рабами собственно нашей короне, и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностию и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями и солеными озерами без покупки и без оброку, и освобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян и градских мздоимцев судей крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощений и желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни, для которой мы вкусили и претерпели от прописанных злодеев дворян странствие и немалые бедства; а как ныне имя наше властью Всевышней десницы в России процветает, того ради повелеваем сим нашим именным указом: кои прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, оных противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать и поступать равным образом так, как они, не имея в себе

христианства, чинили с вами крестьянами...»

И радовало, и по сердцу негой растекалось обещание: «всякой может почувствовать тишину и покойную жизнь, коея до века придерживаться будем», сладостные блага, протянутые рукой доброго «мужичьего царя»... И все-таки пугала, холодила сердце неизвестность: можно ли такое обещать самому царю-батюшке?

А тут поползли из самого города Царицына совсем черные слухи, будто царь-батюшка вовсе и не царь, а злодей и бунтовщик Емелька Пугачев. Вскоре оказался он с атаманами своими, с изрядной толпой, остатками разбитого войска, за Волгой. Многие сотни, может быть, тысячи понурых, поверивших ему казаков и мужиков северных деревень прошли через слободу Никольскую на Саратов. Были среди них и свои, слободские, не пожелавшие остаться дома, а многие бобыли, молодые дерзкие люди разбрелись по степям до самого Еруслана, до Торгуна. Может быть, опять позовет: «Божиею милостью Петр Третий, Император и Самодержец Всероссийский...». Может, и свой смельчак отыщется?

2.

Жаркое засушливое лето сменилось в тот год несносной осенью. Перепадали короткие, но злые с порывистым ветром дожди. По утрам лужицы схватывало морозцем, и по хрупким стекленеющим окраинцам набегавший тугими порывами ветер волочил колкие катыши снега. К полудню сквозь рваные, кучно идущие с севера тучи проглядывало солнце и от земли поднималась испарина.

Вдоль Волги, уклоняясь в глухие, необжитые степи, тянулись в верховья остатки разбитого за Царицыном пугачевского войска. Шли кучно, толпами, гуртами и ватагами. Одиночки поспешали, тревожно оглядываясь, пугаясь неизвестности.

После поражения под Сальниковой Ватагой 24 августа «мужичий царь» в исподней рубахе, но при своих конях, цепко держась за гриву, с берега на остров, с острова на берег переправлялся за Волгу. Теперь в кафтане с чужого плеча ехал он в одиночестве на любимом своем коне. Смоляная борода серебрилась пуще прежнего, с лица осунулся, сникли плечи. Давил на них непомерный груз неслыханного разгрома,

выпавшего на его долю, великой тревоги за судьбу начатого и незавершенного дела.

Ничего, казалось бы, не предвещало такого исхода. Колокольным звоном, хлебом да солью встречали от самой Казани, триумф катился по всей Волге, грела и надежда на поддержку земляков-донцов. Огонь крестьянских мятежей и восстаний полыхал за Пугачевым и спереди него, к нему шли и шли, валом валили русские мужики, чуваша, мордва, татары, на его сторону переходили солдаты правительственных отрядов, волжские бурлаки, донские казаки, на Камышинке – украинские казаки большим числом, под Дубовкой – до трех тысяч калмыков...

И вот она – беда. Войско разбито, артиллерия брошена, соратники разбегаются. А те, кто остались, шепчутся тайком. Неужто не разглядел Емельян Иванович, как втягивался в устроенную правительственными войсками ловушку, как они преследовали его, теснили, не давая одуматься, принять зрелое решение? Тешил себя близкой встречей с донцами-земляками и проглядел трещины в ранее прочной опоре, среди яицких казаков, в отношениях со своими полковниками, старшинами-атаманами, особенно с потаенным в хитрости Иваном Твороговым...

Емелька не так уж и прост, не слепой. И нюхом, и слухом давно учуял – втайне от него сговариваются, черное дело задумали. А заглазный подстрекатель Иван, Александров сын, все так норовит поворотить, чтобы своя рубаха к брюху ластилась.

После Казани хитровато говаривал Творогов.

– Ваше величество! Помилуйте, долго ли нам странствовать, кровь проливать! Время вашему величеству на Москву иттить, престол принимать!

В июле после манифеста-обращения к донским казакам поняли, что царь и грамоты не знает. Тут и вовсе с Федором Чумаковым сговорились выдать самозванца. А пока – таить задуманное до удобного случая.

Утром двадцать первого августа пугачевские войска окружили Царицын. Сам Пугачев, обрядившись в платье одного из атаманов, вышел к городскому залу на «переговорку» с донскими казаками, защитниками крепости. Один из них оказался давним знакомцем

Пугачева Иваном Семибратовым. Он-то и узнал земляка и радостно приветствовал его:

– Омелян Иванович, здорово!

Пришлось не узнать Ваньку Семибратова, отвернуться, словно и не окликал его никто, не здоровался. Стоявший неподалеку Творогов так исхитрился, что потом объяснял: впал будто в «великое суждение», в «замешательство», а «руки у всех опустились и не знали, за што приняться». На первом же допросе Творогов утаил о своем участии в этих переговорах, а тогда с Чумаковым снова условились «не упускать злодея из глаз; чего ради с самого начала сражения и были при нем безотлучны, а потом и бежали с ним вместе».

Когда собрались двадцать восьмого августа в Заплавном городке на Ахтубе, никакого согласия с «царем-батюшкой» уже не было, все пошло наперекосяк, а потаенное еще пуще за пазуху забралось. Так, приглядывая друг за другом, и двинулись к Никольской слободе...

Шли понуро, но верно, за «царем мужицким» землепашцы со всех сторон, уральские работные люди да казаки яицкие. Были среди них и чумаки заволжские. Они и потянули на слободу, зная места здешние. На душе Емельяна Ивановича будто гиря лежала, бередила душу сосущая, застрявшая под сердцем тревога, являлись и тяжкие мысли, но думы о будущем начатого движения отгоняли их, мучительно искал спасения не для себя и в себе силы собирал для одной цели – для продолжения борьбы.

К вечеру, отойдя от Волги в глубь степи, у остро вспоровшего высокий бугор буерака, расположились на ночлег, таясь, разожгли костры, выставили заставы. Пугачев собрал всех оставшихся при нем яицких казаков, первым делом спросил:

– Как вы, детушки, думаете? Советуйте, куда нам теперь иттить?

Никто не решался сказать первым, но старшины и тут хитрили, стремясь узнать намерения Пугачева.

– Мы и сами не знаем, – сказал Творогов и развел руками. – А вы, ваше величество, куда изволите думать?

– Я думаю иттить вниз по Волге и, собрав на ватагах хлеба, пробраться морем к запорожским казакам... Там у меня князь знакомые есть с войском порядочным. Не оставят нас в обиде, верно вступятся.

Тут казаки зашумели, обрадовались, видя надежды на спасение. Старшины вновь брали верх, гнули на свою сторону:

– Нет, ваше величество! – начал с резкого возражения Тимофей Железнов, науськанный Твороговым, дергавшим его за рукав. – Воля ваша, хоть голову руби, не пойдем на чужую землю! Што нам там делать?

– Ну, дак куда же думаете иттить? – снова спросил Пугачев. – Ин пойдем в Сибирь?

– Нет, батюшка, мы и туда не ходоки с вами! – заговорил Иван Бурнов. – Куда нам в такую даль забиваться? У нас жёны и дети!

– А мы советуем, ваше величество, – выразил, наконец, Чумаков давно выношенное общее намерение, – иттить вверх по Волге, пробираться к Узеням... А там придумаем, што делать...

Пугачев долго не соглашался с таким решением, указывая на опасность снова оказаться во вражьей петле. Разошлись, не сговорившись.

Не спалось в эту ночь Пугачеву. Не смыкали глаз и старшины. Собрались с надежными хорунжими у распаленного на отшибе костра, когда уже отпыхало пламя и угли пригасли. Собрались скрытно, опасаясь чужого глаза и слуха. Сговаривались об одном, как и когда схватить и выдать властям самозванца, спасая головы свои от плахи. Поклялись до времени молчать, но дело свое сделать.

Всю ночь одолевала Емельяна Ивановича думушка великая. Давняя была дума, и возвращался к ней не единожды. Куда податься, как спасти людей, как отыскать верную дорогу в степи неоглядной, поднять упавшее знамя, собрать под него разбежавшихся людей?

Давно уже точило, как червь, самозванство, мучило открытую людям душу Емельяна Ивановича. Не мог больше притворяться, играть – против себя шел. Старшины из близкого окружения давно заприметили такие неловкости за ним, стали играть на слабостях человеческих... Да и объявился людям императором, самодержцем всероссийским потому, что не пошли бы за ним без того. Кто простому казаку поверит, кто отважится идти за ним на гибельное дело? Простым людям наедине не раз открывался, что, дескать, не царь, не Петр Третий, а простой донской казак... Но уже не верили ему. И опять тянул лямку, играл в царя праведного, ради веры народной играл...

А не объявиться ли народу сызнова и по правде Пугачевым? Может, теперь и поверят? А что, ежели отбегут, коли за обманщика примут? Отыскать бы верное слово... Звала к тому великая ответственность, она и плечи гнула, и душу крутила. Опять не о себе думал, о люде простом, истерзанном духом, как и сам он, нищий казак. Должна же быть на земле вольность и правда, не можно без них жить вечность!

Являлась не раз и крепла мысль уйти к Ирану через степи гурьевские, через Каспий. Но всегда что-то останавливало. Ловил себя на мысли: народ там не нашенский... Нет, не пойдут казаки яицкие за ним, истомились в походах, к домам родным тянут... Не попытаться ли поднять донских казаков, изнутри взять? Сколько писем, указов и манифестов засылал, не довелось поднять... Может, как казаку простому выйти теперь на Дон через Азов? Так и просидел у костра всю ночь в одиночестве. К утру и прикорнул самую малость. Сбросил полсть, накинутую добрым мальцом Харькой, расправил плечи, прилив свежих сил почувствовал и повеселел. Позвал чумаков заволжских, ходивших на Эльтон, приказал:

– Ведите на слободу Никольскую! Там хлеба возьмем и порешим, куда иттить дальше.

Вокруг уже собирались старшины, но Пугачев молчал, таил от них ночные свои задумки. Была среди них и самая важная: повернуть на Эльтон, уйти из мешка царских войск. Вдруг получится выпрыгнуть из петли, преодолеть астраханские нарын-пески, рвануться к Каспию. Пуще всего боялась императрица Екатерина такого решению «злодея» Пугачева... Он словно бы догадался о той тревоге царицыной, улыбнулся широко и открыто, дал ходу коню.

3.

И вправду, обложили Пугачева в степи, как медведя в лесу, со всех сторон света. Ни к Волге прижаться, ни в степи податься. Шли на север, а в самарских степях войск царицыных – тьма-тьмуцкая. На Иргизе, где начинал Пугачев, перерыто и перегорожено все, дорога на Эльтон с тех мест и та перекрыта, а с юга жмут, преследуют Михельсон, Муфель, Меллин, как коршуны нависли...

Всего пару недель назад крепость на Камышинке сдалась без

выстрела, пугачевцы казнили только коменданта. А теперь и из той крепости переправляют за Волгу правительственные войска. шлют из Царицына подкрепления. Во второй половине августа прибыла в развалившуюся крепостишку тайная комиссия с особо секретным поручением, во главе с капитаном лейб-гвардии Преображенского полка Галаховым, с гренадерами и солдатами. Создана была сия особая комиссия самой царицей Екатериной. Входил в нее обанкротившийся купчик-пройдоха из Ржева, некий Долгополов, ныне выдававший себя за Остафия Трифонова, посланца яицких казаков, готовых якобы выдать Пугачева. Вот и обещал царице такой прохиндей «опознать» казака, выдающего себя за Петра Федоровича. Комиссия эта с особыми полномочиями, с большими деньгами пробиралась по следам восставших чуть ли не от самой Казани, преследовала Пугачева.

На Камышинку комиссия пришла в то время, когда из Царицына катились радостные вести: Пугачев разгромлен! Явился начальник волжских казаков, доложил:

– Третий уж день пользуемся слухами из Царицына – разбит Пугачев. А посему собрал я сотни три надежных казаков и переправил сию партию за Волгу. Начальнику оной предписал, коли встретится на луговом берегу с бегунцами из армии пугачевской, ловить оных, а кои добровольцы не станут сдаваться, тех колоть. Такмо до самой межи вольгских казаков приказал я согнать с луговой стороны все рыбацьи лодки и людей...

Оставив на Камышинке команду с поручиком Дитрихом, комиссия направилась в Царицын. К полудню одолели три версты и в первой же станице волжского войска Каменке задержались для смены лошадей. И без того крохотная станичка оказалась почти пустой, многие казаки переметнулись к Пугачеву, ушли с ним. И лошадей собрать оказалось нелегко. Члены комиссии, коротая время, вышли на высокий берег Волги к хлебному амбару. И тут – безлюдье, ни лодок, ни рыбаков. Волга обмелела, появились песчаные залысины, а за займищем – степь да степь, бескрайние степи.

Капитану Галахову удалось через «перспективную трубку» разглядеть в десятке верст от Волги блеснувшую на солнце луковку с крестом какой-то церковки, скорее всего в Никольской слободе. Других церковей за Волгой тогда просто не было.

Ждать пришлось больше часа, и время тянулось долго. Целую вечность, казалось, не было ни лошадей из станичного табуна, ни арбузов, за которыми отправились гренадеры. Все это время Галахов устремлялся взглядом в заволжские дали, как бы приглядывал за ними, но не забывал и прислушиваться к рассказам Остафия Трифонова про Пугачева, в которых ржевский прохиндей выставлял себя в крайне выгодном свете. Майор Павел Рунич из свиты графа Панина, тот самый, который повезет пойманного Пугачева от Симбирска до Москвы и будет водить его на допросы, посмеивался и тут же записывал свои впечатления. Между прочим, прохиндей Остафий обмолвился и о путях отступления, и о злодейских замыслах Пугачева. Рунич тут же записал их как возможные предположения. Были в этих догадках и свои резоны. Долгополов считал, что Пугачев скорее всего спустится к Астрахани, либо будет пробиваться к раскольникам на Иргиз, к игумену Филарету...

Каждый в это время думал и о судьбе своей, у всех на душе было тревожно, а впереди все утопало в неизвестности, по-всякому еще могло обернуться. Остафий волновался больше других. Душевное смятение трусливого прохиндея, панически страшившегося встречи со старым знакомцем, когда-то приблизившим к себе, выплескивалось наружу. Глазки его непрестанно бегали, мелко суетились, скрывались за вздрагивавшими веками.

Грешил и каялся, каялся и вновь грешил ржевский купчик, обманывал на каждом шагу, изворачивался, словно оборотень, ловко, даже императрицу одурачил, обещая за большие деньги опознать и схватить самозванца. Не успел про себя с сожалением подумать о лживых деяниях своих, раскаяться и тут же в мыслях оправдать себя, согрешить заново, как услышал голос Галахова, стоявшего на высоком бугре и разглядывавшего заволжские дали:

– Глядите, вон-вон вправо... Верховые! Скачут прытко.

– Где? Где? – всполошились все, привстали и стали смотреть.

Вдали за шестью идущими рысью верховыми на хорошо видимой дороге появилась первая полусотня, за нею еще две дюжины конных, шедших стройными рядами в две шеренги.

– Глядите, глядите, вон еще войско! – сообщал следивший за луговой стороной Галахов. – А вон и еще всадник, а за ним, шагах в

тридцати, охрана о шести конниках!

– Мать честная! – удивился Остафий Трифонов и даже перекрестился. – Это ж Пугач! Ей богу, сам Пугачев на коне своем. Признаю его любимого солового коня. Он завсегда так марширует на походе... Эвон, гляньте, за ним еще казаки яицкие, две дюжины идут строем.

Тут уж Остафий засуетился безмерно, в глазах застыл испуг, побледнел в лице, как полотно, заговорил торопливо:

– Схоронитесь, вашескородие! Встаньте за анбар... Скроемся, чтоб не узрел нас злодей, когда поравняется. У него всегда имеется при себе зрительная трубка!

– Постой, постой, немного, – отвечали ему офицеры. – дай разглядеть!

Уже из-за угла амбара увидели новый отряд, шедший снизу, коляску, две кибитки, запряженные тройками, за ними – опять отряд человек в тридцать, в две шеренги... После всего этого шло основное войско до полутора тысяч человек, разбитых на пять квадратов, за ними – до семи десятков лошадей навьюченных, ведомых пешими людьми. В конце войска, в полуверсте за ними, замыкала движение последняя партия человек в четыреста.

– Силища у него еще немалая, – заметил Галахов.

Рунич тут же сделал запись в дневнике: «А как сия последняя партия прошла, то мы вышли из-за анбара и, став на прежнем месте, смотрели, как все сие воинское ополчение тянется в верховье Волги».

Все горячо стали уговаривать Трифонова, чтобы он, будучи ими отпущен, переправился к Пугачеву за Волгу. Остафий с ожесточением отказывался, резко, зло заявлял, что сам выберет время решительных действий.

Комиссия продолжала неторопливо продвигаться к Царицыну, а рать Пугачева организованно подтягивалась к настороженно затихшей Никольской слободе.

4.

Чумацкая слобода Никольская была уже «нарочито пространна», как уверяли путешественники, зачистившие в эти низовые, совсем недавно еще дикие и пустые степи «для испытания естественных



Слобода Николаевская. Рисунок А. Токарева

вещей в обширном нашем Отечестве». Молодой доктор-адъютант Иван Лепехин в самом конце шестидесятых годов искал отсюда через Эльтон дорогу на Яик, но, сколько ни пытал старожиллов, не можно было отыскать знающих эту дорогу, по их словам, дорога сия «давно запала». Зато слобода выиграла, как ерик в половодье, и за какую-то четверть века осьмнадцатого стала самым ладным, самым оживленным, самым богатым местом в этих краях за Волгой.

Знаменитый Петр Паллас, словно поэт, воспел «сие местечко», которое имело «более трехсот домов, одну деревянную хорошо построенную церковь и множество мелочных лавок», «соляную экспедицию» низовой Соляной конторы с писцами и командою, соляные магазейны и амбары и в слободе, и в обнесенном земляным валом городке на Воложке Солянке, «многие ветряные мельницы», строенные на песчаных буграх по малороссийскому образцу, а еще мельницы – на судах в рукаве Волги, скотные базары в степи, «винный торг с калмыками», арбузные бахчи по всей округе без всякого присмотра и без поливания...

Чем не город! И не чета Камышинке!.. Только что не обнесен земляным валом, как Камышинка, как Соляной городок всего в трех

верстах от слободы, за двумя островами. А попробуй взять слободу – со всех сторон окружена водой, волжскими рукавами и протоками, с перекинутыми через них мостами, а от степи отрезана глубоким ериком с крутыми, чуть ли не отвесными краями...

Прослышав о приближении разбитых «бунтовщиков», разбежались и казаки волжские, и соляная команда, покинули службу чиновники и писаря, владельцы закрывали лавки свои, богачи прятали хлеб от разбоя и таились, но покидать насиженные места не решались...

От Соляной пристани островами, песчаными заиленными отмелями прошел и вступил в слободу большой отряд Афанасия Перфильева. Прошел, не делая никакой наглости, по всей самой широкой Никольской улице, мимо Покровской церкви – в верховья Волги с тайным от Пугачева, отвлекавшим его марш заданием: пробиться к Яику. Вступили в слободу к вечеру, шли как через мертвую пустыню. Ставни высоких хат наглухо задраены железными болтами, амбары за стиснутыми воротами словно сгорбились, присели. Нигде ни огонька, ни мыку, ни крику, даже собаки гавкать перестали, затихли, словно страх хозяев и на них перешел.

Пугачевское воинство встречали иначе, чем отряд перфильевский. Шло оно вослед, через какое-то время и по другой верхней дороге. Раскинули становье на песчаных буграх, прикрывшись от конницы степных налетчиков киргиз-кайсаков так, как обычно еще от калмыков защищалась чумаки – телегами и фурами со вздыбленными в сторону степи дышлами. Давно уже было в степи беспокойно, и всякие предосторожности Пугачев поощрял. Соратные атаманы и сговоренные ими хорунжие, бывалые люди, жались к пугачевской кибитке, оставались вблизи и на ночь, чтобы тайно не покинул войска, как полагали, в гибельной кручине своей.

Прослышав, что во главе толпы движется сам царь-батюшка Петр Федорович, слобожане семьями, гуртом с головой слободским и попом преображенским вышли на песчаные бугры встречать своим хлебом-солью батюшку-царя, чтобы все было, как у людей, честь по чести.

Красногубый, весь обросший редким волосом, еще молодой, но уже раздавшийся вширь попик явно не ведал, как должно встречать облеченное высшей земной властью лицо, бубнил под нос невнятное «во здравие», а голос все-таки подрагивал. Слободской голова, сухой

в кости, косноязычный верзила, с распушенной, сплошь седой бородой, ломал в руках мерлушковую папаху и, припоминая слухи о злодее-самозванце, думал про себя об одном: не нагорело бы за такие встречи, не оказался бы накладным выход на песчаные бугры... Больно уж вид у царя мужицкий, кафтан мешковатый, простого покроя: ни тебе галунов, ни звезд царских, да и обращение свойское. У попа крест целовал, а голову цепко ухватил за высокие плечи, подтянул до себя и трижды облобызал.

Потом уже, когда спускались через лобастый Петренкин мост к церкви, просил царь-батюшка голову помочь подводами, собрать провиант, подковать сбивших ноги лошадей, обшиновать колеса, поставить на ход для дороги дальней.

Отстоял Пугачев запоздалую по случаю его приезда обедню, а, выйдя на прицерковную площадь, не знал, как и вести себя. То ли бежать, то ли речь держать. Вся площадь была запружена слобожанами-чумаками, мужиками со всей заволжской округи. Были тут ходившие с ним к Уралу лихие ямщики с нагорной стороны, беглые казаки.

Пали было первые ряды на колени, но Пугачев смущенно поднимал некоторых, пытался говорить о близкой народу судьбе своей. Понял, что и это лишнее, стал пробиваться через толпу к войску своему на бугры. Голова просил почтить царской милостью его хату, откусать слободской хлеб-соль, но Пугачев отказался, объяснил, что недосуг ему на походе, поспешать надо. Поклонился толпе за добрую встречу, всем слобожанам – за поддержку и ласку. С войском собрались уходить несколько сотен ломщиков да возчиков соли, самой-самой голи перекатной, иные из них вызвались в проводники.

В доме купца Матвея Петрова, когда остановился поблизости, дрогнула глухая оконная занавеска, отошла от косяка. Были в толпе пугачевской у хозяина этого дома и свои «подзорщики» «для присмотру и искоренению известного злодея», но не терпелось, хоть одним глазком, и самому взглянуть. Не всякому доводится грозного бунтовщика узреть... Доносил же купец этот на Камышинку, что саратовский казак Уфимцев уже на луговой стороне по разбитии злодейского войска стал под белое знамя Пугачева, а после столкновения с его разездом под слободой вместе с товарищем-

малороссияном ушел с толпой бунтовщиков по эльтонской дороге.

Чуть ли не у самого моста стояли беглые вольные люди, «отменные разбойнички». Многие из них прятались в заводях, воложках, по оврагам и степным балкам, а в случае опасности разбегались. Одни ходили по Волге до самого Каспия, другие рыскали на лошадях по степям заволжским до самых яицких перелазов, укрывались в Соляном городке, на окраинах слободы в землянках, нанимались ломать соль на Эльтоне, работниками на казенный перевоз из той же слободы на Камышинку, даже в коннице Пугачева служили наемно и исправно.



*Эскиз к картине "Добыча соли на озере Эльтон".
Рисунок А. Токарева*

Один из таких отчаянных, атаман Рыжий, стоял перед Пугачевым лицом клицу, озорно блестел глазами, в упор разглядывал «мужичьего царя». Ходил Иван Рыжий по Волге, бегал по степям с атаманом Шагалой, а потом в шайке с выдававшим себя за выходца из Никольской слободы беглым Максимом Дегтяренко знавал чуть ли не самого Михайлу Ханина, объявлявшего себя Петром Третьим. Много раз был пойман, бит кнутами, находился в бегах и вновь объявлялся под другим именем. А теперь смотрел на Пугачева нагло, с вызовом, словно говорил: «Вот, мол, и тебя, братец-самозванец, зажали накрепко, поди, не вывернуться»... Но тут же стал проситься в войско: возьми, мол, пригожусь в неизведанных степных переходах, можно, и в морских ватагах.

Кивнул Пугачев атаману Рыжему, словно давал согласие, хотя не раз слыхивал, как пробирались в его стан соглядатаи, тайные доносчики. Остерегался, бывало, таких. А нынче, сбросив самозваное обличье, махнул на все рукой – будь как будет!

Слободской голова сдержал слово, поставил и провиант, и

двадцать пароконных подвод с грузом, и несколько легких бричек. Громоздкий отряд до трех тысяч человек двинулся по Эльтонской дороге широкой, далеко вытянувшейся полосой. Впереди колонны – слободские проводники, вслед за разъездами и головным отрядом – кортеж Пугачева, новая кибитка. Но сам на коне, совсем рядом, на подхвате – мальчонка Харька, а поодаль кучно держатся старшины да хорунжие из тех, кого приблизили к себе Творогов и Чумаков, Иван Федульев, Тимофей Железнов, Иван Бурнов, уже твердо решившие при удобном случае схватить и выдать властям Пугачева, вернуться в Яицкий городок с повинной.



Эскиз к картине “Добыча соли на озере Эльтон”.

Были поблизости и свои казаки, но старшины да хорунжие усылали их то в хвост, то в голову колонны, даже Харьку, жавшегося к Пугачеву, отбивали.

Ночи по осени были темные – ни звезд на небе, ни всполохов. Лошади оступались, фыркали. Совсем худо было проводникам, им одним и ведомо, как дорогу не потеряли. Шли спешно, без отдыха, позабыв про уметы и рытые колодцы. Вдруг услышал Емельян Иванович впереди, невдалеке от него, знакомую, хватавшую за душу песню:

*Леса ли вы, лесочки, леса темные!
Кусты ли вы, кусточки, кусты частые!
Ах, станы ли вы, станочки, станы теплые!
Еще все-то вы, кусточки, уже повыжжены,
Еще все-то вы, станочки, поразорены,
Еще все наши товарища переиманы...*

Песня была старинная, Пугачев знал ее издавна. В молодости со станичниками не раз игрывал. Но в эту ночь песня была исполнена для него особой кручины, отзывалась болью в сердце за друзей-товарищей, потерянных на полях сражений. Вставали перед глазами,

как живые, Шигаев, Зарубин-Чика, Караваев, Мясников, Максим Горшков... Кто теперь идет за ним? Довериться никому не можно – хитрят, виляют. Но куда денешься, надо решать, звать людей на большое дело, идти через Рын-пески на Каспий. Негоже замечать следы, поворачивать куда-то...

Едва занялась заря, прошли верст сорок от Никольской слободы. Тут и привал сделали, коней напоили, передохнуть дали, сами перекусили. Вокруг кинутой на землю кошмы собрались и старшины. Осторожно доверялся им Емельян Иванович, рассказывал о решении своем выйти к Астрахани, но старшины явно тянули восвояси.

– Скрыл нас Афанасий Перфильев, удар на себя взял. Можно теперь и в городок наш иттить, казаков поднимать. Тады и на Астрахань замахнемся.

Хитрил Творогов, а глаза прятал, глядел себе в ноги, растирал носком сапога сухой, утопавший в песке полынок.

Молчал, думал Пугачев, одному наверняка не уйти, схватят. А может, и поддержат казаки яицкие? Может и так быть, встретят, как бывало, хлебом солью... Да вот беда в чем: сызнова надо царем-батюшкой прикидываться... Махнул резко рукой, велел сворачивать с Эльтонской дороги, идти пустой степью к Большим и Малым Узеням. Поворот этот маскировал марш пугачевского войска, обещал скрытный, неожиданный выход к Яицкому городку. Тут-то и была, как оказалось, новая ловушка. Правда, Емельян Иванович и на этот раз догадывался о замыслах старшинских – приберегал стайку добрых коней, велел ездовым держать их в холе и всегда при себе.

Когда вышли в дикую, продутую всеми ветрами степь, Пугачев пришпорил коня, старшины рассыпались сзади, стали отставать, а высоко-высоко над ними парили коршуны, готовые вот-вот уласть на желанную, трудно дающуюся добычу.

5.

В Царицын к концу августа уже не стая коршунов слеталась, а регулярные войска во главе с именитыми военачальниками. Один за другим прибывали полки, отряды, команды с секретными миссиями, особыми поручениями. С Дона – полковник Иловайский со сводным отборным полком, за ним – генерал-майор Мансуров с яицкими

казаками. За Волгу тут же посланы три отряда преследовать Пугачева. На Камышинку прибыл отряд генерал-поручика Мальгунова, чтобы «изверг, злодей и вор» не переправился на нагорную сторону. За Волгой по той же стороне до самого Саратова и выше наблюдали войска князя Багратиона. От Сызрани к Яику через самарские степи шел князь Голицын. Давно уже по обе стороны Волги расставил пикеты честолюбивый, заносчивый поручик Гаврила Державин. Его подвижные отряды орудовали у Саратова, а со слободы Покровской проникали к реке Большой Иргиз в раскольничьи скиты, где Державин имел своих «подзорщиков». Старцы-лазутчики достигали чуть ли ни самого Пугачева... Молодой орелик Державин поэтические крылья свои еще и не пробовал раскрывать во всю мощь, а ястребиные когти глубоко запускать, зажимал намертво, верой и правдой служил богоподобной царице, достигал и войска «киргиз-кайсацкая орды».

Пока Державин так целеустремленно и трудно шел к желанной своей госпоже Славе, обанкрутившийся купчик Долгополов, давно запродавший голову Пугачева, не раз уже щупал близко лежавшие и ему назначенные деньги, но все еще трусил, ближе к «злодею» подобраться не решался... Все чаще мерещилась строгая императрица с секретным наказом, то и дело принюхивался: попахивало каленым железом и дымом, и хватался за нос с еще не драными ноздрями...

Никто не мог сладить с прохиндеем, даже безукоризненный служака капитан Галахов. Прибыв в Царицын первого сентября, он тут же доложил графу Панину, что «злодей» переплыл Волгу, «ищет спасения» в широких и необитаемых степях, но «никто точного сведения не имеет, куда действительно он путь свой устремил».

Нежданно-негаданно на другой день объявился в Царицыне сам Суворов. Крытая рогожей тряская телега в сопровождении скромной генеральской свиты – адъютанта и слуги – въехала в западные ворота крепости. Герой Измаила стремительно, с ходу вступил в командование, отдал необходимые срочные распоряжения и в этот же день принял комиссию Галахова.

Встретил, правда, настороженно, недоверчиво. Долгополова разглядывал особо пристально... Откуда, дескать, родом, спрашивал, может ли оружием владеть, и что казак перед ним, никак не верил.

«Казачишка-то мнимый, – думал про себя раздраженно. – Амбиций через край, а во фронт стоять не может». Как тут ни вспомнить и свои особые полномочия от императрицы-матушки... Пришлось принять как солдату, хотя и без всякой охоты, словно грех великий на душу брал.

От неудовольствия собой Суворов давал указание и Галахову раздраженно:

– Извольте, капитан, без промедления переправляться со своей комиссией за Волгу, в Ахтубу и следовать за деташементом Михельсона!

Пока переправлялись на левый берег лошади и кибитки, купленные комиссией, генерал задержал Галахова по секретному делу. Тут же Суворов набросал записку (не все в ней разборчиво):

«Гвардии капитан Галахов отправляется на случай при деташементе г. Михельсона, достигая голову следующих партиев за Пугачевым. Он в сей вечер арестует здешнего обывателя (который останется на руках у коменданта Цеплетева); от оногo, как сообщника Пугачева, разведано, что сей разбойник побежит вверх по Волге луговой стороной, накопится снова (как? неизвестно) и переправится опять будто бы в сии страны на нагорную сторону».

За два дня Суворов перестроил войска с целью ловчее изловить Пугачева, «заключить от всех мест в такой зев, которого б не мог миновать» и, отрапортовав об этом графу Панину, «главному повелителю войск, отряженных на истребление внутреннего смятения», переправился через Волгу.

Позавтракав рано утром у хозяина шелковичного завода Рычкова, Суворов верхом в сопровождении донского казака Тимофея пустился нагонять ушедший вперед корпус. В арьергарде вместе с преданной ему командой донских казаков оставил адъютанта Максимовича, своего ординарца и капитана Галахова, а Руничу с Остафием Трифоновым и казною под охраной гренадеров велел следовать за собой.

Выйдя в степи, держались вблизи Волги, остававшейся все время с левой руки. На обомшелых, покрытых желто-сизыми лишаями горах выгорела в нынешнее невыносимо жаркое лето всякая растительность, лишь редкие корявые деревья да кусты в расщелинах еще слабо зеленели, как казалось издали. По правую руку раскинулась необозримая голубая степь, негде на ней и глазу зацепиться – ни людей.

ни травинки, словно вымерло в ней все живое. Лишь когда окутанное слегка подсвеченным облаком солнце вылупилось из крутого обволакивающего пара, степь покрылась уставшей испариной, ожила мелкая живность, запели на разные голоса птицы, а слева совсем ласково замерцала истомленная минувшей жарой великая река.

Суворов, обнажив голову, пытался пригладить седеющий хохолок на взлобье, перекрестился, вздернул голову по-орлиному и вздохнул глубоко, прерывисто:

– Ну, с богом! Солдат я, в выборе не волен. Матушка-императрица в большом гневе. Приказано изловить...

Тронутая плетью лошадь пошла прытко, и мысли начали рваться, прыгать, но дальняя связь меж ними вилась: приказано, да не все этим сказано, не дело гоняться за самозванцем, а выполнять надо. Внешне сухой, подтянутый, всегда готовый к действию, с мыслью, заостренной на победу, а на душе беспокойно. Думал и о всегдашних своих личных неустроенностях – о ждущей его невесте, о заброшенном, неухоженном имени. Вечно в пути, на коне, среди солдат на биваке, среди тревог, недоступных чужому глазу, нарочито скрытых. Да и годы не те, сползать начали, на уклон пошли...

Как ни стремился Рунич, сидя в запряженной тройкой кибитке, догнать Суворова не удавалось. Лишь на самом закате увидели впереди, в стороне от дороги, двух всадников. Спешились они у стога сена. Когда подъехали ближе, узнали Суворова. Казак Тимофей, воткнув пику в землю, привязывал к ней генеральскую и свою лошадь. Видели с дороги, как казак и генерал вместе бросились теревить сено и начали тут же устраивать головую к стогу генеральское ложе, а в стороне казак поджег кучу натасканных сухих будыльев, перемешанных с разбросанным вокруг сеном. Суворов снял мундир, освободил рубашку, завернул ее на голову и, поворотившись к огню спиной, а затем животом, начал поджаривать себя, приседая и поворачиваясь вокруг огня. Сбегал тут же в овраг к ручью, облил себя холодной водой и вытерся насухо. Надев мундир и завернувшись в плащ, Суворов лег – седло под голову – в приготовленную у стога постель.

Спутники Рунича, невольные свидетели того, как отходил ко сну генерал, удивились суровости и простоте содержания себя, а поднявшись ранним утром, поняли: проспали генерала. Нагнали его

во втором часу пополудни. Рунич осмелился на этот раз окликнуть Суворова:

– Батюшка, ваше превосходительство, Александр Васильевич! Неуждно ли вашей милости водочки выпить?

Суворов остановил коня, повернулся и сказал:

– Помилуй бог, можно выпить и закусить.

Рунич поднес генералу чарку водки, хлеба с солью и кусок сухой курицы. Перекрестясь, выпил Суворов и, взяв хлеб и курицу, сказал:

– Спасибо, братцы! – и, поверотив лошадь, не прощаясь, поехал вперед.

Вскоре генерал вновь исчез из поля зрения Рунича и его спутников. То были совсем ему чужие люди. Не хотел открывать душу и все, что мучило его и в дальней дороге на Царицын, и теперь за Волгой, когда погнался за Пугачевым. Нет, перечить царице он не мог, честно говоря, не так был воспитан. Вспоминая жизнь солдатскую, походы и ретирады, своих чудо-богатырей в баталиях и штурмах, стал придирчив к себе, недоволен собою, то вздремнет на ходу, то вскинет голову и пришпорит коня, то в забытьи что-то бормочет, то чуть ли не вслух заговорит:

– Помилуй бог! Невмочь драться мне с мужиками. Беда великая– бегать русскому генералу за мужиком русским... Видно матушке-императрице не понять солдата, что ли? Душу его не след ворошить да, пуще того, трясти. Так-то... Поберегла бы ты, матушка, солдата на верные дела!

Казак Тимофей, слышав речь про солдата, тут как тут:

– Звать изволили, ваше превосходительство? Солнце на исходе... Можя, и ночевать будем?

Промолчав на этот раз, отзывчивый на солдатское участие полководец не хотел открывать Тимофею, бередить его душу тем, что кручинило самого.

К вечеру совсем похолодало, подул ветер с дождем и градом. Пришлось Тимофею делать на ночь нору в стоге, но спалось плохо, урывками, и на утренней заре вновь выбрались на дорогу. Вскоре и слобода Никольская показалась.

Староста слободской чуть ли не переламывался в поклоне, прижимая к груди растопыренной ладонью бедовую бороденку свою.

«И енералы зовсим непутевые пийшлы... Манесенький, а жме руку крипко... Мабудь, кырпыч за пазухой ховае – за хлиб да силь Пугачу, за хоругви на буграх... Ни, нэ сносить голови голову!». Но генерал мягко так, под самый локоток берет и в сторону отводит. Все про самозванца спрашивает, много ли с ним народу да куда двинулся, не разорил ли слободу, обложив провиантом... А что слободские ушли со злодеем, про то и не спрашивает.

Поодаль воют бабы, на всю улицу Широкую причитают: «И на кого же ты меня ще бедовую, да вже вдовую спокинул, деток малых сиротами оставил»!

Слышал Суворов эти горькие, рожденные болью сердца причитания и, зажатый в тисках веры и правды, долга и самой жизни, с тоской думал о том, когда же восторжествует добро в этом злом и несправедном мире. «Вот он мой, помилуй бог, крест... А я, как Христос на распяты, голой рукой взятый. Да понесем сей крест праведно!»

Сухонький полководец все молчал-молчал, прислушивался к бабьим причетам, вдруг оголил орлиный хохолок свой, блеснул озорно глазами и шустро так, истово перекрестился. У слободского головы глаза на лоб полезли.

6.

И на этот раз Рунич с Долгополовым основательно отстали от Суворова в пути, совсем потеряли его из виду и начали уже больше беспокоиться за себя, чем за генерала. Пугала круто наступавшая в степи осенняя темень... Переночевали у самой Волги в полном одиночестве, не без тревоги. Гренадеры попеременно всю ночь на страже стояли. На другой день в одиннадцать часов утра въехали в слободу по бревенчатому мосту.

Тут и открылось путникам большое селение, какого всю дальнюю дорогу сюда не видели по всей Волге и за нею, на луговой стороне, в предстепье. Просторные хаты и узкие двухоконные хатенки, заселенные малороссиянами, возчиками соли с Эльтона, стояли высоко, на подклетьях – весной, в особо высокие разливы Волги, низинная часть слободы затоплялась. Но дома вышли уже и в степь, за ерики; лепились поверху, за Преображеньем, выбеленные весело, расписанные квичочками саманки-мазанки.

Широкая и ровная улица шла берегом Воложки и выходила к площади, где начиналась строительством новая каменная Никольская церковь. За нею опять ерики и степи, без перекладных, без всяких ямщиков. Степь да степь кругом.

Все успевающий адъютант Суворова молодой Максимович встретил и проводил к отведенной квартире в большой, приподнятой на сваях хате. Въехали во двор, остановив кибитку у самого крыльца. Максимович побежал вверх по лестнице и тут же возвратился со словами:

– Заказал я хозяйке, чтобы она не мела избы и не покрывала стол скатертью... Мой генерал терпеть того не может, чтоб для него суетились и прибирали...

Тут и Суворов к крыльцу подъехал, спрыгнул с коня и сказал Руничу, еще сидевшему в кибитке:

– Помилуй бог, здравствуйте! – и стал подниматься по высокой лестнице. Максимович поспешил за ним без промедления.

Рунич с Остафьевым едва успели выбраться из кибитки, как увидели выбежавшего из хаты адъютанта. За ним выскочил Суворов с криком:

– Ай, ай, ай! Накажу!

Первым оступился на самом верху лестницы Максимович, за ним, зацепив адъютанта, скатился вниз Суворов. Внизу оба шустро вскочили на ноги и опротясь выбежали за ворота – только их и видели.

Рунич и Догополов стояли у кибитки в недоумении. Что же случилось с генералом и его адъютантом, куда бежали они с криком и хохотом? Все разъяснилось, когда поднялись в хату. Оказывается, ее хозяйка в то самое время, когда генерал входил в горницу, покрывала стол чистой скатертью. Оттого и погнался генерал за своим адъютантом.

Вскоре прибыл в слободу капитан Галахов с арьергардом. Спустя час Суворов пригласил его с Руничем к себе. У крыльца стояла запряженная парой, готовая в дальний путь телега, а рядом – слуга генерала. Он и указал наверх:

– Подите к его превосходительству. Он только вас и поджидает...

Когда поднялись в горницу, Суворов прохаживался по ней из угла в угол, заложив руки за спину, Поздоровался, усадил за стол и спросил:

– Как вы располагаете, со мной ли пуститься в степь или здесь останетесь?

И, не дождавшись ответа, стал рассказывать:

– Пять дней назад Пугачев, обласканный здесь, в Никольской слободе, собрал провиант и пустился по эльтонской дороге. Через слободу потянулся вверх и еще один отряд самозванца. Я погонюсь за первым по дороге на Эльтон. Там, верно, сам Пугачев ретируется... Второй отряд и без меня с кем-нибудь в верховьях Волги встретится.

Офицеры отпросились у генерала на полчаса, чтобы поговорить с Остафием Трифоновым. Но Долгополов опять струсил, отказался гоняться по степи за Пугачевым, боялся попасть в руки киргиз-кайсаков. Глаза его плутовато бегали, снова изворачивался, пытался найти оправдание хитростям своим, а потом раздраженно сказал, как обрезаю:

– Нам сегодня надобно переправиться в Камышинку, а оттуда поспешно отправляться в Саратов. Тут и расположим, куда вам, куда мне должно путь держать...

С радостью узнал Суворов, что освободился от такой обузы – мнимого казака с царской казной. Сам генерал занимал деньги еще у царицынских купцов на крайне обветшавшее одеяние своих солдат. Суворов отдал последние распоряжения. Отсюда, из слободы, что против города Дмитриевска, он рапортовал графу Панину: дескать, достиг сей слободы 8 сентября вместе с деташаментом Меллина и хотел идти отсюда по следам Пугачева к Узеням, но опасался всяких неожиданностей, ретирал с его стороны, предполагал, что гонимый, будучи отрезанным от Иргиза, проявит свою волю и начнет к Яику и Башкирии накапливаться... Не исключалась и возможность переправы его через Волгу в Тетюгах и даже побега к Таману... Завершалась записка сообщением: Галахов «отправляется отсюда в Саратов».

Ушли вперед части преследования, выпроводил в степь сначала свою свиту, а затем и сам покинул слободу.

Надвигалась ночь, шли ощупью, но без остановок и отдыха. Верстах в тридцати от слободы, перед Калмыцкой балкой, у знакомого чумакам лимана «Не спи», где всегда были настороже и ожидали засады воинственных степняков, скрытно поджидавшие войско верховые люди напали на телегу Суворова и убили его камердинера-пруссака. Он слабо вскрикнул, но ехавшие сзади с адъютантом

Максимовичем карабинеры услышали зов о помощи, выстрелили. Нападавшие киргиз-кайсаки с диким гиканьем рассыпались по ночной степи, разбежались. Но кто-то из них успел пустить стрелу, и она вонзилась в шею Максимовичу, Суворов к происшествию поспел тогда, когда его адъютанту оказывали помощь... И в степи, зная, известно было о приближении знаменитого полководца.

Однако Суворов сам по себе решил не задерживаться на эльтонской дороге, сошел с нее, применив неожиданную для других, давно задуманную ретирату, и вышел степью к Еруслану уже на другой день. В полусотне верст от слободы настиг он свои передовые отряды и вновь уже из этого лагеря, в степи, при Еруслане, рапортовал 9 сентября графу Панину, что полковник Иловойский и гвардии поручик Державин преследуют бегущего на речки Узени Пугачева.

Но жила еще вечно сидевшая в Суворове, как полководце, и вместе с тем добрая солдатская тревога о хорошо и вовремя сделанном, искусно сработанном деле. Не покидала мысль, чтобы самозванец, «случаем оборотясь, не прорвался против стороны Царицына». Поэтому и получили отсюда Михельсон и Цеплетев повеление: отправить к Эльтонскому озеру подвижные отряды, перекрыть путь на Каспий, выходы к Дону.

В это же самое время истерзанный старшинами, загнанный в камыши на Узенях Пугачев продолжал вести борьбу, не теряя надежды выскочить из ловушки.

– Что, ваше величество? – ехидно спрашивал Чумаков. – Куда думаешь теперь иттить?

– А я думаю, – отвечал Пугачев, настойчиво излагая выношенные мысли, – иттить по форпостам и, забрав с оных людей, иттить к Гурьеву-городку. Там мы презимуем и, как скроется лед, севши на суда, выйдем на Каспийское море, а потом и народ подыдем!

– Не, батюшка, воля твоя, – издевался Чумаков, – но мы не хотим теперь воевать... Пойдем лутче в наш городок...

Пугачев побледнел, затравленно озираясь по сторонам. Он еще искал путь к спасению с помощью верных казаков и в одиночку надеялся вырваться на волю, но петля захлестывалась, старшины уже и руки заламывали за спину, и вязали по рукам...

С каждым днем холодало все больше, ветер пронизывал насквозь,

даже сайгаки кучились в стада, жались друг к другу, спасая в середине ослабших. За Торгуном и на Узенях пошел дождь. Степи в эти дни стали непроходимыми. Лошади не выдерживали, вязли в грязи, падали. Плохо одетые солдаты, в изношенных продувных шинелях, замерзали, жгли камыш, рубили повозки, но не могли на лютой стуже отогреться.

Постоянно находясь на марше, Суворов делил с солдатами все невзгоды. Из-за Торгуна велел поспешать и Державину, и всем другим отрядам – до Пугачева оставалось рукой подать. 12 сентября генерал был уже на Узенях, шел от реки Малой к Большой, к Александров-Гаю, мечтал в эти дни встретиться с бунтарем, даже не поговорить с ним, а молча заглянуть в глаза...

Толкаемое монаршей властью военное командование всех чинов и рангов напрягало последние усилия, чтобы поймать «главного злодея», схватить бунтаря-смутьяна, зажать в кулаке своем, в капкане, в железной клетке, в чем угодно. Разбежавшиеся по степям яицкие казаки, разделив неудачи и победы Пугачева, возвращались домой, на Яик. Возвращались в годовщину тяжелой борьбы, но возвращались по-разному...

Горстка старшин и подстрекаемых ими, поддавшихся и не сумевших тайно бежать в степи людей, выходила на казачьи перелазы к Яицкому городку, везла связанного вождя своего... Замыкался здесь, на Яике, и круг предательский; все ту же затягивали старшины-предатели петлю до совсем узкого кольца – веревки на шее «царя мужицкого». Топор на эту шею опускала уже сама Екатерина Вторая.

Пугачев гордо держал голову, не искал милости у коршунов своих и пощады не просил. Таким и остался в памяти народной...

Не знаю, ходил ли над ним кругами указывающий дорогу орел или он сам творил свою орлиную судьбу, сам прокладывая себе дорогу наяву и в народной молве... А я и теперь вижу: нет, не себя несмышлениша, замороженно идущего вослед орлиному полету, а могучего и гордого орла со связанными крыльями на далеких яицких перелазях. Жду теперь мучительно и желанно – вот-вот развернет он свои великие крылья, блеснет сединой в парящем полете и снова укажет путь со своей головокружительной, божественно бесконечной высоты.

Переделкино, март, 1989 год.

С КАЛАНЧИ ДЕТСТВА

На исходе того переломного в судьбах деревни десятилетия, когда всё менялось стремительно и резко, жили мы в большом и когда-то богатом доме Кубрака, напротив глубокого каменного колодца. Наискось, на самом высоком песчаном бугре, стояла рубленая из цельного дерева каланча с темными конюшнями, заросшими с улицы до самых крохотных оконцев зловеще зеленой крапивой, в густых метелках семян. За конюшней был просторный, прокаленный солнцем двор с множеством пузатых, полных водой бочек на телегах, с крытыми навесами, под которыми блистали металлом в ярких красках пожарные насосы, а на щитах – чистенькие ведра, багры, топоры...



Рисунок А. Токарева

Кубраковский дом был поставлен так, что окна в нем с утра полыхали от засмотревшегося в них солнца. Как ни прячься от него, солнечный зайчик, весело побегав по щеке, заставит играть в жмурки. И чем сильнее жмуришься, тем живее ослепительное многоцветье пробуждающегося дня входит в дом. Сквозь опущенную щелку глаз видел я, как веселые зайчики запрыгали по цветастому лоскутному одеяльцу, забрались по белой стене на самую печь, за пестрые занавески.

Игривые дети солнца приходили почти каждый день, начиная доброе, каждый раз щедрое на

радости познания утро. Дома уже никого не было, и я, откинув марлевые пологи, по-хозяйски самостоятельно выбрался на чисто выметенный пустой двор и тут же почувствовал босыми ступнями жар наступающего дня.

Позади дома, как тяжелые, прижатые друг к другу башни крепости, неприступной стеной теснились дворовые постройки – рубленые хлебные амбары, конюшня, каретник, обмазанная глиной летняя кухня впереди – глухие ворота на прочных столбах, увенчанных крытыми жестью куполами, похожими на стальные шлемы древнего воина. Потрогал подворотню – не поддается, ухватился за калитку – на железной щеколде, никак не пробраться на манящую редкими звуками улицу. Можно уже и захныкать от одиночества. Затравленно огляделся по сторонам. Напротив – сплошной забор, примкнувший к стене соседнего дома. Но что это – забор отошел от угла, и там образовалась основательная щель, глянул в неё – не пробиться глазу сквозь заросли паслена, белены и лебеды. Тронул доску – поддается, щель стала шире, появилось пространство, куда можно и пронырнуть. В это время на соседнем дворе распушил крылья, надулся, противно загоготал соседский гусак. Постоял я в раздумье, потоптался у самой дыры и тут же вспомнил, как гусачище этот на улице, у колодца, когда уже начал бежать от него, вытянул свою длинную-предлинную шею, завершённую острым желто-красным клювом, ткнул меня в спину, ухватился за трусишки и чуть не стащил при всем честном народе. Страшновато было и теперь забираться во владения этого задиристого гусяного жоака, но страсть как хотелось выбраться на улицу.

Страсть эта и сгубила – повисшая на ржавом гвозде доска податливо отошла в сторону и, пропуская меня, пересчитала, жестко царапаясь, шероховатые, торчащие в разные стороны ребра. Продрался сквозь зеленый дурнопьян и, совсем взъерошенный, воинственно вырвался на простор чужого двора. В дальнем его конце без всяких призывных кликов важно расхаживал остроклювый гусачище, совсем будто бы безразличный ко мне и ко всяким там непорядкам в его владениях.

Почитал и я за честь остаться незамеченным. Прощмыгнул через такой же голый, как и у нас, соседский двор и – к воротам. А ведомо было, что подворотня там неплотно прилегала к земле. Гусиная стая

во главе с крикливым воинственным гусаком не раз на моих глазах вылезала через проем этот, направляясь к теплой, закисшей луже у колодца.

Голова моя тут же оказалась на улице. Оглядевшись, вжался всеми уже пострадавшими ребрами в песчаный проемок, вцепился в сухую былинку и начал подтягивать тылы. Тут-то и услышал я, как у самой подворотни захлопали крылья недавно еще сонного гусака. Ключнув меня пару раз, на его взгляд, неудачно, он прошелся по моим тылам пулеметной строчкой, вцепился клювом в резинку трусов и стал возвращать меня в свои владения. Вовсю заработал я локтями, и теперь подворотная доска стала считать мои позвонки. Дико завопил я, призывая на помощь, не понял, что ждать ее неоткуда, собрал силенки и, что есть силы, рванулся на волю. То ли гусак сжалился надо мной, то ли силенки не подвели, но я уже стоял за подворотней, подтягивал трусишки и почесывал саднящую спину. Было не так больно, как обидно за неудачный выход в свет, на пыльную колеистую дорогу.

День был, видно, воскресный, базарный, и основные его события разыгрывались уже не здесь, а внизу, на шумном торжище. Здесь же улица оказалась совсем безлюдной. Со степи проехали на базар еще вчера вечером, по холодку, а шустрые брички прошли на утренней заре. И лишь одинокий заспавшийся мужичишка, погромыхая цепью, выливал воду из тяжелой бадьи в обросшую моховой зеленью колоду. Он пытался напоить низкорослую лошаденку, сделавшую дальний путь. Пусто было и на каланче. Все уже млело от жары, даже крапива опустила листья. И только на конюшне изредка всхрапывали, били копытами застоявшиеся пожарные кони. Право же, не стоило так рисковать собою, выбираясь на улицу, – ни игрищ, ни зрелищ, никаких впечатлений...

Но вот из-за конюшни вывернулся карапузый Петька Василенко-младший. Его отца, служившего на пожарке, боялась вся малышня в округе. Коренастый, крепко скроенный казачина с пышными усами и рыкающим басом, сидел он, как домовый, на каланче и наводил страх на мальчишек, заветной целью которых было желание проникнуть на смотровую площадку каланчи и хотя бы разок, хотя бы одним глазком взглянуть на мир с высокой позиции, можно сказать, почти с птичьего полета.

Завидев дядьку Ивана Василенко, тяжело топающего высоченными, с отворотами, как у рыцарей, смазными сапогами, кидались врассыпную с криками:

– Домо-о-во-о-ой! Спасайся, кто может!

А матери дома еще и попугивали:

– Не балуй, а то дядьке Ивану отдадим...

Тут уж совсем замирало в страхе сердчишко. Но на этот раз Василенко- младший совершенно мирно, даже как-то загадочно манил пальцем:

– Не бойся, не бойся, батяня на базар подался, а дядьку Харитона жара сморила, дрыхнет на верхотуре, – и, подобрав закапанный пасленом живот, предложил: – Хочешь на вышку взобраться? Пойдем, проведу.

Обомлел я при таких словах. Неслыханное дело, заветная мечта – вот она, явью становится. Петька за угол в калитку, я – за ним, он в конюшню, и я туда же, не отстаю. Здесь прохладно, сыро и темно. Пофыркивают лошади, звенят удилами. Поостерегся на всякий случай, прижался к стене, гляжу, а в солнечном квадрате – звонкая лестница рвется вверх. Шустро перебираем босыми ногами, берем пролет за пролетом, еще мгновенье – и мы уже на сеновале, потом ноги подчиняются все трудней, слабеют в коленках, а до перилец и не дотянуться – круто взметнулись чуть ли не в самые небеса. И все-таки выбрались мы наружу,

Харитон Хрущ уже протирал глаза в удивлении:

– Тю, пацаны, видкиля?

И все-таки не стал браниться, как домовой. Видит, что мы на цыпочках приподнимаемся, карабкаемся на сплошь забранную досками стенку смотровой площадки, которая взрослому человеку и то выше пояса приходится. Схватил меня Хрущ подмышки, приподнял, прижал коленом к доскам:

– Дывысь, пацаны, пока нэма дядьки Василенки.

Тут уж, как у воробья, зажатого в мальчишеской руке, сердчишко забилося часто-часто и не от страха – от захватывающей дух радости. Выбраться на улицу – и то сколько страданий принимать приходится. А тут – простор великий, бездонное бесконечное небо над головой, вольный ветер со всех сторон света, солоноватый привкус его на губах.

Щекочет ветер конопатины на носу, треплет ласково пушистые, как пакля, податливые волосы. Протяни руку, и, кажется, легкое облако можно достать, особенно, если оно оплошает, чуть приспустится. А там, вдали, извечно просторная, покойная синь – там Волга, пронзительно манящая великая река.

Внизу предо мною, куда ни глянь, квартал за кварталом расстилается в необозримом даже с каланчи пространстве родная моя слобода, знатная хлебом, солью, пестрыми, шумными ярмарками... Со степи, мимо пожарки, спускается вниз широкая Мостовая улица, минует Успенье и, чуть вильнув за большим с железными перилами мостом в сторону Никольской церкви, вступает в центр. Улица стеснена крепкими купеческими домами с высокими, чугунного литья балконами, с натянутыми вверх украшениями на крышах – у каждого на свой манер. Магазины, лабазы при них – с коваными железными дверьми и закрытыми окнами. Улица здесь бульжной своей мостовой обнимает широкую просторную площадь с бывшей управой на взгорье и Никольской церковью в центре. Потом пересекает улицу Широкою с ее просторной торговой площадью, с рядами, лавками, пестрыми вывесками и круто спускается к пристани на Воложке, к наплавным мосткам, к плотам и баржам.



Копия с картины неизвестного художника.

Рисунок А. Токарева.

Слева, за Самойловской взгоркой, в низинной дымке, едва проглядывают Гугуны, еще чуть ниже и дальше – самая древняя часть слободы. Отсюда едва виднеется лишь то, что осталось от основанной первыми чумаками церкви Преображенья, переоборудованной в заводской клуб, а дальше – красные, зеленые, охристые крыши маслобойно-горчичного завода, паровых мельниц. На новом песчаном взгорье – учительская семинария, а левее нашей каланчи, на выходе в степь, – ремесленное училище.

А если перевести взгляд на правую руку, повернуться самую малость и открыть лицо северным ветрам, то тут, за просторной ветлечебницей, за белокаменным прочным казначейством, за Троицким собором, открываются по двум улицам домишки победнее. Лепились они и над крутизной Набережной, и за ериком по Новоузенской. У церкви Александра Невского сходились две самые большие улицы и шли широкой дорогой до самой гамазеи - хлебного городка с просторными рядами высоко поставленных хлебных амбаров с отборной пшеницей. Тут уже и кончалась слобода. Далее, на Комягинском озере, поскрипывали большие колеса чигирей, а уж за ними – просторы плантаций.

Внизу, у подножия каланчи, уходила в степь большая дорога. Чуть дальше, за Покровами, за желтым острогом, мимо кладбища, меж густой зелени садов вырывалась в степь еще одна дорога, и пробивалась она чуть ли не с к самым Малым и Большим Узеням. Уходящие в степь дороги были облеплены кузницами с поставами, бондарнями, колесными рядами, тележными мастерскими, всякими мелкими лавками и казенками. В том же краю то рядно, то кучно, как грибы, высыпавшие на полях в канун лихолетья, выросли на песчаных буграх сотни мельниц-ветряков, а во главе их, уже за слободой, – многоэтажные паровые мельничные заводы.

Когда перед тобою безбрежная синь Волги, острее чуешь за спиной свои родные степи – бесконечные, дальние, выжженные солнцем до миражных видений, переполненных ощущением близости желанной влаги раскинувшегося перед тобой бесконечного моря, курящегося в зыбком мареве... Во глубине этих степей, в рассохшейся до пыли земле, в паутине трещин и расщелин и в белых солонцовых пятнах, – совсем одинокий, в изнеможении пересыхающий Торгун, заросшие

лиманы и редкие желанные колодцы с ломящей зубы водой.

Степи эти, когда-то совсем безжизненные, околдовали наших предков, заморозили. И теперь манят, чаруют и еще – кормят, бывает, что и щедро кормят, а в урожайные годы одаривают большим хлебом и всю страну.

Вот какой мир уже в детстве открывался предо мною с каланчи нашей. Многое узналось и позже, пришло с жизненным опытом, через общение с людьми, а еще больше – от разделенной с ними судьбы. Что-то из этого мира ушло в прошлое, ушло навсегда, но память цепко и бережно несла через годы самое важное, самое дорогое – чувство родины, великого, неизбывного родства с нею, порождающего родство душ земляков-современников.

У каждого в жизни, надо полагать, была своя каланча, с которой широко окрест открывался мир его родины. Каланча эта могла быть разной высоты, с нее открывались разные дали, и не всякому дано уйти взором за горизонт. Но и в этом открывающемся человеку впервые мире самым дорогим были люди. Они поднимали человека на ту высоту, на которую он мог взобраться по своим силам, они открывали этот мир не для себя – для всех нас, помогали познавать его, мир истинно человеческих отношений, выбирать в нем верные дороги, хранить память равно как о своем времени, так и о прошлом и пуще всего – о людях, открывавших нам этот мир.

С каланчи своего детства мне и теперь легче разглядеть не только свое более чем полувековое прошлое, тем более, что родился я в рубашке, а она, по всеобщему признанию, ближе к телу, но и свое время, проникнуть сначала через него, а потом и через века и постараться взглянуть и понять самое далекое прошлое, по возможности войти в него вместе с рассказчиками о том времени, вместе с путешественниками-мемуаристами, где-то даже побывать совсем рядом с ними.

Было много их, путешественников-соглядатаев, особенно чужестранцев, но видели они мало – дикие пустынные берега Волги. Страна с людьми по этим берегам, которые проплывали, напряженно озираясь, навсегда оставалась для них чужой, незнаемой, таящей опасности...

Шотландский лекарь Джон Белль, плывший летом 1716 года в

посольстве Артемия Волынского к шаху Гуссейну, с изумлением записывал в дневнике, что Заволжье пустынно, а степная Самара – совсем небольшой городок и снабжен он всего-навсего несколькими пушками на деревянных башнях, «чего и довольно для защищения его от набегов татар, именуемых – Кара-Калпаками (или Черные шапки), которые кочуют по степи, лежащей на восток от сего города».

Таких татар, по его словам, в этих краях мало, и могут они выставить конное войско не более десяти тысяч, а живут в кибитках, переходят с места на место со скотом, «кормятся одним только грабежом». Скуповато, не правда ли? Но и это Джон Белль знал, видно, с чужих слов, по слухам. Правда, лекарь сумел все-таки разглядеть, сколь плодородны берега наипаче на луговой стороне – «трава там очень высока, между нею растет много шалфеи и тмина и других произрастаний».

За Саратовом Джон Белль даже посетил этот левый берег. Всей посольской свитой направились «посмотреть ярмонку, на которую съезжаются туда калмыки для продажи своих лошадей». «Было их тут от пяти до шестисот человек, и стояли они станом со множеством лошадей, которые паслись по воле, включая тех, на коих они сами сидели. Кибитки их расположены были вдоль реки».

Вооруженные стрелами, саблями и копьями, храбрые и отважные, по словам шотландца, калмыки, однако, как и татары, «боятся пушки, ибо она пугает у них лошадей и приводит их в беспорядок». Но тут же сообщается еще одно наблюдение – не пройти ведь европейцу мимо «восточной экзотики»! И путешественник записывает: «Обыкновенных верблюдов у них мало, а великое множество так называемых Дромадеров, которые имеют два горба на спине».

Когда посольская барка спустилась чуть ниже Царицына, Джон Белль сделал еще одно чрезвычайно важное наблюдение. По его словам, дорога по западному берегу Волги до самой Астрахани «обитаема кубанскими татарами, явными врагами россиян, так что сии не могут тамо ездить с безопасностью. Но совсем иная она на другом берегу, на коем кочуют калмыки, и с которыми они живут в мире».

На наблюдении этом лежит знаменательная печать того времени. Редкие уже в XVII веке набеги на Самару, Саратов и даже на Пензу

калмыков, охотно кочевавших по Еруслану и Торгуну, сменяются мирными отношениями с россиянами. Правда, в актах конца этого же века саратовскому и царицынскому воеводам постоянно напоминают, чтобы они при отправлении людей из одного города в другой соблюдали крайнюю осторожность, шли степью из Царицына в Саратов «с великим бережением и чтобы татары, калмыцкие люди и воры – казаки или иные какие воинские люди безвестно не пришли и никакого дурна не учинили».

И все-таки крайне редко возникавшие за Волгой поселения «уничтожались или превращались в воровские притоны». Было это в те смутные для нас годы, когда судьба такая могла постигнуть и хутор Дмитриевский на волжской Резницкой протоке. Через каких-нибудь три-четыре десятилетия пришли сюда, на гиблое место, сотни, тысячи людей и поселились на пепелище уже навсегда. Во всяком случае, возникшая здесь Никольская слобода по документам конца XVIII столетия имела еще и название – Зауморье тож.

А что если заглянуть в первые русские географические словари-лексиконы? Мелькнула и такая мысль и показалась многообещающей. Может быть, в словарях этих хоть что-нибудь сообщается о родной моей слободе? Может быть, просто упоминается? Но неудача последовала тут же. «Географический Лексикон Российского государства» Федора Полутина (1773) знать ничего не хочет о родных моих краях. Глухое молчание о слободе по всем статьям. Ни слова об Эльтоне, ни полслова о соляных магазейнах в Дмитриевске или Камышинке. Правда, известно автору Лексикона вот что: «Выше Царицына есть множество великих слобод, сел и деревень; также и немало повсюду, видимо, запустелых и татарами разоренных городищ».

Обращаюсь к многотомному изданию «Новый и полный географический словарь Российского государства, или Лексикон» (1788). Нахожу в третьем томе скромное, но уже специальное сообщение: «Никольская, слобода Саратовского наместничества, в коей есть знатные соляные магазейны».

В статье уже о главном городе наместничества можно прочитать, что сие наместничество состоит из одиннадцати уездных городов, и все они – на правом берегу Волги, а среди них – по-новому названный, но величаемый еще неуверенно, сбивчиво – Камышинка, Камышев!

После чего сообщается, что к наместничеству «причислены и сии безуездные знатнейшие селения: Никольская и Покровская слобода». Из того же Лексикона узнаем чрезвычайно важные сведения и об Эльтон-озере, расположенном в ста двадцати девяти верстах от Никольской слободы: «На сие озеро летом, неведомо откуда, собираются до несколько тысяч вольных работников, которые взламывают соляные слои, иногда глубиною на два аршина в соляной жидкости, рапа называемой».

Как же так случилось, что Лексикон Федора Полунина в 1773 году совсем ничего не знает о слободе Никольской, уже четверть века существующей? Ведь новый и полный Лексикон через пятнадцать лет называет ее вслед за уездными городами и величает знатнейшей, упоминая соляные магазейны. А на Эльтоне ломают соль уже несколько тысяч вольных работников!

Заглянем еще и в труд Сергея Плещеева «Обозрение Российской империи в нынешнем ее новоустроенном состоянии». К концу «осьмнадцатого века» он выдержал несколько изданий. Ничего нового и здесь не сообщается, кроме того, что восточная луговая сторона Саратовского наместничества «лежит впусте», хотя «пространством своим вдвое больше нагорной».

«Словарь географический» начала XIX века, собранный Афанасием Щекатовым, включает большую статью про «знатную слободу» Никольскую. Статейка сия к тому же содержит самые общие, без знания дела переписанные у путешественников сведения.

Как видно, справочники – не всегда надежные источники. Мы еще не раз убедимся в этом. Сведения в них бывают и явно случайные, и, что самое досадное, – противоречивые, даже ошибочные. Куда же теперь, как говаривали, бедному крестьянину податься, где найти правду? Лучше всех, конечно, знали о себе предки наши, но они дело делали и о себе не любили рассказывать. Не было среди них летописцев, кто мог бы записать и бережно сохранить что-то самое важное. Даже поэтические думы народные, сказы и сказания не записывали. Такие тексты, разумеется, не исторические документы, но и в них голос, больше того, чаяния народа, а это – поважнее голой правды.

Свидетельства современников почти всегда субъективны. К одному и тому же событию возможны подходы с разных сторон. Да и видят

часто то, что хотят видеть. Все это давно известно, и не будем этого забывать. И все-таки не поискать ли нам свидетельства очевидцев, бывалых путешественников? Они ведь многое видели своими глазами и почти тут же описывали по горячим следам путешествия то, что видели, часто сопровождая описание рисунками, схемами, картами.

С каланчи своего детства и я видел то, что можно увидеть только в своё время, видел впервые так широко открывшийся и захвативший мальчишеское дыхание мир, видел по-особому, изумлёнными, восхищёнными детскими глазами. Раньше меня этот мир – мои родные края – открывали любознательные, смелые и неутомимые путешественники, открывали совсем не для себя – для будущих поколений, хотя, скорее всего, они и не осознавали этого.

Я впитывал всё, что мне открывалось в детстве, нёс в себе и только теперь рассказываю обо всём со всякими оттенками личного восприятия. В описания моих детских переживаний врываются заметные краски и интонации, скажем, с преобладанием детской непосредственности. Или некая хитринка, размышления что-то познавшего в жизни человека. А добросовестные путешественники видели своё время с высоты своих знаний, часто тут же познавали то, что видели, и сейчас же бесхитростно описывали, что открывалось им на уровне тогдашних представлений о мире. В этом особая прелесть таких описаний. В них, я бы сказал, сиюминутное, бытовое переплетается с познанием историческим, несущим в себе биение самой жизни, драгоценные черты времени.

Первыми оказались в наших краях путешественники-учёные, одержимые познанием люди. Молодая Императорская Академия наук предприняла в то время несколько экспедиций «для испытания



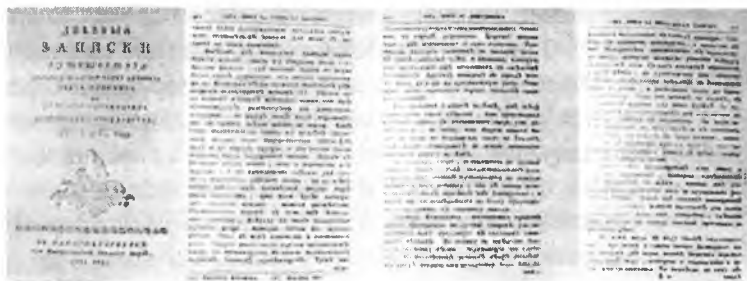
Пастушок.

Рисунок А. Токарева

естественных вещей в обширном нашем отечестве». Жребий открыть путь за Волгу пал на молодого русского учёного Ивана Лепехина, оставившего ценнейшие «Дневные записи путешествия по разным провинциям Российского государства» (1771). Вслед за ним «Путешествие по разным провинциям Российской империи» совершил доктор медицины, профессор натуральной истории, академик Пётр Симон Паллас. Уже в наших краях, в Дмитриевске на Камышинке, встретился он с астрономом профессором Ловицем и адъютантом Иноходцовым. Это было, можно сказать, в разгар восстания Пугачёва. На исходе этих событий, в трагические дни августа 1774 года, оказался в Никольской слободе выходец из Венгрии майор Павел Рунич, а столетие спустя появились в печати и его «Записки» о Пугачёвском бунте.

В канун восстания декабристов большое путешествие за Волгу совершил издатель «Отечественных записок» Павел Свиньин и вскоре опубликовал у себя в журнале путевые очерки «Поездка на Елтонское озеро». После него путешественники исколесили чуть ли не всё самарское и астраханское Заволжье. Кого тут только не было и что только не писали о наших краях в середине прошлого века! И о процветании его, и об истребительских засухах, и о важности строительства железной дороги на Эльтон, и об угасании «соляной горячки». Один из путешественников непосредственно своих впечатлений привлекает особое внимание – это сибирский журналист Евгений Вердеревский. Зимой 1853 года он отправился в Пятигорск на воды и только в мае оказался на нижней Волге у Царицына. Письма с дороги посылал в свою газету. Они и составили потом книгу его путешествия «От Зауралья до Закавказья».

Читательник ласкавый! Так обращались к тебе ещё в восемнадцатом веке, и искали участия, и хотели, чтобы ты проник в сущность того, что открывалось далеко не каждому путешественнику и письменнику, как-то выражавшему свои впечатления. А как теперь передать их тебе, мой читатель, чтобы не упустить самые важные сведения, какие-то любопытные детали, воспроизвести живую интонацию рассказа путешественника, может быть, даже манеру его письма? Впрочем, ринемся бесхитростно в прошлое вслед за путешественниками, сначала за одним, потом за другим, приглядывая за каждым, но не



*Дневные записки путешествия доктора и академика наук
адъюнкта Ивана Ивановича Лепёхина по разным провинциям
Российского государства. 1768 и 1769 год.*

вмешиваясь и стараясь, чтобы не выходили они из своего времени. Пусть говорят своим голосом, а мы прислушаемся и, сдерживая себя, поразмышляем вслед за ними, а может быть, и сообща. Будем ещё и помнить, что время их детства сегодня важнее для нас, чем наше!

Пуще всего влекла путешественников Волга, а ещё – восточные её таинства за песчаной грядой Заволжья, там, где великая река клонилась к степи. Раньше других появился в Саратове молодой русский учёный Иван Лепехин. Взгляни, читатель, вместе со мною сквозь годы. Вон видишь, путешественник уже садится в ладью, чтобы спуститься по Волге до слободы нашей, а от неё – к Эльтону. Вглядись в открытое доброе лицо одного из первых русских академиков. Он пока ещё – адъюнкт, скромный путешественник-натуралист, и на его плечах армяк простолюдина.

Здесь, у Саратова, впервые довелось Ивану Лепехину увидеть волжский флот, состоявший тогда из множества гребных барок. И поразился он тому, как «оне походят носом на галеры» с высокой мачтой в середине судна под широкий прямой парус. И поведал нам путешественник, как такие суда по Волге вверх ходят – или по ветру на парусе, или бичевою, или по канату, то есть завозом. «На каждом судне, по крайней мере, до ста человек работных людей бывает, а иногда и более. Такие суда, а особенно гребные, вооружаются по несколько пушек на вертлугах для безопасности от разъезжающих по Волге удальцов».

И вам ясно – время тревожное, Волга – беспокойная.

Почти через столетие в этих же местах встретился с Волгой

Евгений Вердеревский. Увидел великую реку, как и Лепехин, впервые. Увидел с высокого берега и поразился, как широка она и раздольна. По ней, точно лебеди вольные, плывут суда белопарусные. С одного из них раздаётся дружная песня бурлацкая. Путешественник призывает вслушаться в неё:

Ой-да, ой-да,
Во-оль-но, во-оль-но,
Наша лодка плывёт,
Подвигается вперёд.

Эта мерная песня поётся и повторяется тридцатью пятью бурлаками, которые взад и вперёд ходят по палубе судна, тихо скользящего вверх, против течения Волги, и тянут канат якоря, часто закидываемого впереди судна с особой лодки. Какой трудный способ плавания! Как неблагоприятен здесь тяжкий труд семидесяти человеческих рук.

Много воды унесла за этот век Волга в Каспий, что-то переменялось на её берегах. Вечно великий человеческий труд заносил якорь жизни вперёд и вверх, против течения, не давал ему затянуться илом и песками, но прогресс наступал медленно, бурлаки продолжали тянуть свои лямки. Вот только удальцов на Волге становилось меньше, и пушки на вертлугах снимались с барок.

Ни Саратов, ни Дмитриевск на Камышинке не произвели на путешественника Ивана Лепехина впечатления. Может быть, потому, что не нашёл он в Саратове ни одного каменного здания, кроме семи церквей и двух монастырей. Да и в Дмитриевске все строения оказались деревянными и только одна неказистая церквушка сооружена была из камня. Старое укрепление в этом городе – низменный земляной вал с палисадом – «уже нарочито обветшало». Больше всего поразило, что городишко на Камышинке «уезду никакого не имеет» и самое большое его достоинство – соляная пристань. Почти все путешественники отмечают, что в краях этих купецкие промыслы состоят по большей части в рыбе, а герб Саратова – три соткнутые головами стерлядки – никто не обходит вниманием.

Не приглянулись эти степные городишки и Вердеревскому. Саратов показался ему довольно неопрятным: «улицы немощёные, строения ветхие», а лучшие здания смотрятся как-то буднично.

«Степной песок или степная пыль занесли эту столицу юго-восточных русских степей и наложили на неё свой степной отпечаток». Ничего замечательного не мог найти путешественник и в Камышине. В совершенно степном, пустынном и ветхом Царицыне, неуютно разбросанном в пограничье с землями Войска Донского, сошлись ключевые дороги на восток, к Астрахани и на запад, к пристани Кагальницкой, к Новочеркасску. Пусть нет в Саратове даже театра, даже городского сада, зато имеется несколько магазинов модисток, кондитерская, табачная фабрика и даже фортепианный мастер – город-то всё-таки губернский!

Что касается гастрономических удовольствий, то здесь, в губернском городе, их можно черпать полной мерой. «Где же эти хваленые балыки, эти тающие во рту белорыбицы, эта громкая шема? Поезжайте в грязные и кривые переулки, круто спускающиеся к Волге, поезжайте и войдите в одну из рыбных лавок. Вы убедитесь, что не напрасна слава балыков саратовских, вы соблазнитесь нежным розовым мясом только что посоленной белорыбицы, вы непременно разоритесь на шемаю... Если же вы хотите оставить в себе окончательно приятное и прочное воспоминание о Саратове, то прикажите сделать себе в очень порядочной здешней гостинице ботвинью со льдом, раками и купленной вами белорыбицей. Гастрономическое впечатление ваше будет невыразимо!»

Совсем уже в наших краях, под Балыклеем, путешествующий журналист обратил внимание на многие сотни выбросившейся на берег рыбёшки. В это время идёт она стадо за стадом из Каспия в верховья Волги и по пути забивается во все её протоки. Игривая и шустрая, она «выскакивает из воды, цепляется за береговые кусты, даже бросается в лодки рыбаков, за что народ и прозвал её рыбой бешеной или веселухой. Очевидно, лов веселухи чрезвычайно лёгок, а по обилию её очень прибылен. Иногда невод вытаскивает за один раз до 40 000 штук. Сотня этих бешеных, но вкусных рыбок продаётся от семи до тридцати копеек серебром. После половины мая чехонь или веселуха мрёт, и речные волны десятками тысяч выбрасывают её на берега. Не правда ли, странное явление эта бешеная рыба?»

Нет уж, позвольте, коль речь зашла о чехони, рыбе моего детства, я просто обязан вернуться в воспоминания путешественников со

своими фанфарами в честь этой жизнерадостной рыбёшки. Изогнутая маньчжурской саблей, она остро вспарывала воду, блистательная, в нежнейшей чешуе, она играла с лёгкой пенистой волной, выскакивала из неё стремительно и зависала над водой перед изумлёнными мальчишескими глазами низким серебряным полумесяцем.

Для чехони готовили мы многокрючковые подпуска-завозни, и она, тощая и вёрткая, игриво легкомысленная, возвращаясь к Астрахани, хватала даже за голый крючок. Наши куканы, скрученные из тонких, тайком добытых ниток, с притороченной сверху обыкновенной спичкой, которую мы пропускали сквозь бледно-розовые жабры доверчивых рыбёшек, изловленных на Волге чуть ли не у самой пристани, не вмещали наших жертв, и волочились они по песку, и обрывались по дороге домой.

А возвращались мы с удачного улова радостные, не в меру возбуждённые, неистощимые в рассказах о наших рыбацких приключениях. Особенно о том, как «во-о-от такие чехонищи» (тут уже без размашистых жестов никто не мог обойтись!) сорвались у самого берега с крючка. И просили своих матерей найти в истопленной печи место для противня с чехонью, которую тут же, спешно, ряд за рядом, укладывали на редкую соломенную подстилку, присолив рыбёшку самую малость. Утром, когда чехонь ломалась, как халва, и слегка сочилась, распространяя душистый и нежный аромат, почиталась она нами за лакомство высочайшей пробы.

Простите уж, но такое путешественнику не может быть ведомо. Надо тут, на волжских берегах, родиться, вырасти на них, чтобы познать истинный нрав и вкус этой необыкновенной, бесхитростной рыбёшки. Я и теперь, переносясь в прошлое на полвека назад, заигравши, как у лошади, ноздрями, чуть ли не всеми порами чую и жадно вбираю в себя тончайшие запахи детства и вспоминаю нехитрые наши радости, связанные с ловлей чехони на Волге. А вы говорите: чехонь-веселуха, с какими-то совсем не рыбьими проказами, сорная, дескать, бросовая, бешеная рыбёшка!

В воспоминаниях путешественников, сначала иностранных, а потом и своих, доморощенных, есть традиционный, сквозной, идущий, можно сказать, через века, довольно драматический сюжет: о соединении Волги и Дона, о строительстве канала между Иловлей и

Камышинкой и даже о сооружении плотины в наших местах. Сюжет сей многократно повторяется, возникает в разных вариациях. Известны и легенды, и всякие объяснения неудач, связанных со строительством на Камышинке. Различные варианты будто бы народного объяснения этих событий обычно восходят к мелодраматической ситуации. Иностраный инженер, подрядчик и строитель, проворовывается со своей возлюбленной так основательно, что решает за благо покончить с собой: тройку лошадей разгоняет безудержно и с отвесной, самой высокой горы бросается в пучину Волги. Легенда эта не столько романтическая, сколько дурно сочинённая и маловероятная. На наш взгляд, народная интерпретация тут явно ни при чём.

К этому же сюжету со старыми соблазнительными вариациями, но уже в новых исторических связях обращается академик Паллас. Что и говорить, скрестились здесь, на Камышинке, интересы всего Отечества, прорывались через столетия и вспыхивали с новой силой. Вот и Паллас считал, что расцвет всего этого края связан был с сооружением начатого ещё по плану Петра Первого канала меж Волгой и Доном, довершение которого осталось «великой его преемнице». «Тут я нашёл господина профессора Ловица с г. адъютантом Иноходцовым, приготовляющихся измерять наклонение страны, через которую сей канал должен проведён быть. Ещё видно начало сего канала, сделанное во время государя императора Петра Первого английским капитаном Пери. Положение долины, по которой ручей Камышинка протекает, довольно рыхлое сложение вершин. Камышинку от Иловли отделяющих, и их водою обилующие источники подают к произведению в действо сего великого дела основательную надежду».

Кто знает, чем завершились бы изыскания профессора Ловица, подтверди он возможность строительства в наших краях канала или плотины. Скорее всего, новыми народными страданиями. Что касается отношения народа к возобновлению строительства канала в восемнадцатом веке, то не выражено ли оно в решении Пугачева повесить Ловица? И, взяв Дмитриевск, повесил ведь при стечении окрестного народа!

Путешественник середины следующего века Вердеревский не нашел в Камышине в связи с этим сюжетом ничего примечательного.

хотя идея крупных ирригационных работ в нашем крае продолжала витать, не была отброшена и в новые времена. Слухи об этом еще долго держались в народе.

Переpravляясь с левого берега Дона на правый, Вердеревский разговорился в знаменитой Пятиизбянской станице со старыми казаками. Он спросил их, чтобы как-то войти в беседу:

– Как живете-можете, станишники?

– Какое житье наше... Известно какое, казачье. Тоись, жочевое, – начал было отвечать казак помоложе.

– Два года дома да пять лет на службе, на чужой стороне, – поддержал его пожилой казак с серьгой в ухе. – Всякий должен двадцать пять годов выслужить...

– А чем кормитесь, станишники?

– Землей, ваше благородие, – отозвался тот же пожилой казак. – Перевоз – дело не казачье. А народу хватает... Эвти вот суда расшивают в Дубовке, переволакивают вместе с грузом на Волах в Качалинскую, а тута сызнава сколачивают и спускают на Дон.

«Вот где канал необходим, – подумал путешественник, – ведь между Дубовкой и Качалинской всего-то шесть десятков верст».

И высказал свои соображения казакам. Помялись те, помедлили, в затылках почесали, хотя видно было – свое мнение у них давно сложилось. Его и выразил тот же казак-старейшина:

– Да если бы Волгу сюда напустили, так она нам все луга потопила бы... Мы совсем пропали бы, как можно!

– А я слышал, что хотят канал рыть от Дубовки до Качалинской, – не отступал путешественник.

– Нет, ваше благородие, не бывать евому.

– Отчего же?

– Оттого, что дело это не дается.

– Как не дается?

– Да уж так... Был тут, слышно, один немец, хотел было с нашими реками совладать, да сам и пропал, как собака. Он начал от Волги канаву проводить к реке Ловле... Рыл, рыл. А сам с людьми на судах в канаве сидел. Да как пустил воду из Волги в канаву, как сорвалась Волга с русла, так и немца мудреного, и суда его, и людей всех с ним утопила... С тех пор и не пытались за это дело приниматься!

Вот она, народная оценка: «дело не дается»... Много ли я тогда с каланчи своего детства видел? Чуть ниже Камышинки, но не дальше Соленого затона. Но поди ж ты, уже ведал, что копаются там люди с планшетами и длинными линейками, а потом бегал с мальчишками глядеть на оставленный у Соленого затона этими людьми камень с уверенно начертанными на нем словами. Дескать, будет здесь сооружена Камышинская плотина. А тут еще зачистили из степи сухие горячие ветры, скручивали в трубку и иссушали до трухи всякий живой лист, горела до золы исчерпанная пшеница. И бросали мои земляки простоявшие почти два века дома, гасили печи, забивали окна, со слезами низко кланялись оставленному очагу и покидали родную слободу, когда-то впервые ими освоенные, с перебоями, но все-таки кормившие их земли. Кто знает, где потом осели эти люди, где нашли свое пристанище... Может быть, на стройках и заводах Царицына и Саратова, а может быть, подались еще дальше – в Харьков или в Ростов-на-Дону. Наверное, и в этом сказалось народное отношение к делу, которое «не дается». А может быть, и не так. Далось же веками не принятое народом дело, далось же все-таки и почти на тех же ключевых исторических дорогах междуречья, теперь у самых стен волжской твердыни. И вершили здесь великие дела мои сверстники, дети тех, кто покидал когда-то родные слободские очаги. И Отечество свое здесь отстаивали, и канал Волго-Донский проложили, и великую плотину на Волге поставили!

Но это взгляд с каланчи моего детства на полвека вперед, всего на полвека. А мы имеем возможность углубиться более, чем на два века в прошлое, заглянуть в те далекие дни нашей слободы, когда в нее один за другим въезжали ученые путешественники Иван Лепехин и Петр Паллас. Первый из них имел намерение пробраться на Яик, но оказалось, что «во всем Дмитревске не можно отыскать знающего дорогу на Яик». И далее: «проложенная на Яик дорога с Эльтонского озера уже давно запала, потому что яицкие казаки больше за солью на Эльтонское озеро не ездят». И все-таки адъютант Иван Лепехин решил побывать на Эльтоне, а потом уже через Гурьев и на Яик пробраться. Петр Паллас объезжал впусе лежащие степи от слободы вверх по Волге, а особливо вдоль по Еруслану, Исходным пунктом этих путешествий ученых явилась слобода Никольская. На карте

Палласа она так и обозначена: «Никольская сл.».

Переправившись за Волгу 29 июня 1769 года, Иван Лепехин не задержался в слободе, а в тот же день отправился в дальнее степное путешествие. Может быть, поэтому его описание слободы слишком кратко, неопределенно, лишено конкретных наблюдений, но это едва ли не самое первое известное нам описание. Приведем его целиком, с бережливой полнотой: «Слобода Никольская, построенная против самого Дмитревска на луговой стороне, уже показывала нам преддверие к соляным степным местам. Несмотря на соседство Волги и песчаные места, окружающие сию слободу, в неглубоком земных недр разделении везде оказывалась солодковая вода, что доказывали выкопанные в слободе колодцы. Слобода сия нарочито пространна, и поселены в ней малороссияны, приписанные к Эльтонскому озеру, которые наиболее участия имеют в поставке соли. С них никаких оброчных денег нет; но единственно они обязаны сделать до нескольких поездок на Эльтонское озеро за солью и поставить оную до Волжского берегу. Соль они возят на волах, в сделанных нарочно для этого фурах. За каждый пуд соли получают они из казны по четыре копейки с половиной. На паре волов вывозят по сто пуд и лишком. Обедневшие по какому-нибудь случаю, которые не в состоянии купить волов, получают на то казенные деньги с тем, чтобы на них завозить соль.

Кроме сих поставщиков, есть много и других охотников, которые приезжают из Малороссии с тем, чтобы им дозволено было развозить соль во внутренние российские места. Всяк из таких наемщиков обязан, прежде нежели получить дозволение везти соль, куда ему потребно, сделать три поездки в пользу соляной пристани за указанную цену».

8 августа 1773 года после полудни переправился через Волгу Петр Симон Паллас и покинул слободу Никольскую уже в сумерки. Путешественник этот был чрезвычайно пунктуальным человеком, и в его записках обозначено, что слобода находится от Дмитриевской крепости в четырех верстах: «Сия слобода лежит вкось к Камышинке, несколько выше, на песчаной пологости одного рукава, составленного Волгою. Ее населяют по большей части малороссияне, кои тут ради соляного привозу поселились. Сие местечко имеет более трехсот

домов, одну деревянную хорошо построенную церковь и множество мелочных лавок, кои по большей части живущим тут россиянам принадлежат. Для провозу соли из Ельтонского озера учреждена здесь экспедиция, где низовой соляной конторы член находится с потребными для оной писцами и командою. Как при самом местечке, так и на ближайшей двумя островами отделенной Воложке Солянке, отделенной от слободы на три версты простирающимися песками, построены большие соляные магазины и анбары, из коих нагружают суда, отправляемые вверх по Волге. Около слободы на песчаных возвышениях построены многие ветряные мельницы по малороссийскому образцу, а на рукаве реки Волги, по которому вода весьма стремительное течение имеет, содержатся некоторые мельницы на судах».

Вот такое ценнейшее, с подробностями описание сделал Паллас. В чем-то он совпадает с Лепехиным. И не мудрено, прошло всего несколько лет. Правда, Паллас более точен и в определении места расположения слободы, и в описании ее окрестностей. Слободу Никольскую, со всех сторон окруженную песками, он нашел чуть выше впадения Камышинки в Волгу, на песчаной пологости волжского рукава. Ещё три версты простирающихся вниз песков, еще два острова, и вот она – Волга, Воложка Солянка с большими соляными магазинами и амбарами. Такие же пристани в самой слободе, а около нее, на песчаных возвышениях, – мельницы-ветрянки. Дома все в низинной части построены на сваях. Правда, Паллас прошел мимо этой существенной подробности, но Павел Рунич дополнил его: «В сей слободе у всех жителей малороссиян построены дома высокие, ибо по разлитию Волги на луговую сторону затопляется все селение».

Буквально «у всех жителей», «все селение». Это – «на песчаной пологости», а вокруг – «глубокие пески» на несколько верст, песчаные бугры за слободой, простирающиеся пески. И никакой растительности, кроме одинокого дурнишника... Вот куда пришли наши предки, вот где поселились они – у края бестравной, высохшей степи. Вот что представляла собой Никольская слобода в конце 60-х и начале 70-х годов восемнадцатого века, в канун пугачевского движения и в самое время его трагической развязки, в этих степях наступившей.

Самой слободе, возникшей на вымершем месте хутора

Дмитриевского, было тогда чуть более двух десятков лет. Это была ее молодость, еще не расцветшая юность. Путешественники видели, что слобода – «нарочито пространна», «имеет более трехсот домов, одну деревянную хорошо построенную церковь, «множество мелочных лавок», «многие ветряные мельницы», «некоторые мельницы на судах», соляную экспедицию с писцами и команду, большие соляные магазины и амбары, соляную пристань... А по ревизской сказке 1775 года проживало в слободе около пяти тысяч душ мужска и женска пола, как принято было тогда записывать. И прирастало ведь население ежегодно, несмотря на великую смертность и природные тяготы этих краев. Годы были тяжелые, солнце палило нещадно, одна засуха сменялась другой, зимы стояли суровые. Были и беглые, и разбойные люди. Раньше бежавшие к самому Пугачеву, познав горечь поражения, объявляли себя атаманами и скрывались в окрестностях, а с весенним разливом Волги прорывалась, разгуливалась их стихия и удаль и вновь затихала.

В это время и ринулись наши путешественники в дикие, пугавшие пустынностью и безводием степи наши. Им-то мы и обязаны правдивым, хотя, может быть, и немного наивным описанием ее жизни – чахлой в то засушливое время растительности и животного мира в их первоизданном, еще не очень тронутым человеком состоянии. Все выгорело к августу, и путешественники не застали весеннего буйства степной природы, но самые разнообразные полыни, перекасти-поле, татарники и татарскую лебеду, всякие солянки, многочисленные травки они описали обстоятельно.

«По Торгуну степь, по словам Палласа, весьма ровна, и притом чрезмерно суха и пуста. Мягкий ил или, лучше сказать, грязь, покрывающая сию степь, по большим дорогам превращается в весьма тонкую и летучую пыль, которая при нынешней засухе от малейшего движения, высоко поднимаясь в воздух, путешественников марала и тем для них весьма была неприятна. Однако между Торгуном и Ерусланом гораздо меньше соленых произрастаний находится, и обыкновенно ничего там не видно, кроме изсохшей травы и полыни».

Но даже в эти засушливые лета путешественники находили на пересыхающих степных речушках, ручьях и лиманах «великое множество» всякой птицы – уток, чапур, диких гусей, лебедей, дудаков.

Тучи степных жаворонков встретил Паллас вблизи саратовской солевозной дороги, а вдоль реки Еруслан «в великом числе» паслись сайгаки...

Несмотря на бесплодность степи между Ерусланом и Торгуном, по словам Палласа, «до сея страны простираются многие сенные покосы и некоторые хуторы, в коих малороссияне с тяглым их скотом зимою живут». Но основное место выпаса скота и заготовки сена – ручей Кура с его мокрой долиной. На картах он показан как Мечента, но такого названия здесь не знают. При истоках этого ручья «ради скотной пастьбы» даже заложена небольшая малороссийская слободка, а ее «жители питаются наиболее от провозу соли и токмо нужное отправляют хлебопашество».

Все больше удаляясь от Волги в глубь степи, которая спустя столетие будет названа его именем, Паллас все реже встречал даже одинокие жилища, и только в том месте, где саратовская солевозная дорога отделилась от Еруслана, встретился одинокий умет с харчевней, давший приют путешественнику. После этого вновь пошли по степи, в которой «ни единой стези не было».

Совсем бойкую дорогу из Никольской слободы в глубь южных от нее степей избрал Иван Лепехин. И эта степь от чрезмерной засухи была бестравна, но шла через уметы и была оживлена. По всей предэльтонской степи, как заметил путешественник, «прыгали разных видов кузнечики», а преобладала среди них прожорливая саранча африканского и американского происхождения, с круглой понурой головой и с желтыми развитыми челюстями.

Особое впечатление не только на путешественника, но и на всех наших предков производила гнездившаяся в земле тварь, по имени тарангул:

«Тарантулы в степи приготовили нам новое зрелище. Мы, выкапывая их гнезда, приметили, какое оружие тварь сия противу гонящих себя употребляет. Как она видит, что ей все средства пресечены к побегу, становится неподвижно и, надувшись, прыскает из спины белый сок аршина на два, подобно как бы он пущен был из насоса... Караульные казаки на Могутинском умете уверяли нас, что одна малороссиянка в Никольской слободе, к великому своему несчастью, ядовитость сего сока извела. Она, вырыв такого паука

в своем огороде и ворочая его палочкою, опрыснута была помянутым соком, от которого в скором времени рука загорелась и опухла с нетерпимою болью...».

Вскоре устроено было еще одно зрелище – позорище. В хрустальную банку посадили до двух десятков тарантулов, а путешественник и казаки из умета расположились поблизости, чтобы наблюдать за необычным опытом. Поначалу тарантулы «покушались вырваться из заключения, и всяк про себя делал паутинную лестницу, по которой взбирался вверх, и, суетясь друг перед другом вытти из банки, пришли в суматоху, от которой произошло кровавое сражение. Победенные и уязвленные старались от победителей спастись бегством; но победители, всегда гоняясь, налагали новые раны до тех пор, пока неприятелей своих не положили на месте. Сим они еще не были довольны; но по примеру некоторых древних американцев пожирали тела, оставшиеся на сражении. Вражда их еще совсем не миновалася; но они продолжали свой бой по русской пословице: кто ково смога, тот тово и в рога. До тех пор, пока из всех один остался победоносцем».

Молодой естествоиспытатель не мог оставаться беспристрастным наблюдателем паучьего позорища. Он хитро улыбался, а, вспомнив русскую пословицу, еще и поглядывал за караульными казаками: как они воспринимают смертельную схватку тарантулов. Откровенное побоище недвусмысленно намекало на людские страсти и пороки.

Вскоре в степи, у того же Могутинского умета, устроили еще одну забаву. На этот раз в центре внимания оказалось необычное в этих краях, редкое животное – земляные зайчики с длинными хвостами, с лопаточкой на конце, с очень вытянутыми задними ногами и чрезмерно короткими передними. Участники этой забавы добыли из земляных нор до десятка молодых особей и тут же убедились, что зайцы эти «такой имели стремительный бег, что никакая собака догнать их была не в состоянии». «Мы пускали их в своем кругу, имея каждый по палке; однако ни одного не могли убить: ибо они не прямо прыгали, но на все стороны, куда им захотелось, виляли, управляя свой бег хвостом, а иногда, оным подпираясь, делали скачки слишком аршина на два. Мы им отрубали хвосты в разной длине, отчего извилистый их бег соответственно уменьшался, а кургузые совсем не в состоянии

были бежать: но, став на задние лапы и не имея от хвоста опоры, через спину кувыркалися».

Зрелище оказалось более чем странным, но ради науки и не на такие опыты пойдешь!

К вечеру 4 июля 1869 года лепехинская экспедиция возвратилась в Никольскую слободу и вынуждена была заночевать здесь из-за сильной непогоды на Волге. Но ни о слободе, ни о ее людях Иван Лепехин не сказал более ни единого слова.

Прошло полвека, продутого сквозняком истории, захватившим самым краешком великого своего крыла и Никольскую слободу, переименованную в 1794 году в Николаевскую. Правда, по привычке ее нередко именовали и по-старому, а в народе совсем просто – Николаевка, хотя выросла она за это время до размеров большого города, уступая по числу населения только губернским городам Астрахани и Саратову.

Ссутулившись, горестно прошел слободу Пугачев, взял лошадей, продовольствие и, петляя, ушел в степи. Вслед за ним ненадолго остановился в слободе еще молодой полководец Суворов. Бывал в этих краях, знал о слободе Никольской и громогласный Гаврила Державин, интересовался ею и сам Пушкин, работая над «Историей Пугачева», а герои его «Капитанской дочки» своими глазами видели плывущие по Волге плоты-виселицы с повешенными бунтовщиками...

Совсем недалеко отсюда прогремела Отечественная война 1812 года, но эхо ее докатилось и за Волгу, а в самый канун восстания декабристов появился в наших краях издатель и редактор «Отечественных записок» Павел Свиньин. Любитель путешествовать, он объездил чуть ли не всю Россию и, будучи человеком состоятельным, делал это широко, средств не жалея. Прибыл он из Саратова на собственном суденышке в сопровождении Д. И. Петрова, стоявшего тогда во главе Саратовского соляного правления.

Из Камышина суденышко редактора «Отечественных записок» отправили в Дубовку, а сам именитый путешественник со знатной свитой на обычной лодке при сильном ветре и явных опасностях переправился в слободу Николаевскую. Здесь он нашел, как и следовало ожидать от человека восторженно-официозного, сплошное процветание.



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Рисунок А. Токарева

Пока готовили удобный экипаж для знатных путешественников, они удовлетворяли «свое любопытство в осматривании Николаевки и исследовании всего касающегося ее жителей». Обитаемая преимущественно солевозцами, Николаевская слобода, как оказалось, ничуть не уступает Покровской и «являет повсюду следы чистоты и довольства жителей; одним словом, вид того благоустройства, которое есть несомненный знак благоденствия поселянина и отеческого попечения о нем начальства. В церквях, коих три, заметно повсюду богатство и преданность к вере прихожан; многие образа покрыты серебряными ризами, а при кладбищенской устроена богадельня для призрения престарелых обоего пола людей. На базаре довольно лавок с товарами, в коих можно найти не только все нужное для жизни крестьянина, но и для удовлетворения сельских прихотей».

Путешественник просто захлебывался в своих рассказах о процветании соляного промысла, описывал строительство луговых запасных магазейнов, перестройку ветхих корпусов, сооружение новых больших амбаров, каждый на сто тысяч пудов соли, а при них кантари – механические весы на каменных фундаментах.



1913-1937. Рисунок А. Токарева

На луговой стороне Павел Свиньин застал более шестидесяти магазейнов. «Быв выстроены отдельно от селения, на крутом берегу Волги, они представляются издали порядочным городком». И действительно, здесь, как и на самом Эльтоне, сооружена целая крепость, обнесенная земляным валом. Добыча соли год от году росла, и в канун Отечественной войны 1812 года перевалила за 10 миллионов пудов. В Соляном затоне все амбары были забиты, большое количество соли скопилось в буграх. Шла перевалка ее не только в камышинские магазины оптовой продажи, но и в саратовские горные с помощью оборудованных для этого первых купеческих пароходов. С 1812 года открывается продажа соли на озере и в Николаевской слободе, появляются новые пристани, растет количество рабочих по вольному найму.

Можно себе представить, с какой непосредственностьюзнакомился с процветающей слободой редактор большого журнала. По слободе он разъезжал в обществе управляющего Соляной конторой. Слободской голова Федор Кравченко подобострастно заглядывал гостям в глаза, угадывая их желания, и не переставал низко кланяться. А гости то церкви осматривали, восхищаясь их богатством, то общественные магазейны с запасным хлебом, то

проверяли исправность пожарных инструментов и готовность пожарных команд, то в школу заглядывали, то в запасные магазейны с дегтем, колесами и всякими припасами для фур, то в больницу, а то и в богадельню для престарелых. И уж с особым пристрастием редактор «Отечественных записок» расспрашивал слободского голову о порядке вывоза соли с озера, о вновь приписанных к этому делу слободах.

Неужто страсть к путешествиям да точившая душу любознательность и в этот раз одолели Павла Свинына, заставили отправиться в дальний путь, принять на себя немалые расходы? В петербургских кругах, оказывается, ходили слухи о добром целебном действии Эльтонских грязей, особенно, если пользоваться таковые от ревматизму. Вот и решил непоседливый наш писатель и художник испытать их действие на себе.

Что ж, пора и в путь отправляться. Экипаж готов, осмотрен с удовлетворением, свита в сборе. Выехали вечерком, чуть спала жара. Впечатления тут же обступили со всех сторон, но пусть их выразит сам автор путевых записок «Поездка на Эльтонское озеро». Пусть это будет его монолог со всеми вытекающими из него интонациями и выводами: «Путешествие по голой, ровной степи было для меня совершенно ново... Равномерно и повозка наша по удобству и странности конструкции своей обращала особенное мое внимание: это была *долгуша*, или *карандас*, — национальный здешний экипаж, состоящий из длинных дрог в пять и пять с половиной аршин, на середину коих прикрепляется обыкновенная кибитка. В ней так покойно, как в лучшей английской карете. Долгуша есть самый выгоднейший и приятнейший экипаж для степей. Мы летели на нем, как на крыльях, по гладкой степи, и более двух часов не представлялось моему взору ничего, кроме беспредельности сей равнины, теряющейся в отдаленной синеве...

Вдали нечто закурилось; привычный глаз нашего вожатого открыл, что это был караван солевозцев, тянувшийся по дороге к озеру длинную струею... Скоро мы поравнялись с ними и обогнали их. Обоз шел в большом порядке, вожак кучами следовали за ним по сторонам одного или, закутавшись кошмою, лежали в повозках. Значки *билетчиков*, выставленные на длинных шестах впереди повозок и

испещренные разными эмблемами и флагами, колебались в воздухе и отражались яркими цветами.

Вскоре мы наехали на другой подобный караван, расположившийся для отдыха вокруг колодца. Он издали казался деревнею или крепостию. В квадратах, огороженных фурами, разведены были светлые огни, огромные котлы висели над ними на вилках, а вокруг их сидели живописные группы с трубками во рту и в разных положениях.

Несмотря на величайшую скорость, с какою мы летели на покойной долгуше нашей, мы не могли, однако, добраться засветло до Ковалева хутора, и глухая ночь застала нас посреди степи. Боясь сбиться с дороги в темноте, мы решили остановиться и разбить бивуак свой под открытым небом. К счастью, резкий, но весьма теплый ветер рассеивал тучи комаров, царствующих в сих пустынях; без чего нельзя было бы отважиться остаться на чистом воздухе. Набрав достаточно кизилю, мы развели большой огонь и, поужинав исправно дорожным запасом, расположились отдыхать на длинной кошме и мягко, и безопасно».

Прямо скажем, тяжеловато даже для своего времени писал издатель «Отечественных записок». А ведь совсем вскоре «Отечественные записки» стали едва ли не лучшим, самым передовым журналом России. Да и был Свиньин фантазер великий, современники не во всем и не всегда верили ему. Но, согласитесь, фантазер этот сделал великое дело, увидел и сохранил для нас живописную встречу в степи с чумаками, дальними предками нашими, а мы теперь окунаемся в мир их жизни, в повседневный быт, который они принесли сюда, за Волгу.

Однажды, совсем случайно, оказался в наших краях заезжий предприниматель. Он-то и рассказал, что еще в середине прошлого века во многих домах за Волгой видел лубочную картинку, на которой изображен запорожец «с поджатыми ногами, держащий в одной руке люльку, то есть трубку: подле него бандура, а по другую сторону – лошадь». Внизу картинки начертана следующая надпись: «Казак, душа правдыва, сорочки немає; колы не пье, то гуляе». И хотя заволжские чумаки совсем не ровня запорожским казакам, но что-то сходное лежало то ли в основании характера, то ли в вольной манере держать себя.

А вот нашего издателя трудно причислить к храброму десятку. Расположились на ночь на больших мягких кошмах, лежа на них, как объяснили любознательному путешественнику, можно быть безопасным, потому что тарантулы и скорпионы по какому-то инстинкту не смеют к кошмам приближаться. Может быть, боятся длинной шерсти? И все-таки гость наш не мог долго заснуть. Тревожно было ему в степи. Память подсказывала: где-то здесь «в недавние времена еще рыскали дикие орды». Вдруг вдалеке раздался заунывный вой хищного волка, и, кажется, совсем рядом «мелькнула, как привидение, робкая серна, встревоженная отголоском кровожадного своего неприятеля», а к дымящимся головешкам «тянется медленно, осторожно огромная змея: яркие глаза ее, как искры, блистают в темноте ночной и открывают гибельный путь ей».

Вдруг во тьме ночи разглядел Свиныин еще одну тревожную, почти сказочную картину – черный нетопырь сел на белую шапку калмыка, беззаботно храпевшего у костра. У путешественника даже сердце зашло и холодные мурашки прошли по спине. Он готов был уже будить своих спутников и тут же отправляться в путь. Времена-то были романтические, но страх и в ту пору оставался страхом. Только пылкое воображение могло поселить в степи робкую серну, когда и сайгакам уже негде было укрыться.

Едва забрезжило утро, двинулись дальше. Вскоре, правда, стали тревожить новые, уже по части обоняния, неприятности – серносоляные запахи. Наконец с небольшого возвышения, когда до озера оставалось не более пяти верст, сие последнее, как мог выразиться только взволнованный путешественник, открылось его взорам «в самом очаровательном виде». «Воды его казались покрытыми фольговою пленкою фиолетового цвета, на коей солнечные лучи преломлялись в разных направлениях по мере приближения нашего к селению. Озеро, быв покрыто лодками солепромышленников, казалось усеянным рыболовами».

На этом можно и прекратить красочный рассказ Павла Свиныина о поездке на соляное озеро Эльтон, на лечебные его грязи, тем более, что путешественник наш в слободу уже не возвратился, а выехал с озера к Дубовке. Можно бы и так поступить, но есть в его путевых записках любопытнейшие подробности о труде и быте наших предков



Добыча соли на Эльтоне. Рисунок начала XIX в.

Там, где в сороковых годах восемнадцатого века сооружена была земляная крепость («Остатки сей крепостцы видны и донныне»), путешественник начала нового века нашел довольно большое поселение с деревянной церковью в центре, созданной усердием жителей слободы Николаевской в 1806 году на месте старинной часовни. Елтонская слобода, по словам автора путевых записок, состояла тогда из казенных домов для смотрителя, воинской казармы, больницы с аптекой, цейхгауза, каменной кладовой и четырех зданий на каменном фундаменте механических кантарей для взвешивания соли. Невдалеке от берега вырыты были сотни землянок для ломщиков соли, которых собиралось здесь в иные годы до двух тысяч человек.

Объехал Павел Свињин на дощанике и все озеро чуть ли не по всей округе, рассматривал его со всех сторон. Он видел, как работают, находясь по пояс в соленой воде, нагие ломщики. На головах у них – большие бараньи шапки от солнца, на ногах – у кого лапти, у кого – длинные кожаные сапоги на деревянных колодках. Но эти одежды не спасают ломщиков от тяжких болезней, солнечных ударов и страшных язв, которые они залепляют воском, лечат заячьим салом, затирают варом, «мазью в колесах от дегтя остающейся»...

Поражает и обилие воинской охраны соляного производства – инвалидная команда из пятидесяти солдат при двух офицерах, отряд астраханских казаков из сорока человек, полурота с пушками и двумя мортирами, еще два пристава с помощниками, а сверх того – кордоны вокруг озера. И все это будто бы – защита от набегов киргиз-кайсаков Букеевской орды. Честно сказать, не столько казахов побаивались в здешних местах, сколько бунтовщиков из самих работных людей. Да еще свежи были в памяти события пугачевского восстания. Подражавшие народному вождю беглые самозванцы не раз объявлялись в здешних местах.

С октября солепроизводство на Эльтоне затихало, но тут же вскоре сменяло его новое событие – на берегах озера открывалась шумная восточная ярмарка во всем разноцветье торжища, скачек и игрищ. В описании Павла Свинына все это выглядит как-то буднично. По его словам, «бывает здесь значительный базар осенью, когда калмыки и киргизы возвращаются с летних кочевьев своих в зимние юрты и пригоняют сюда огромные табуны скота, а купцы, приезжающие из Саратова и Камышина, навозят для них всякого рода товаров, сходных с их вкусом и потребностью. Тогда уединенное место сие одушевляется, оживает! Кочующие народы приносят игры и зрелища, а русские купцы находят свои счета в выгодной мене с ними».

И только снежной морозной зимою караульная команда у озера остается отрезанной от всего мира, прекращается всякое сообщение даже с ближними селениями, лишь «одни калмыки, избираемые из среды здешних казаков, отваживаются перевозить иногда рапорты в Николаевскую слободу».

Жизнь этой к тому времени знаменитой слободы диктовалась тревогами и заботами чумаков, приписанных к Эльтонскому озеру. Взвалив на свои плечи, можно сказать, основную тяжесть вывоза эльтонской соли, они до конца восемнадцатого века несли, оказывается, как и всякие казенные крестьяне, все государственные подати, но землей наделены были скупой, преимущественно для пастбищ. Лишь в начале нового века высочайше повелено было наделить их тридцатидесятиной пропорцией земли на каждую душу по пятой ревизии. Правда, и после этого обмежевание Николаевской слободы надолго затянулось.

Даже птицы облетали Эльтонское озеро. Если уставшие опускались на тяжелую соленую рапу, то подняться на крыло уже не могли. С трудом, годами заживляли свои разъеденные рапою язвы ломщики соли, простуживались на озере, в сырых землянках и гибли от чахотки. По десять-двенадцать оборотов делали чумаки за лето по безжизненной тогда степи. Надрывались они и на Соляном затоне, загружая дощаники и баржи, чтобы казна ежегодно получала от продажи эльтонской соли более двух миллионов рублей чистой прибыли. Многие возчики не могли уже, как уставшие птицы, подняться на крыло и покинуть озеро, к которому были приписаны. Вот и тащили наши предки из года в год тяжкую чумацкую лямку, потом и кровью поливали дольную дорогу на Эльтон.

К середине девятнадцатого века возчики и ломщики соли из Николаевской слободы переведены были на положение экономических крестьян, но некоторые из них и в это время продолжали возить соль по найму. Наступление нового века ознаменовалось многими стихийными бедствиями. Шли они чередой, засухи следовали год за годом, сопровождаясь истребительными пожарами.

Лето 1830 года стояло в наших краях нестерпимо знойное, без дождей, прохлада не наступала даже ночью. Были и предвестники совсем тяжких бедствий – в начале августа началась холера. Она свирепствовала на этот раз люто, гибли тысячи людей, а оставшиеся в живых обезумели и бежали в панике во все стороны, куда глаза глядели.

Таков уж склад человека: стихия отступала, и он забывал о несчастьях, возвращался на круги своя. Да и куда бежать крестьянину от земли, когда землицы этой, пахотной и сенокосной, пусть и не всегда благодатной, даже коварной, было тут, за Волгой, пока еще достаточно и для земледелия, и для скотоводства. Только бы дождичек вовремя. И крестьянин истово и суеверно молился об этом, вновь цеплялся за землю, рвал жилы как и в чумачестве, отдавал земле все силы и старания. А тут еще один урожайный год сменялся другим, ещё более изобильным на хлеб, и иссушенные заволжские степи стали слыть общей российской житницей.

В 1841 году вновь пришла в Заволжье засуха, не смогли снять даже семян для нового посева. Но на этот раз, как ни велика оказалась

беда, выручили запасы, и утраты людские не были так велики. А зимой появился в наших краях странный, непонятно блуждающий путешественник. Звали его Вильгельм Беккер. Кем был этот статский советник из Петербурга, не ведомо, то ли один из заскучавших в столице сыновей знаменитой фирмы музыкальных инструментов, то ли чиновник министерства государственных имуществ, пожелавший объехать после такой беды загадочные степные пространства за Волгой. Кажется, больше всего он интересуется, как прочно поселились здесь новые помещики, создавая в самарском и саратовском Заволжье «прекрасные удельные имения с отличным во всех отношениях устройством». Словно бы и засухи не было в тот год, обошла помещичков...

Вот и мечется блуждающий путешественник с правого берега Волги на левый, посещает народные праздники и как будто бы увлекается бытом народным, но, скорее всего, брюзжит, чем наблюдает. Ни губернский город, в котором он нашел в ненастное зимнее время «ужасную грязь», ни уездные городишки не произвели впечатления на столичного статского советника. Нещадно хаял он Камышин. Дескать, и церкви в нем «самого простого фасада», и речушку Камышинку заметить невозможно – «так она ничтожна». Досталось Царицыну: чуть больше Камышина. И Цареву: всего-то в нем одна тысяча жителей, единственная, только что выстроенная церквушка, а «большая часть домов состоит из хижин, крытых соломою».

Выходит, Николаевская слобода произвела наибольшее впечатление. И совсем не потому, что въезжал в нее в полночь, в канун светлого воскресения Христова. Въезжает, правда, в благостном настроении, что-то даже путает, называет Николаевскую то слободой, то городом. Что было, то было! И слобода кажется ему «Гораздо лучше» только что посещенного уездного Николаевска (ныне Пугачев):

«На противоположной стороне Николаевска рисовался Камышин. Слобода гораздо лучше г. Николаевска: здесь тысячи четыре жителей, три каменные церкви и одна деревянная. Народ здесь промышленный и живет хорошо. Каждую зиму съезжаются сюда чиновники с знаменитого Елтонского озера, находящегося в Царевском уезде, не в слишком далеком расстоянии от Николаевска...».

Описание, что и говорить, скуповатое. Есть в нем и неточности.

Достаточно заглянуть в ревизские сказки слободы по шестой ревизии (сентябрь 1811 года) «о состоящей во оной мужеска пола казенных малороссиянах и соляных вощиках», чтобы убедиться в этих неточностях. Оказывается, за три десятка лет до того, как заглянул путешественник в наши края, в слободе Николаевской одних только соляных возчиков проживало пять тысяч сто восемьдесят пять человек.

Впрочем, неточности – и еще какие! – допускались довольно часто: искажали название слободы, путались в обозначении расстояния между населенными пунктами и особенно во всякой цифири. Число домов, дворов, количество населения разнились фантастически невероятно. В 1862 году в Петербурге вышло сразу два справочника - «Волга от Твери до Астрахани», популярное в свое время издание пароходного общества «Самолет» с текстом Н.П. Боголюбова и «Путеводитель по Волге» П.П. Нейдгардта. В первом указывалось, что в слободе Николаевской проживает 3.947 душ однодворцев и казенных крестьян, а в путеводителе - 14.000 жителей!

Обратимся теперь к официальным документам. Во втором выпуске «Списков населенных мест Российской империи» (1861) Николаевская слобода при озере Резницком (так величается здесь волжский рукав Воложка) помечена как становая квартира, владения которой простираются на многие версты вниз по Волге за Пролейку, а в степи – за Калмыцкую балку. В слободе 1 459 дворов, 14 429 человек населения. Хорошо известно: такое количество дворов, такое большое население во всей Астраханской губернии было, после губернского города, только в одном месте – в слободе Николаевской. Не будем забывать, что она еще окружена была тесно с нею связанными



Рисунок А. Токарева

большими селами Слободка и Молчановка и многочисленными хуторами вниз по Волге – Очкуров, Солодушин, Гранкин, Краснощеков, Кислово, Калинов (Калиновая балка), Солянка, Быково (Быковы хутора). Вверх по Волге стояли хутора Левчунов, Гоголин (Гоголин), Никуйков (Некуйков), Монастырка. По Еруслану – Косаев, Глодов (Голодовка), Бережнов, Ткачев, Ерусланский. По соляному тракту на Эльтон тянулись 23 умета николаевских крестьян: братьев Крохмалей, Трегубов, Чумаков, Некуйковых, Заикиных, Прокопия Грека, Сидора Чеботаря, Алексея Стрельца, Михайлы Вакуленко, Александра Осадчего, Ивана Коцаря...

В степях за слободой еще кочевали в это время казахи из рода Байбакты – 1980 кибиток, рода Алача – 1700 кибиток и рода Ногай – 620 кибиток. Калмыков за Волгой оставалось совсем мало. До Торгуна и Еруслана они уже не поднимались, и в память о них в наших краях оставался в глубине степи небольшой хутор Калмыцкая балка, где когда-то собиралась большая ярмарка, на которую съезжались со всей округи скупщики скота.

В это время еще прикочевывали из Нарын-песков, из-под Царева татары, потомки золотоордынских ногаев, но и они переходили к оседлой жизни, селились в слободе целыми улицами. Тяга к оседлости появляется даже у казахов. Сын султана Букея Нуралиева, приведшего свою орду в Нарын-пески, хан Джангар, пожалованный в русские генералы, создал за Эльтоном Ханскую ставку, куда переместилась и торговля скотом, а в 1841 году был построен летний дворец хана на Торгуне. Скромные мазанки простых казахов появились и в слободе Николаевской, на песчаных бурунах ее окраин.

В 1883 году вышел четвертый выпуск официального издания «Волости и важнейшие селения Европейской России», в котором волостная Николаевская слобода при протоке Резницкой Воложке, в степях за которой уже и Европа кончалась, характеризуется в цифрах по многим направлениям. Дворов 2 550, жителей 15 300, 4 приходских церкви, школа, 5 кожевенных заводов, 4 кирпичных, 15 маслособойных, 2 салотопельных, 85 лавок, почтовый двор, базар, две ярмарки.

А в Николаевской волости – два сельских общества, две общины, двенадцать селений в 2 813 домов, (по ревизии, 8 198 муж. и 9 092 жен. по семейным спискам). Всего в волости 491 771 десятина земли,

21 512 десятинов пахотной, но во владениях крестьянских обществ – 92 995 десятинов всей земли и только 11 398 десятинов пахотной.

К концу века совсем подробные сведения сообщает издание центрального статистического комитета Министерства внутренних дел «Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897», выпуски и тетради по Астраханской губернии. В слободе Николаевской (Николаевка) в это время проживает 20 725 человек да и вокруг более двадцати одной тысячи человек на бывших хуторах, ставших селами – Быково, Кислово, Слободка, Бережновка (Бережнево), Солодушино, Александровка, Молчановка.

В густоте этой цифири едва не промелькнули совсем любопытные сведения: днем с огнем не нашли в слободе никаких иностранных подданных. В это же время в слободе проживало около тысячи младенцев, не достигших еще и годовалого возраста, пять мужчин и двадцать одна женщина в возрасте около ста лет, и только пять женщин прожили более века. Если среди этих тысячи младенцев конца девятнадцатого века оказалось хотя бы с десяток таких же, как их старушки-современницы, долгожителей, то сегодня они уже и наши современники.

Время течёт стремительно. Прошлое может встретиться с современностью, и прочнее всего соединяют их люди... Вот и я, более полувека тому назад совсем еще мальчишка, стою на каланче и восхищенным взором окидываю необъятную свою родину, тогда более чем пятидесятитысячный город. Он вытянулся на десяток километров вдоль Волги и стал у самых истоков родных степей, уходящих далеко за горизонт, к Уралу-реке, в Оренбуржье. Где-то в самой глубине этих степей, у Торгуна, родился мой отец. Там прошло его детство, там погиб мой дед, там мальчишкой не раз бывал и я вместе с отцом, учившим меня понимать эти степи, знать их дыхание, каждую былинку и все причуды.

Мы еще, дорогой читатель, объедем эти степи вместе, не раз задумаемся над их жизненной силой и их ролью в судьбе нашей. Только теперь вот, стоя на каланче детства моего, впервые увидел я вместе и Волгу, и степи заволжские, тонувшие в бесконечно далекой дымке. Безмерная голубизна неба одинаково обнимала их, солнце калило одновременно щедро, волжская волна ласково набегала на



Мостик. Картина А. Токарева.

окраинные песчаные буруны, горячо дышавший из степи ветер шутя играл с волжской волной.

Много ли я мог видеть с каланчи своего детства? Даже если умишко поднимался над малым возрастом на цыпочках? Разве мог я познать тогда, как трудно вступало человечество в новый двадцатый век, век нашей жизни, нашей молодости и зрелости? Знал ли тогда, как горячо вспыхнуло всего десяток лет назад и полыхнуло пламя

великой революции, перевернувшей весь прошлый уклад жизни и резко изменившей судьбы моих дедов и отцов, а значит, и нашего поколения? Уже при мне, на моих глазах вступали мои земляки в новое переустройство, названное коллективизацией деревни. Иные из них уходили в большие города, уходили строить новые заводы. Это было новью, живой, пульсирующей современностью. В то же время я видел это уходящее прошлое, видел его в тихом последнем цветении, в самый канун угасания. Я радовался каждому открытию, мой малый мир обогащался миром большой жизни, я познавал жадно, задыхался от радости познания своей родины, я дышал воздухом своего времени и еще не знал, что дышу воздухом самой истории.

– Дывысь-дывысь, покы нэма дядьки Василенки, – приговаривал одинокий Харитон Хруц, ласково ероша мои выгоревшие волосы..

Тут он глянул вниз и осекся, медленно опустил нас, пригретых им, растаявших от добра пацанов. Я уже успел увидеть, как, широко вышагивая, вывернул из-за угла Иван Василенко. И вот уже на бугре, движется к пожарке. Мне даже кажется, что я вижу, как он шевелит усами, даже будто бы слышу, как басовито порывивает, предвкушая, словно серый волчище из сказки, как он съест меня.

Петька Василенко-младший струхнул, казалось, больше меня. И не за меня струхнул, а сам по себе. Он побледнел, глаза его воровато забегали. Понял и я, что надо как-то спастись, и первым затопал по лестнице вниз. Как часто перебирал я ногами, одному богу известно, но на сеновале оказался в одно мгновение. На следующем марше я услышал со двора пожарки голосище Домового. Так басовито могла звучать пустая бочка, когда в нее сильно просунешь голову и закричишь что есть мочи.

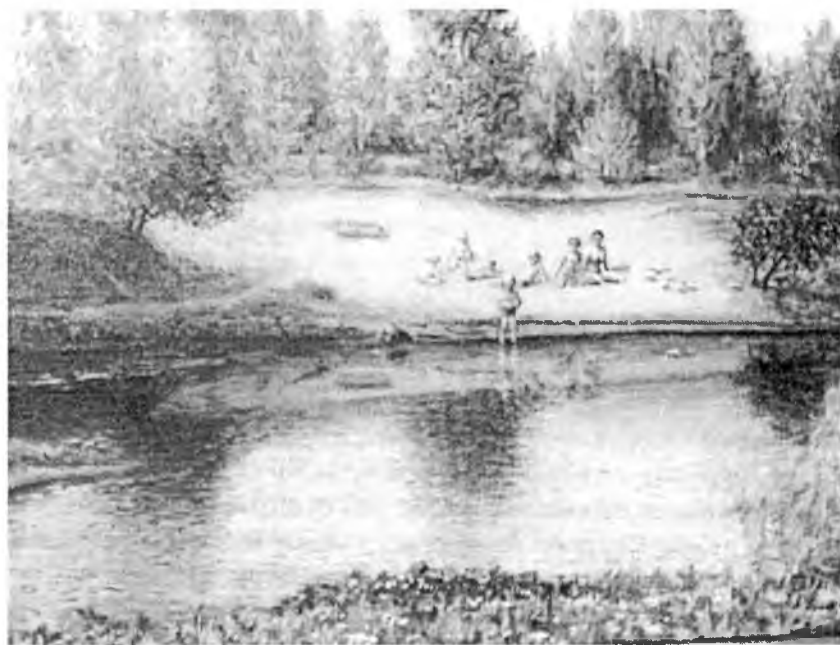
Что-то оборвалось у меня внутри, ноги подкосились, стали ватными, и я начал мягко спускаться, чуть цепляясь руками за гладкие края лестницы. Но скорость нарастала, будто летел я на ледянке от самой пожарки чуть ли не до самого моста. На последнем марше какая-то сила перевернула меня на живот, я безнадежно вытянул руки и начал сползать вниз так, что только голова тряслась на руках, как на рубеле, подпрыгивая на каждой ступеньке. Приземление на клочок сена оказалось мягким.

Но в проеме дверей уже стоял Домовой, освещенный со двора

таким пронзительным солнечным светом, что я видел перед собой только черное, огромное, почему-то мохнатое чудовище. Можно еще было ринуться под ноги этого чудовища и как-то вырваться на волю, но я метнулся в сторону и оказался на куче навоза у самого крохотного конюшенного оконца. Высунул – была не была! – на свет божий голову, подался вперед плечами, оттолкнулся и - рухнул в крапиву.

Семя крапивное жгло, кажется, до самых внутренностей. Сгоряча подскочил, словно мячик, и без слез, мужественно и важно начал пересекать улицу, направляясь к дому,

Мать уже вернулась с базара и, завидев меня, только руками всплеснула. Предвидя новые и явно несправедливые беды, я не выдержал и горько заревел. Откуда мне было знать, что за незнание мира, за уроки истории надо чем-то расплачиваться.



Озеро Песчаное (детское). Картина А. Токарева.

ПОД КОЖУШКОМ

Когда и откуда появилась в нашем доме бабушка Шура, я теперь не смогу припомнить. Мне кажется, она всегда жила с нами, а сквозь мое детство прошла светло, радостно и тревожно. Мир совсем уже не детской жизни и ещё загадочных человеческих отношений открывался мне через неё. И теперь, когда я думаю о ней, в моей памяти возникает что-то сокровенное, бесконечно манящее, нечто цельное, стержневое... Не материя, а живой дух. Руками не схватить, не пощупать, невесомое, размытое, совсем призрачное, живущее в человеке как начало всех начал, скрытно. Но без такого стержня каждому из нас, кажется, и поле не перейти, не то, чтобы – жизнь прожить...

Вместе с бабушкой в красном углу горницы загорелся мерцающий огонёк, и запахло лампадным маслом. Всегда подвижная, огневая, задорная, открытая добру и вместе с тем скорая на острое слово, она смирялась, стоя перед скорбным ликом Матери Божьей. Сама в такие мгновения походила на этот лик, словно с неё писал художник знакомую с детства икону, обнесённую темным загадочным окладом и таинственными в мерцании огня, почти живыми цветочками. Ивановна или Гурыха, так звали чаще за глаза бабушку её ровесницы и подружки, звали по нашей искаженной преобразованиями фамилии.

Из уважения к бабушке замирал и я, старался в такое время не мешать. Задирая белобрысую головёнку к иконе, вглядывался в святой лик, тут же незаметно посматривая на бабушку, И она казалась мне красивой и молодой, как на иконе, гордой, с тонкими чертами

лица, вытянутым с горбинкой носом и грустными глазами, заигравшими в бликах лампадного света и неожиданно озорными огоньками. И в этом лице с тех пор я всё больше узнавал свою бабушку, писаное казалось теперь живым, словно Матерь Божья сошла с иконы и стала бабушкой. Я жался к ней и ощущал живое тепло, радовался её ласке, как самой жизни.

Мать моя недолюбливала бабушку за выдуманную неопрятность, а может быть, за горделивую независимость, за остроту суждений, за самостоятельность житейского опыта. Бабушка прожила нелегкую жизнь, хотя и выросла в достаточно известной в наших краях семье Бережных. Чем взял такую жизнерадостную писаную красавицу, высмотрев её в диких Суслячьих степях, дедушка мой Гаврила, не знаю. Чем больше недолюбливала мать бабушку, тем сильнее любил её я.

Бабушка Шура, скорее всего, с благословения матери и отца крестила меня, но я знал об этом знаменательном событии только от бабушки. При этом она так заразительно хохотала, что я запомнил на всю жизнь её веселое повествование.

В тот день разоблаченного догола при всем честном народе оставили младенца, а проще говоря, меня, на какое-то время и на всеобщее обозрение перегруженные суетной деятельностью служители культа. Как вспоминала бабушка, я обиделся на них, начал кривить посиневшие губы, предупредительно вякал что-то, но, когда розовенький молодой поп из Успенья или из Покрова (без бабушки теперь и не припомнить название церкви) опустил меня то ли в слишком горячую, то ли в совсем холодную купель, я заорал невыносимо дико, во всю мощь развитых ещё небольшим опытом легких и стал пускать пузыри. Суетливый попик испугался, спешно извлек меня из купели и передал бабушке, выпроваживая её вместе с моим криком, словно опасаясь цепной реакции, солидарности со мной ждущих своей очереди младенцев.

Бабушкины озорные гены, видно, уже прочно входили в ещё не совсем окрепшее тельце внука, и мне, рабу божьему, понравилось орать в церкви и слушать возвращающиеся откуда-то из-под купола и высоких пределов раскатистые басовитые звуки. Беда моя заключалась в том, что бабушка Шура не решалась оставить дома

подростающего внука в одиночестве, она прихватывала меня в церковь всё чаще, заставляя выстаивать вместе с собой затяжные однообразные службы.

Испытав несколько невыносимых, тягостных для своей природы стояний, я начинал протестовать. Рвался, бывало, на волю ещё до подходов к церкви, но бабушка выволакивала меня к самой церковной решетчатой изгороди, чуть не выдергивая одну руку, в то время как другой рукой с зажатой в ней толстой хворостиной я успевал зацепить все детали церковных заградительных средств, словно вертел в руках сторожевую трещотку. На какое-то время уже у самой паперти я притихал: пугало обилие юродивых в тряпье и старух-нищенок с торбами.

В самой церкви какую-то часть службы я ещё выстаивал, но довольно скоро начинал переступать с ноги на ногу, хныкать, проситься домой. Если бабушка, теряя бдительность, выпускала мою руку, я тут же исчезал из церкви, и бабушке уже ничего не оставалось делать, как поторапливаться на розыски ускользнувшего внука, пока не успел он начать новые проказы.



*Храм Николая Чудотворца,
именем которого была названа
слобода Николаевская.
Рисунок А. Токарева.*

Бывало, водила меня бабушка в церковь и на святое причастие. Вкусив всю сладость этой процедуры, я поджидал такие события и охотно шёл за бабушкой, даже забегал вперед.

Пришли мы как-то по такому случаю в заглавную нашу Никольскую церковь. Народу было – тьма-тьмущая. Из алтаря выбегали с просвирами на подносах молодые в свободных и длинных одеждах верзилы-послушники, лавируя ловко среди прихожан и норовя зацепить, а то и пихнуть беззащитного пацаненка, притихшего в ожидании святого причастия. Что и говорить, процедура была

приятная, хотя, к сожалению, совсем непродолжительная, а ожидать её приходилось безропотно, в порядке живой очереди. Не успеешь получить скупую ложечку густой сладостной жидкости, как надо уже уступить место.

Бабушка, правда, никогда не торопилась покидать церковь. Она обходила приделы, ставила свечи и, поджидая праздничного выхода протоиерея, надеялась ещё насладиться берущими за душу песнопениями церковного хора. На какое-то время я смиренно утихал, замороженный идущими из-под купола божественными звуками. Но когда выходил из парадного алтаря облаченный в сверкающие ризы, упитанный протоиерей и начинал повторять, как мне казалось, одни и те же да ещё растянутые враспев слова, становилось невыносимо скучно. И решил я прибегнуть к испытанному ещё при крещении средству. Набирал в легкие как можно больше перегарного, прогорклого воздуха и выпускал его из себя в едином мощном крике. Но перекричать протоиерея было невозможно, от его трубного баса свечи трепыхались, как мотыльки на ветру, и гасли.

Тут-то я и придумал совсем тонко, просто неприлично по-пороссячи визжать. Бабушка не могла выдержать такого кощунства и вывела меня из церкви. Цель была достигнута. Сколько ни облизывайся, причаститься ещё раз и сильнее – во всю ложку – не дадут, а солнце на улице уже светит во всю, жизнь там полна нехитрыми радостями, какими-то всегда загадочными ожиданиями, а может быть, и маленькими открытиями.

По дороге домой бабушка и отчитает меня, и пожалеет, и даже скуповато приласкает, но матери всё равно не скажет, как я визжал в церкви. Добрая душа, любящая внука бабушка, чего только не делала ты ради меня, родного, у тебя единственного!

Давненько уже заметил я в застекленной горке графинчик темно-вишневой настойки. Когда обходившее горницу солнце касалось лучами графинчика, он вспыхивал ярко и манил густой пунцовой глубиной. Родители не раз напоминали, что детям даже пробовать эту гадкую жидкость никак нельзя. Того и гляди, заболеешь. Да и я, честно признаться, побаивался, хотя не раз был свидетелем того, как на праздники и гости, и родители прикладывались к рюмочкам с домашней настойкой из нашего графинчика и даже похваливали её.

Дома в тот день никого не было. Возбужденный причастием и огорченный его краткостью, я решительно забрался на стул, чтобы овладеть заветным графином, но живительной жидкости в нем уже не оказалось, на дне оставались лишь влажные разбухшие вишневые ягоды. Я тут же принялся вытряхивать их на ладонь и слизывать с неё. Было так сладостно приятно, что иные проскакивали с косточками...

Управившись по хозяйству на летней кухне, бабушка застала меня в горнице уже дремавшим с графином в обнимку. Осторожно извлекла она графин из моих рук, пересекла сени и, выйдя во двор, вытряхнула содержимое у самого крыльца. Боже мой, что тут вскоре началось! Целое цирковое представление! Началось оно не без моего участия. Впрочем, без причастия не было бы начала и у этого представления. Соблазнительно красивый петух наш, как заправский разведчик, знал, когда оторваться от своего куриного войска, и оказался в самое время у самого крыльца. Иссиня-вороной забияка, известный на всю Новоузенскую улицу, при виде поступившего в его распоряжение допайка аж затряс сорви-головой от радости. Воркуя с каким-то особым удовольствием, он тут же склевал подряд несколько разбухших винных ягод, после чего закукарекал так небывало басовито и звонко, с ещё большей, чем у протоиерея растяжкой гласных, что едва вышел из низких нот, но вышел с честью, как заправский певец, как большой специалист своего дела.

Бабушка словно предвидела разворот событий, свидетелями которого мы с ней оказались. Она вытащила меня на крыльцо, усадила на верхнюю ступеньку, а сама присела рядом. И очутились мы во дворе, обнесенном глухим забором, как в цирке, на самом видном и почетном месте. Наш красавец Петя, не дожидаясь подопечных хохлаток, застрявших где-то под заборами в густой лебеде и пасленовых кустах, принялся ещё усерднее склевывать приятные вишенки. Занятие это пришлось ему по душе, и желание ещё и ещё оповещать своих подопечных почему-то пропало. Скорее всего, Петя решил, что не женское это занятие клевать хмельные ягоды. Нерасторопные хохлатки подошли к месту представления не спеша, с большим запозданием, потому и приняли в нем, скажем так, совсем скромное участие.

Наклевавшись, Петя вспомнил об исконных петушиных обязанностях, кукарекнул для порядка пару раз, но как-то уже явно не в полную силу своего таланта. Начал важно отходить от крыльца, парадно выбрасывая вперед безукоризненно желтые лапы со шпорами, картинно задерживал их согнутыми в коленях и одну за другой замедленно опускал на грешную землю, поглядывая по сторонам, словно желая убедиться, какое впечатление это царское его шествие производит на нас, зрителей, для которых и играл он эту заглавную роль.

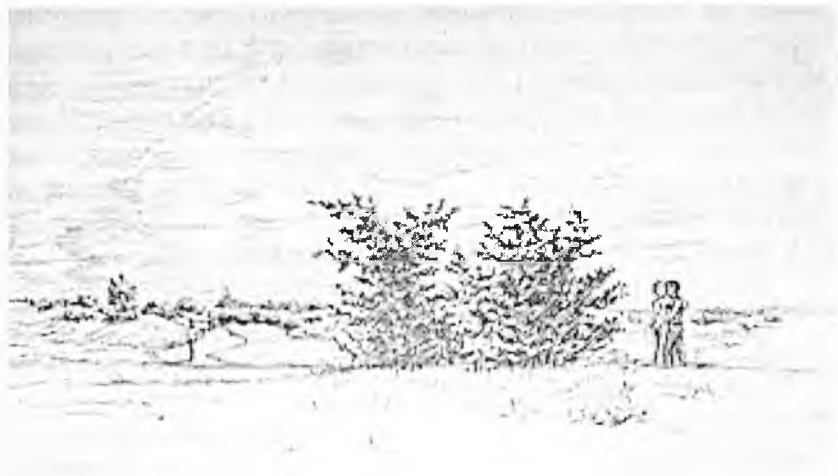
Тут-то нашего героя стало как-то кособочить, он начал странно припадать то на одну, то на другую лапу, едва удерживая равновесие с помощью распушенных крыльев. Кому же ведомо, как ударяет хмель в повинную петушиную голову, а она едва держалась на его ещё гордой шее, но не очень уже замечала, где правая, где левая сторона.

Наш Петя всегда кокетливо носил хорошо украшавший его пунцовый гребень, теперь на наших глазах гребень этот наливался воинственной кровью. И совсем уже что-то неладное творилось с его радужной окраски хвостом, радостным даже среди петушиной династии: он вытянулся, как у индюка, распушился и чуть ли не волочился за ним по земле.

Хохлатки приуныли в непредсказуемом предчувствии. На одну из них охмелевший Петя явно нацелился и начал решительно разбегаться с намерением растоптать избранницу, но просчитался, позорно проскочил мимо. Другую жертву он всё-таки настиг, но оплошал ещё пуще: тут же свалился на бок...

Когда Петя в третий раз взял бурный старт издалека, даже безмозглые куры что-то сообразили, начали шумно разбегаться, хлопая беспорядочно крыльями и издавая тревожные звуки. В одночасье растеряв завоеванный долгим и честным трудом авторитет, Петя неожиданно прекратил разбег, свернул с беговой дорожки, видимо, решил завершить этот позорный день где-нибудь под забором.

Завороженный невиданным зрелищем, я не очень-то понимал весь драматизм происходившего вперемешку с его комизмом, но бабушка получала большое удовольствие, хохотала до слез, а придя в себя, объяснила, что случилось бы со мной, употреби я хмельную вишню



Дорога на озеро Песчаное. Рисунок А. Токарева.

до самого дна графина:

– Слухай батьку да матер. Воны дило кажуть, шоб добра людына из тэбэ выйшла...

И так всегда! Бабушка хотела видеть внука «доброй людыной», ненавязчиво делала всё, что могла, открывала мир таким, каким видела его сама, и радовалась этому вместе с внуком открыто, заразительно. Очень любила жизнь моя бабушка, всё живое любила под этим жгучим, вечно и величественно сияющим над степью солнцем.

А если говорить честно, в эти жаркие летние дни ей недосуг было забавляться с внуком. Надо прежде всего с Пеструхой управиться, раным-рано в стадо отвести, печь истопить, хлеб поднять и вовремя на-под заслонку выложить, сходить в степь за плотину на дойку, молока натопить, всякую живность домашнюю накормить-напоить, Пеструху встретить и опять же подоить, задать еды на ночь. И хотя бабушка моя была крепкая, скроенная навечно крестьянка, к концу дня могла умориться и она...

Как-то в жаркий день, в самый разгар вновь наступающего в наших краях голода, в наш дом забрались воры. Я со сверстниками в это время играл в козенки на заросшей спорышом лужайке напротив нашего дома и не заметил, когда бабушка возвратилась с дойки, а

увидел её, когда она торопливо выходила на улицу. Я уже успел продуть все свои козенки и увязался за бабушкой, догнав её у колодца за нешпоровским домом. Тут-то я и узнал, что воры высмотрели, когда нас не бывает дома, забрались через забор с Ерика в летнюю кухню и унесли всё, что было там съестного, даже топившееся в печи молоко слили из горшков в подойник и унесли. Об этом рассказала нашей бабушке соседка, опознавшая подойник с нашей глаголицей чуть ли не у самого желтого острога, когда одного из воров поймали.

Туда-то мы теперь и спешили с бабушкой. Ещё издали увидели толпу людей, возвращавшихся с тяпками с прополки своих бахч. Некоторые уже, натешившись в самосуде, расходились по домам. Подойдя к окруженному месту, мы увидели лежащего в пыли, на обочине разбитой дороги, тощего, затравленно озирающегося по сторонам человека в разодранной рубахе, со свежими кровавыми пятнами и уже запекшейся кровью на голове. Его и сейчас пихали ногами, норовя ударить в живот, попасть под ребро. Кто-то радовался, что ворюге пустили «юшку из носа», а кто-то с ожесточением требовал:

– Ты ему под дых, под дых дай! Под самую душу, под микитки бей! Не жалея ворюгу!

Уличный самосуд достигал звериного ожесточения, толпа наслаждалась жестокостью, готова была забить человека до смерти, а ворюга уже не мог подняться, только прикрывал голову избитыми руками. Стоявшие поблизости люди знали, что Гурыха из пострадавших, и посторонились, пропустили её к избитому, надеясь, что и она приложится. Бабушка, видно, хорошо знала эти нравы толпы, не спорила, не протестовала. Она нагнулась к ворюге, что-то шепнула ему, помогла встать. Когда он, едва передвигая ноги, пошатываясь, стал уходить, бабушка догнала его и незаметно сунула под рубаху лепешку, какую прихватывала с собой в обед, чтобы дать норовистой Пеструхе во время дойки, если плохо стоять будет...

После этого кто-то подал бабушке стоявший в стороне пустой подойник с нашей глаголицей, но она взяла его неосознанно, а продолжала искать меня глазами в притихшей толпе и, найдя, прижала к себе, обняв за плечи. Я хотел сказать бабушке что-то доброе, но меня, перепуганного страшным зрелищем, била дрожь, и я не мог выговорить застывших во мне слов.

Из всех разделенных с бабушкой радостей и горестей я пуще всего радовался наступлению зимы, первому снегу, сухим морозами, мягким оттепелям после них, когда орава на ораву играла детвора у нашего дома в снежки, в догонялки, когда вываливали в пуховиках-сугробах, натирали снежными катышами уши докрасна и когда даже малышня не плакала, а сама старалась быть в этих играх проворней и удачливей.

Бегала вместе с нами, метко бросала снежки и бабушка Шура, но особенно искусно лепила она снежных баб, лучше, кажется, и не вылепить: с черными угольными глазами да ещё с каким-то хитрым-прехитрым прищуром, с красным морковным носом, живым улыбчивым на всю физиономию ртом, с настоящей, размашисто поднятой метлой, словно вместе с ней решила всю нечисть вымести. Что и говорить, талантливая у меня была бабушка решительно во всем: во взглядах на жизнь, в смелых суждениях о ней, в тонких наблюдениях над поведением людей, в живой словесной передаче этих наблюдений, даже в неистощимых проказах и розыгрышах сказывались остроумие, кипение страстей, находчивость, творческая фантазия моей бабушки. А была ведь она совсем безграмотной! Я и буквы показывал ей впервые, и выписывал их, как в книжке, – печатно, и заставлял её писать так же, и знаки получались у неё ровные, строгие, но она тут же забывала их. Любила, когда я читал ей о природе, о животных, складные стихи любила: радовалась до слёз и гордилась, что внук её ловко овладевает грамотой.

В последнюю перед школой зиму бабушка Шура была особенно участлива во всех моих делах и забавах. Время наступало трудное, полное тревожных перемен. И голодно было, и жилось всем в предчувствии ещё горших бед совсем невесело, но бабушка и в это время не утрачивала радостного интереса к жизни. Приходивший к нам подкормиться прадед мой Петро Данилович как-то по просьбе бабушки сколотил остов ледянки для катания с горы, а уже потом мы с бабушкой (я, скорее, при сём присутствовал, больше мешал, чем помогал) замазали днище остова свежим навозом, залили его несколько раз водой с надеждой получить твердый ледяной слой. К утру ледянка была готова.

Бабушка обрядила меня в новый, ладно сшитый по мне кожушок,

подпоясала красным кушаком, выломала из плетня правило, положила в ледянку сенца, и мы отправились на Мостовую, чуть ли не к самой пожарной каланче, откуда ловкая пацанва спускалась почти к самому мосту через Ерик.

Поначалу помогал мне дальний бабушкин родич, худой рослый Сережка Восьмеркин. Жил он неподалёку от нас, был чуть постарше меня и проворней, ледянкой управлял бесстрашно, с шиком. С ним мы ни разу не перевернулись, хотя летели вниз так, что дух захватывало. Серёга прятал меня между колен, прикрывал своим телом, снежная пороша изморозным облаком клубилась за нами, искорки снега забивались в ресницы, осыпали брови, слезами стекали по щекам, а глаза при этом светились небесной чистотой, и сердце мальчишеское подпрыгивало на ухабах вместе с ледянкой.

Вскоре и меня допустили к управлению, хотя бабушка при этом страховала внизу, чтобы не вынесло ледянку с внуком в Ерик. Когда завозил ледянку в гору не так высоко, удавалось спускаться вполне благополучно. Но азарт нарастал, края ледяные обломилась местами до самого навоза. Разве так важно, что подразбитое транспортное средство не в лучшем техническом состоянии, что оно пошатывается, его заносит? Куда важнее азарт управления, когда ты в гордом и радостном одиночестве скатываешься вниз! Но тут-то и не справился я с ледянкой, зацепил за сугроб и вылетел в клубах снега к парадному крыльцу дома доктора Коблова.

Когда скорая бабушкина помощь подоспела к докторскому крыльцу, я даже улыбался, хотя бабушка заахала и заохала, обнаружив у правого глаза основательный синячище, и уже начала прикладывать к нему слепленную из снега в горсти ледышку. Как и подобает мужчине, я переносил молча и стойко нанесённые жизнью синяки, но когда увидел отодранную от самого пояса полу моего ладного кожушка, совершенно скис и обмяк. Сердце упало, покатилося вниз... Ну, все, достанется мне и на орехи, и на многое другое!

В одно мгновение вспомнился клепаный по-кавказски ремешок, мирно никогда не висевший в прихожей у самого косяка входной двери. Не раз приходилось вздрагивать, когда дверь эту захлопывали, поглядывать и на оживший при этом ремешок. Вот уж погуляет он

теперь по мягкому месту обладателя разодранного кожушка. К сожалению, уже тогда, а в домашней педагогике особенно, наказание брало верх над разумом.

Благодаря бабушке и на этот раз всё завершилось довольно мирно: разбитую ледянку спрятали в летней кухне, а кожушок мой кинули за сундук. Только вечером, когда родители ушли в гости, бабушка искусным швом соединила оторванную полу с кожушком.

От радости я подпрыгивал, приплясывал, целовал бабушку и тут же начинал упрашивать, чтобы перед сном, когда управится, рассказала сказку. И на этот раз на бабушкиной скрыне, высоко поднятой пуховиками и отделенной от прихожей ситцевым цветастым занавесом, забирались мы под большой лохматый кожушок. То ли мерзла бабушка у входной двери, то ли привычными стали холодные ночи степного кочевого житья, да и мне в теплом логове было ловчее проникаться сказочным настроением, дышать под кожушком таинственно-сладостным миром добрых человеческих отношений, перераставших с помощью волшебных бабушкиных слов в живописные красочные картины.

Ах, сколько знала бабушка сказок! И про дела житейские, про мужиков с нашей улицы, со степи Эльтонской, из Сусячых далей за Торгуном. И волшебных – про Иванушку-дурачка, который выкарабкивался из пропастей невылазных, побеждал справедливо и мужественно самого-рассамого Змея Горыныча, всех чертей и ведьм, всяких земных и водяных нечистей и оказывался к окрылявшей меня радости умнее-разумнее придурковатого царя. Сколько житейской мудрости черпал я из мира сказочной жизни, открытого бабушкой: тут тебе и всякие страсти людские, и вечные добрые чувства народные!

На этот раз произошло нечто необычное, не похожее на прошлые вечера. И бабушка вела себя как-то странно, и сказка оказалась страшной-престрашной. Я уже пригрелся под кожушком, а бабушка убирала со стола на кухне и весело с присказкой сказывала:

– Летала сова-весёлая голова, летала-летала и села, хвостиком повертела да по сторонам посмотрела... Жил старик со старухой. У них было пять овец, простой жеребец, седьмая телка. Была у них кошечка-судомочка, собачка-пустолаечка, овечка да коровушка.

Была старая свинья, не ходила никуда. Взял волк свинку за белую спинку, за черную щетинку. Понёс волк свинку за пень, за колоду, за белую берёзу, стал свиные косточки глотать, свиных родителей поминать...

Лучше всего получались у бабушки анекдоты, и рассказывала она их на украинском языке один за другим, со значительными паузами для размышлений:

– Бежит мужик, а навстречу йому идэ москаль. Мужик пытае у москаля:

– Москалю, москалю! Чи не находыв ты торбынки, а в торбынци витеропок да дви поляныци?

– Что?

– Чи не находыв ты торбынки, а в торбынци витеропок та дви поляныци?

– Нет, я нашел мешок, а в мешке заяц да две лепешки.

– Ни, це не мое., - каже мужик.

Или еще помню:

– Що за суш така! – казав пан писар пану голови. – Коли б дощик збрызнув, то все б полизло з земли.

– Типун тобі на язык, пане писарю! – каже голова. – Там у мене три жинки, да, не дай боже, як воны полизуть!

Когда бабушка улеглась под кожушок, стала отбиваться докучными сказками:

– Рассказать ли тебе, внуче, сказку про белого бычка?

– Расскажи.

– Ты говоришь: Расскажи, я говорю: Расскажи. Так доколе у нас будет? Рассказать ли тебе сказку про белого бычка?

– Не надо.

– Ты говоришь: не надо, я говорю: не надо... Рассказать ли тебе сказку про белого бычка?

Я готов был расплакаться от отчаяния, но смутно стало пробиваться во мне понимание бабушкиной хитрости. Всё это время она прикрывалась всякими словечками, решая про себя, рассказать ли то, что задумала, или отложить. Ни с того ни с сего начала повторять слышанную уже сказку про Ивана-царевича и Анастасию Прекрасную.

Но я запрашивал совсем про другое:

– Ты лучше расскажи, бабая, про чертей да про старую ведьму, как она на Иванушке каталась...

Чего-чего, а про чертей и ведьм бабушка знала превеликое множество сказок. Ещё совсем недавно, в минувшее Рождество, снаряжала бабушка меня и рослого Серегу Восьмушина колядовать. Завязывала в узелок чашу с разваренной пшеницей в сладком медовом соку и отправляла по дальним и ближним родичам нас, закутанных в женские платки, туго стянутые на спине.

Рождественская ночь выдалась вьюжная, холодная. Черти расшались до крайности, швыряя в нас сухие жгучие охвостья снега с завыванием, нороя запорошить глаза, слепить ресницы. В заулках быстро нарастали сугробы, снег забирался за голенища валенок, облеплял узел с кутьёй, проникал в приготовленную для даров торбу. Хозяева в такую погоду собаку во двор не выгонят, а скуповатые родичи с самого ранья даже ставни позакрывали, малышне не добраться через сугробы к окнам, не дотянуться, не достучаться. Колотили прямо в гонт под окошком.

Тяжело пробиралась ребятня к людям через слободские завьюженные улицы, через обособленные в личные крепости дворы с железными щеколдами, тяжёлыми задвижками. Влекла нас доброта обряда, рождественская загадочность да ещё тихие мальчишеские радости – скромные рождественские подарки. Вдруг перепадёт розовый пряник-конёк, осыпанный ароматными сладостями, притом ещё, глядишь, не какой-нибудь позеленевший пятак, а от щедрого сердца звонкое серебро, на которое и книжку с картинками можно купить. И ходили мы в лютые рождественские морозы из одного края слободы в другой, чуть ли не к самому кладбищу.

Когда стуча промёрзшими валенками, гремя сосульками, ввалился я в натопленную избу, бабушки дома не было. Вьюга на улице уже завывала вовсю, окна обледенели, а в трубе по-страшному ухало. Из сеней тут-то и заскребся кто-то, замяукал, заблеял, заскулил. Дверь скрипнула, и в клубах холодного воздуха встало на пороге чудище в овечьей шкуре с рогами, красногубое, с измазанным сажей лицом. Узнать в нем бабушку никак нельзя.

А на мне лица не было. Бабушка поняла, что переиграла, и срочно разоблачилась, сняла вывернутый наизнанку тулуп. Это ещё и не

цветики, и не ягодки, а что выделявала она, неистощимая в выдумках, по молодости. Даже знавшие об этих её талантах люди немели в испуге, с трудом приходили в себя.

Вечерами я и сам понуждал бабушку рассказывать про чертей, про ведьм, про леших, домовых, про всю нечисть, при упоминании о которой мурашки по спине бегали, а сердце замирало.

– Ну, слухай, – наконец решительно сказала бабушка. – Держись за мэнэ та дюже не злякайся... Про Вия казать буду...

И начала бабушка рассказывать про Иванушку с Волги-матушки, с самого Эльтона озера, решившего навестить своих родителей и «сродственников из-пид самой Полтавы»: «Долго ли, коротко, одну ночь да целый день, другую ночь да снова день, а на третий день уже в городе уездном навстречу ему попадается красна девица, знатная собой красавица. Известное дело: коли завидит парубок пригожую девку, ни в жисть не пройдет мимо, чем-нибудь да зацепит. И Иванушка не прошёл, а сказал в шутку:

– Эх, хороша девушка, да не объезжена!

– Бог знает, кто кого объездит, – отвечает красна девица. – Либо ты меня, либо я тебя!

Засмеялась и пошла своей дорогой.

Добрался Иванушка до родного хутора и стал рассказывать старому деду о встрече со знатной девицей, какую объездить пообещал. Старик расстроился:

– Что же ты, внучок, наделал – то дочь нашего богача сотника. Страшная ведьма! Не одного молодца свела она с белого свету.

– Теперь что же мне делать, дедушка?

– А вот что, внучек... Приготовь узду да возьми толстое осиновое полено и сиди в избе, никуда не ходи. Ночью она прибежит сюда, и если успеет прежде тебе сказать: «Стой, мой конь!» - то в ту же минуту оборотишься ты жеребцом. Она сядет на тебя и до тех пор будет гонять, пока не заездит тебя до смерти. А если ты успеешь наперед сказать: «Тпру, стой, моя кляча!» - то она сама сделается кобылой, тогда зануздай её и садись верхом. Она понесёт тебя по горам, по долам, а ты знай своё: бей её осиновым поленом в голову, до тех пор бей, пока не уьёшь до смерти».

Обычно рассказывала бабушка по-русски плавно, словно вместе

с ней по реке плывёшь от одного переката к другому, и лишь изредка расцветчивала свой рассказ неожиданными украинскими словечками и выражениями. В этой сказке русских слов становилось всё меньше и меньше, и к тому времени, как Иванушка освободился от оседлавшей было его старухи-ведьмы, совсем перешла на родную с детства украинскую речь. Да так шустро заговорила, что я не всё и схватывал, хотя и чувствовал, что начинается совсем волшебное дело.

Загнал Иванушка клячу-ведьму, пала она, и оборотилась в панночку-красавицу, и вправду оказалась дочерью богатого и властного сотника. Отец панночки и заставил Иванушку выполнить завещание покойной – три ночи молиться за неё в кладбищенской часовне, псалтирь читать над покойницей с вечера до полуночи.

Дед и тут Иванушке подсказал:

– А в саму полночь вдруг дунет сильный ветер, гробница заколыхается, крышка долой упадёт. Вот как эта страсть начнётся, ты скорей полезай на печь, забейся в угол, оградись от ведьмы крестом и твори потихоньку молитвы. Там она тебя не найдёт!

От ночи к ночи страхи Иванушкины нарастали, хотя добросовестно выполнял он всё подсказанное мудрым дедом. А покойница-ведьма встала из гроба и усердно искала Иванушку.

На вторую ночь ведьма вновь выскочила из гроба и заметалась по часовне, приблизилась к Иванушке вплотную и пыталась заговорить с ним. Но крики петухов вновь спасли Иванушку.

Слушать сказку во всех самых страшных деталях становилось совсем невмочь, но бабушка не считала нужным щадить внука, ничего не пропускала, даже сгущала краски. Я уже задыхался под кожушкой, жался в непроницаемой шерстяной темноте к бабушке, ощущал живое тепло родного человека и радовался петушиным крикам как торжеству всепобеждающей жизни.

Третья ночь оказалась самой тяжёлой. В чёрной тишине Иванушка из последних сил нашёптывал заклинания, когда мертвецки синяя ведьма вновь поднялась из гроба и, клацая зубами, двинулась на обидчика. Началось в то же время и невиданное нашествие нечистой силы, издававшей адские звуки от шороха крыльев, стука когтей до исступленных криков и завываний.

Когда не стало сил и это терпеть, наступила мёртвая тишина, и сквозь тихие сначала стоны, сквозь скулёж из-под земли раздался тяжёлый топот. Половицы в часовне запрыгали, земля развёрзлась, и невиданное никогда и никем чудовище, обросшее зелёной шерстью, измазанное жирной грязной землёй, со скрученными, как корни большого дерева, руками и в земляных комьях ногами, появилось в самой близи от Иванушки. Смешанные запахи лесной земли глохли, от чудовища шёл такой сырой и тяжёлый дух, что Иванушка стал задыхаться, как и я задыхался под кожушкой от зажатой губами кислой овчины.

Иванушка знал, что надо исправно творить молитву и только не оглядываться вокруг, не глядеть, что творится в часовне. Исполдволь всё-таки, на одно мгновение, отвлёкся он и увидел длинные зелёные, чуть ли не до самой земли веки, словно бы скрученные из упругих, спутанных между собой плакучих берёзовых ветвей. В это единое мгновение и узнал Иванушка Вия. Иванушка не успел разглядеть глаза чудовища, но мне они показались такими же громадными, как у совы, и такими же зелёными, с таинственным блеском при луне, но со страшными, кроваво-красными белками.

Вся нечистая сила из свиты Вия, вилявшая хвостами и крыльями, и всем, чем могла вилять бесхитростная тварь, бросилась, вооружённая вилами и лопатами, чаплийками и ухватами, поднимать спутанные веки всемогущего чудовища. Но в это время за стенами часовни со всех сторон, во всё горло, надрываясь, заорали петухи.

Мне и теперь кажется, что пуще всех петухов старалась моя дорогая бабушка. Она кукарекала так, как только могла, чтобы разлетелось от страха всё это змеиное отродье, вся нечисть, чтобы живой Иванушка остался, чтобы добро зло победило, как всегда бывало во всех сказках, которые рассказывала моя добрая бабушка. Так разве я могу забыть её когда-нибудь? А теперь и дети мои, и внуки знать её будут. И пусть живёт вечно, как тот Иванушка, которого она оставила жить ради прижавшегося к ней внука с трепетно бившимся сердцем.

Никогда я не слыхивал больше от бабушки таких страшных историй, но всегда вспоминал сказки, творимые ею, полные озорных наблюдений, скрытых в них животворных мыслей, всегда

неожиданных, житейски непрехотливых поворотов-переплётов. Сам попадал в такие переплёты, что, кажется, и не выбраться, но всё-таки выбирался, потому что всегда думал, а как бы вышла из этих виражей жизни моя бабушка.

Вскоре не стало у меня бабушки. Случилось это неожиданно и так несправедливо, что я до сих пор не могу поверить в то, что её нет на этом свете... В тот день выпал бабушке черёд собирать стадо с нашей улицы и выгонять его за Слободу. У плотины череду поджидали пастухи. Время было осеннее, на крыши пал иней, тяжёлой бахромой навис на проводах. Когда стадо вывернуло на улицу, выходящую напрямик за слободу, бабушка подгоняла хворостинкой поотставших и норовивших вильнуть в сторону коров.

Видно, в это время и почувствовала она – впереди что-то случилось, коровы начали растекаться по краям улицы, обходя натужно гудевшую в тот день линию электропередачи. Бабушка поспешила к голове растянувшегося стада, к видному издалика раскоряченному подпоркой столбу. Возле него ещё билась, запутавшись в оборванных, шедших кругами проводах, глупая соседская корова. Ничуть не раздумывая, бабушка бросилась помогать в беде животному...

Оказавшиеся поблизости люди как-то смогли добиться, чтобы эту линию отключили, тут же забросали бабушку землёй, прикопали, делали всё возможное, чтобы спасти её, но оставить Ивановну в живых, как это она сумела сделать со сказочным Иванушкой, даже самые добрые люди не смогли.

Когда я прибежал к месту, где случилось несчастье с моей бабушкой, она, окружённая толпой, лежала с уже закрытыми глазами, со сложенными на груди руками, умиротворенно спокойная. Так она, видно, и встретила поджидавшую здесь беду. Смерть ничем не могла изуродовать живого лица немного уставшей и только что, казалось, уснувшей женщины, словно впереди у неё была ещё целая вечность... Хватило одного мгновения, налетела, ударила жестокая темная сила, прожгла насквозь... И всё. Только пёстрый, в неуместно ярких цветах платок, как-то по-старушечьи подвязанный под самым подбородком, выгорел на макушке вместе с не успевшими ещё поседеть волосами.

Такой и лежала она на столе в горнице нашего дома, почти у

самой лампы, со свечой в больших, ставших восковыми руках, всё ещё сохраняя иконописный лик. Она была самой красивой и самой молодой среди окружавших её престарелых подруг. Но я глядел на бабушку совсем не так, как тогда, когда сравнивал со святым ликом, а испуганно и тревожно.

На ночь у гроба остались дряхлые старухи, а меня отправили ночевать к соседям, и снился мне всю ночь жестокий страшилище Вий. Он злился на многоголовых злодеев своей свиты за то, что они никак не могли приподнять его веки, а угодливо шуршали хвостами. Мне казалось, он был совсем рядом со мной, я слышал его отвратительное, болотно булькающее дыхание. Он стал протягивать ко мне беспальные усохшие руки-плети, и я, наверное, не раз вскрикивал в ночи, потому что казалось, что Вий-скорпион наверняка достанет меня. Кто же теперь защитит внука, кто испугает зловещее чудовище задорным петушиным криком-известием о наступлении сулящего жизнь утра?..

Разве мог я предугадать, что и десятка лет не минет, а бабушка будет рядом со мной, как живая, и поможет выйти мне из адского пламени войны.

Совсем ещё мальчишкой оказался я на фронте. В первую ночь боя, в полыхавшем вокруг огненном смерче, в разгуле огневой стихии видел, как сквозь скрученную, перепутанную, скомкавшую хрупкие человеческие судьбы колючую проволоку тянулся к моей самоходке Вий-скорпион, дышал огнём, испепелял душу, а к горлу подступал, душил уже не сказочный страх, а сосущая тоска одиночества. Но завещанная бабушкой жажда жизни оказалась всепобеждающей и вязала нас, пришедших на войну мальчишек, нетленной доброй памятью со старшими.

ВЕРЬКИНЫ ИСТОРИИ

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России –
Забыть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы –
Кровавый отсвет в лицах есть.

Александр Блок.

Родился в рубашке

С самого детства Веря Горушкин знал про себя, кажется, всё или почти всё, что полагалось знать такому мальцу. Он почему-то рано перешагнул через привычную детскую любознательность. Никто не скажет, когда это случилось, но сладость познания сморила, как сон, обволокла таинствами, загадками и утащила в зыбкую неизвестность.

Будто бы и не спит Веря, а смежит понарошку веки, зыркнет сквозь розовые реснички – и перед ним тут же возникает взбудораженный, перевёрнутый вверх тормашками и осиянный солнышком мир. И всё здесь, как в сказке, и всё такое, как хочется, как взглянется. То сплошной, занесённой песком улицей встают взаправдашние, серые

от старости дома, где живут дряхлые, изношенные трудом люди. То вдруг – чистенькие, весело расписанные диковинными павлинами, петушками, незатейливыми цветочками хатки, целые ряды таких хаток, а меж ними разгуливают, пощёлкивая семечки, праздничные, приветливо улыбочивые люди. И даже не совсем обычные люди – богатыри в свитках. Всё тут переливается радостным многоцветьем: и эта благоуханная утренняя свежесть, этот свет детства, его почти беззвучный мир, – всё это радостно и всегда обещает новые радости.

Небесное светило заглядывает в голубизну распахнутых для познания мира глаз, подрагивают реснички, защищаясь от слишком жгучего вторжения лучей, и всё-таки пропускают их, а с ними и всё мироздание входит в тебя, растекается по существу твоему. Вокруг – весь белый свет, а в середине – ты сам, его дитя.

Веря считал, что он-то уж на белом свете был всегда, можно сказать, вечно. И никто не мог его разубедить в этом. Он каждый день узнавал этот белый свет всё больше и оттого ещё прочнее утверждался на бесконечной, щедро прогретой солнцем земле. Ему казалось даже, что он находился в самой золотой середине радостного голубого мира, для него словно бы и созданного. Во всяком случае, солнце всегда стояло над ним, палило в вихрастую макушку, а Веря, как подсолнух, поворачивался к солнцу золотистой головой, слегка щурил небесно-голубые глаза и, расплываясь в улыбке, показывал всему миру круглое, румяное лицо, усыпанное конопатинами. Словно семя в подсолнухе, они густо зарождались у переносья и разбрызгивались по всей округе рыжими ляпами. Сколько раз потом травил Веря конопатины всеми доступными домашними средствами, чуть ли не тёртым кирпичом, но разве природу переделаешь?

Единственное, пожалуй, чего Веря не ведал в точности – это как рождаются на белый свет дети. Даже я, зная Верю почти с самого рождения, не мог ему ничего объяснить, потому что имел в то время противоречивые, явно не научные сведения. То рассказывали какие-то сказки: принесли, дескать, гуси-лебеди. То говорили, что нашли его голеньким на большой лопушине. Вот только в рассказе этом сразу же была явная неточность. Мама хорошо помнила, что Веря родился в рубашке. Иногда, правда, совсем редко, она брала его на руки,

прижимала к себе и сладко напевала про прошлое, загадывала на будущее:

– Веря наш в рубашке родился. Вырастет наш Веренька, счастливеньким будет...

Но Веря не любил, когда его тискали-пичкали всякими небылицами. Он рвался на волю и с облегчением вздыхал, обретая самостоятельность. Малыш ещё не знал, что значит быть счастливым, но таинственно затихал, когда вспоминал о том, что ему на роду писано. Может быть, потому любил он ещё и свою расшитую красными петухами рубашонку, с мелкими, круглыми, как горошины, пуговицами по вороту. Очень хотел подтверждения, что в этой рубашонке он и появился на свет:

– В такой, да? В красной? С петушками? Хорошенький, счастливенький?

И мама вспоминала, что родился Веря в жаркий июньский полдень. Лето в тот год начиналось стремительно. Припекало так, что голова кружилась, и она оступилась во дворе, едва не выронила мальчонку на горячий песок. А когда очнулась, увидела сына и застонала: головёнка у него вытянутая, жёлтенькая, как бобушка, с белым пушком, а личико розовенькое, сморщенное, как у старика.

Любознательная соседка-повитуха сняла распашонку, заглянула, куда полагается, и тут же ни за что, ни про что отшлёпала так нечаянно появившегося на белый свет раба божьего Веремея. Ни в чём не повинный мальчик кровно обиделся, крепко стиснул дёсны, разругнулся до крайности, но некоторые признаки горько начатой жизни всё-таки проявил.

Говорят, полагается в таких случаях орать во всю басовитую мужскую мощь, но ребёнок только сучил ножками, хватал себя за нос, рвал уши, а потом крепко сжал ручки в кулаки, словно молчаливо грозил этому миру отомстить за вопиющую несправедливость.

Ничего не поделаешь, так начинается жизнь. Верю обмыли, туго запеленали, и тут, расслабившись, вякнул он, может быть, что-то радостное, а скорее всего, обидчивое. Кто же поймёт дитя неразумное? Но повитуха живо зашамкала беззубым ртом:

– Вот и зашветили парнишку. Шустрый буде парнишка, уж больно

торопится на свит божий, аж перевився... Ишь, губошлёп, обидчивой...

У Веры уже не было сил отвечать. Ему, смирительно запеленатому, ничего не оставалось делать, как оправдывать предсказания старших всей своей с рождения притеснённой жизнью. А старшие, что с них взять? Занятые своими делами, они частенько забывали про Верю, оставляли в одиночестве, и он просыпался в мокрых, совсем неуютных пелёнках и, не теряя сил на бессмысленные призывные клики, безмолвно изучал бездонное небо распростёртого над ним вечного мира.

Дети в то время не были такими умными, какими растут теперь, и о том, что стало ныне явью, они даже не догадывались, но страсть к познанию всего сущего остаётся, видно, неистребимой во все времена.

Кто знает, может быть, и Верька не так уж бессмысленно и, во всяком случае, не бесследно для себя, тихохонько, совсем задумчиво следил за ажурными, белесыми, насквозь пронизанными солнцем облаками, а они уплывали куда-то далеко-далеко, скорее всего, в иные миры. Уже тогда, может быть, видел Вера эту вечность над собой, отражённую в дальней голубизне неба. Плескалась так и Волгаматушка родная, хотя и не такая большая и разливанная, как теперь, но вечно великая и щедрая. Прильнули к ней древние и дикие заволжские степи, тонувшие в далёкой дымке всё той же неизвестности. Небесно-нежная голубизна одинаково крепко и ласково



На Волге. Рисунок А. Токарева.

обнимала их, степи и Волгу, соединяя навечно. Солнце калило их щедро, волжская волна набегала на окраинные песчаные буруны, а горячо дышавший со степи ветер шутя играл с волной, лохматил белопенные гребешки, и они весело сбегались к берегу.

Когда Веря появился на белый свет, папы при этом не оказалось дома. Папа служил в Красной Армии, в Царицыне. Мама однажды как-то решительно собралась и поехала к нему на пароходе показывать сына, порадовать солдата. Обо всем этом Веря знает понаслышке, даже я этого не помню.

В родную свою слободу, возвеличенную уже в город, отец вернулся в ладно сидевшей на нем военной форме, с красной звездой на буденовке и сразу подружился с Верей, а Царицын вскоре переназвали, стали величать городом Сталина, Сталинградом. И сам вождь скромно согласился с этим. О многом Веря даже не догадывался, но отец, любивший слободу и не имевший угла в ней, потянулся к этому еще совсем недавно захудалому уездному городишку, выроставшему на исторически остром сближении Волги и Дона и на завязанном здесь узле сбегавшихся многих дорог. Веря больше всего радовался возвращению отца с гостинцами. Потом уже на исходе крестьянского «великого перелома» отец сгреб разраставшееся семейство, терпевшее голод и нужду, и вместе со скудными узлами перевез в Царицын, чтобы строить тракторный гигант.

После женитьбы отец Веры все время ждал сына. Крестьянин всегда видел в наследнике выход из нужды, но бог дал дочь да еще в самое голодное время, и она не выжила. После нее родился сын, но и он не оказался долгожителем. Веря первым ухватился за жизнь цепко, она ему нравилась, и он начал жить весело и радостно.

Отслужив свое и даже прихватив какое-то время сверхсрочно, молодой счастливый батя возился с сыном в охотку, выгуливал улыбчивого малыша на людях, лялякал и угукал с ним. Счастливому папаше общение с сыном доставляло много радости, и Веря разделял с отцом эту радость, такую живую взаимную тягу нельзя не понять, и сын незаметно пронес это чувство через всю жизнь, но трогательно отцовские переживания оценил по-настоящему значительно позже.

Что-то в этой тяге наладилось, может быть, и не в самый первый приезд отца из Царицына, а скорее всего, какое-то время спустя, когда

Веря уже топал на своих двоих. Порвав с не очень-то осознанными исканиями в слишком опасно перевернутых, почти совсем потусторонних мирах, Веря расширял свои познания на грешной земле. Норовя удрать со своего тесного подворья, он начал изучать соседние дворы, интересоваться окрестностями, а вскоре нашел и выходы на бойкую Мостовую улицу.

Во дворах соседских ничего примечательного не оказалось, да и пробраться в них было не так просто. Куда ни кинется Веря – везде глухие заборы, свой отгороженный от соседа мир. Основательно упершаяся в четыре каменных угла хата, и та слепой беззаконной стороной, забранной шпунтовым тесом, поворачивалась к соседу. Рубленый хлебный амбар – торцом в ту же сторону. Постройки для живности, крытые навесы, летние кухни с погребями – все это не лицом к соседу, а спина к спине, чтобы не видали вялой, однообразной жизни.

Многое все-таки и сближало соседей. Прежде всего, живность. То залает, зарычит, прозвенит цепью, укрепленной на звонко натянутой через весь двор толстой проволоке, выдрессированный на пожизненную охрану кобель. То дико завизжат коты и стремительно взлетят на крыши, не разбирая где своя, а где соседская, хотя за такую неразборчивость можно и чуркой по башке получить. То заблеют овечки в катухе. То тихая безропотная коза даст знать о своих семейных неблагополучиях и притязаниях престарелого бородатого козла. Да еще вдруг перекинутся мирным ржанием застоявшиеся лошади.

Совсем недавно шла здесь, в слободе и хуторах степных, выморочная, не щадившая ни отцов, ни детей гражданская война. Истреблена была вся наличная живность. Вслед за разорительной войной наступил невиданный мор на людей. Они бежали из этих краев на все четыре стороны, куда глаза глядели, падали на ходу, умирали с голода. Даже сусликов не оставалось в степи – все подчистую съедали люди. Падала скотина, ели и падаль, но тут же налетало воронье и норовило сначала исклевать склоненные над падалью головы совсем истощенных людей...

В иссушенных, долго совсем ничего не плодивших степях за Волгой едва теплилась, горячечно тлела жизнь. Лишь на пятый после

революции год бежавшие слобожане начали возвращаться на родину из далекого хлебного Ташкента, рыбных ватаг Каспия, нефтяных промыслов Баку, вместе с выжившими родичами запрягались в плуги и бороны, заново и трудно обзаводились скотом, возрождали жизнь, как на пепелище, но жили теперь угрюмо и одиноко, не доверяя друг другу, закрывшись на прочные, кованые в кузнях крючки, щеколды и задвижки, хитрые амбарные замки. На открытых углях подворья появились чуть ли не сторожевые башни со смотровыми щелями, с заостренными кольями в заборах, с набитыми поверху гвоздями.

Как же тут мальчонке пробраться к соседям, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на их потаённую жизнь? Разве что подрывать заборы вослед тяжелевшим в весе свиньям... Но Веря и тут находил свои выходы: то сучок в доске выдавливал, то расширял доступными ему средствами едва наметившуюся щелку между досками, то забирался по лестнице на сенник, открывал запыленное слуховое окно, и мир становился значительно шире.

При взгляде через выдавленный сучок, через щель в поле зрения что-то попадало, но детали угасали, люди казались какими-то мелкими, суетно далекими. Не стоило, кажется, и забираться высоко на сенник, чтобы убедиться, как скучно живут они на земле.

Ничего в сущности интересного Веря не открывал для себя, но стоило бросить взгляд чуть выше, как мир вновь оживал, жить в нем становилось интересней. Нет, не только к земле гнули спины люди, но и рвались в небо. В тот солнечный день перед глазами Вери над сараями и амбарами открылись сказочно уютные голубятни с балкончиками и кормушками, у которых парами ворковали красивые птицы в ярком оперении, с нежными красными лапками. А в небе купались кем-то запущенные турманы – кувыркались, комочками падали вниз и вновь взмывали в небо.

Как завороченный, наблюдал Веря за голубями, только и вертел головой из стороны в сторону. Такое дивное зрелище предстало перед ним впервые. Тут и уснул он, утомленный виденным и разморенный солнцем, разбросав руки по сему. А когда Веря проснулся, чистенький голубок сидел на створке окна, чистил клюв, прихорашивался и приятным грудным воркотаньем звал подругу...

Не забыть Вере и тот день, когда отец взял его на ярмарку – и мир

раздался еще шире. День этот был большим праздником для всех, и Веря выходил на улицу с отцом не через калитку у ворот, а через парадное крыльцо. Тут же, у самой казенки, по обе стороны идущей из степи широкой улицы Мостовой раскинулись лавки, палатки, становья мороженщиц, торговцев леденцовыми петушками на палочках, длинными конфетами в пестрых обертках, столы с напитками, лотки с халвой, пряниками и вафлями, разными восточными сладостями. Чего тут только не было – глаза разбегались! Но самое интересное, как вскоре выяснилось, было впереди, в центре празднично нарядной, шумевшей в торгах и веселье слободы.

В эти праздничные ярмарочные дни мама торговала обычно почти у самого дома мороженым и всякими дешевыми сладостями – обучилась «сладкому делу» чуть ли не в детстве на шоколадной фабрике в Камышине. Запаслись у нее петушками на палочках и двинулись в гуцу ярмарки, на Никольскую площадь.

Отец усадил Верю на шею, и видно было сыну с этой высоты как с каланчи. Прошли мимо казенок, колесных и кузнечных рядов, богатых съезжих дворов, рубленых образцовых школ у самого Успенья с красивой каменной оградой и вышли к главному в слободе большому мосту с железными перилами, каменными быками. За мостом этим начинались лавки с пестрыми вывесками, всякие мастерские, парикмахерские с размалеванными картинами на раскрытых оконных ставнях и дверях, с лихими письменами: «Стрижем, бреем, завиваем, в наше кресло приглашаем»... И еще что-то в таком же духе папа читал Вере.

За небольшим поворотом при встрече с Царевской улицей, у самой краснокирпичной, выложенной узорами амбулатории, Мостовая тянулась уже сплошь купеческими белокаменными двухэтажными домами с бакалеей, галантереей, колониальными товарами – на первых этажах, керосиновыми лавками и тесными низами мастерового люда в полуподвалах, а поверху – фигурные балконы, обнесенные затейливым литьем. Повсюду – железные крыши с дымниками на трубах, с украшенными находчивым жестянщиком узорами дождевых стоков. Меж домами – массивные кирпичные ворота с железными створками и глухими калитками, на задах – высоченные заборы из тесаного камня.



Улица Октябрьская. Начало XX века. Рисунок А. Токарева.

По правую руку шли хлебные торговли, башкировские магазины с иноземными товарами до самого большого торгового дома «Алтухов и сыновья» с огромным угловым балконом и остроконечной башней над ним. По левую руку, уже по Астраханской улице, еще целый ряд на века строенных купеческих домищ с высоко задранными окнами. А чуть выше – вознесенная бугром, увенчанная смотровой вышкой управа да облепившие её, вытянутые к реке службы – полицейская, белый острог, пожарная команда – одни упраздненные, другие приспособленные. Нынче здесь – городская и уездная советская власть.

В самом центре площади – красивейшая во всей округе Никольская церковь с каменноузорными пристройками – вокруг широкого купола головастые башенки с блистающими крестами, стройная колоколенка, уютные поповские дома. И все это обнесено с четырех сторон света каменной изгородью и утопает в акациях.

Через площадь вышли дворами к Воложке, к рыбным и мясным рядам с глубокими, заправленными людом подвалами. Окнами, полыхавшими на солнце, как зеркала, к степи стояли высокие

белокаменные дома знатных за Волгой купцов, а при них тут же – пекарни, булочные, кондитерские, гостиный двор с ресторацией, чайные...

Когда выходили на эту площадь, Веря уже снова поднялся на отцовские плечи и замер от невиданного зрелища, от бурлившего людского половодья. Ярмарка кипела людьми, звенела, гудела, пела, кричала, зазывала на все голоса, во всю свою звонкую, стихийно нараставшую радость. Вдоль всей площади стояли пестро разукрашенные ларьки и легкие лавчонки, заваленные товарами ряды и свежеструганные прилавки. А в самом центре – всякие зрелища: карусели под крышей, качели-лодки с раскрашенными дебелыми русалками на бортах, театральные вертепы, иллюзионы, кривые зеркала, цыгане с медведем, гадальщики с попугаями. Чего тут только не было, как только не тащили деньгу с прижимистого мужика!

Напротив управы и ее служб – Веря так и ахнул – огромный цирк под полотняным куполом, предмет давних увлечений отца, а вокруг щиты с огромными буквами: «Поддубный – Лурих». Ниже красками намалеваны сцепившиеся в борцовской схватке два огромных мужика. Верька понял, что с отцом это препятствие не обойдешь, и решил, когда пробрались к билетной кассе и взяли билеты, добиться тут же своей выгоды. Потянул отца к балаганам со всякими игрушками-доспехами и вооружением на все возрасты.

Наш пострел, как говорится, и тут поспел. Еще в Царицыне заметил у ребят постарше оловянные пистолеты с тугими пыжами-пробками. Заветная мечта, кажется, становилась явью – вот они на прилавке слободской ярмарки! Понимал про себя Верька: маловат он для такой редкой дорогой игрушки – ведь почти настоящее оружие. Но все-таки надеялся, что отец в ожидании заманчивого зрелища – схватки знаменитых борцов, не устоит перед Верькиной просьбой, разорится на радостях...

Не тут-то было! Отец решил, что оружие – слишком грозное, и, долго не раздумывая, отказал сыну. Веря насупился, исподлобья поглядывал за отцом, но даже хныкать не стал, понимая, что на всякие другие подарки тот не поскупится. Так оно и случилось. В руках воинственного Вери оказался пистолет с бумажными пистонами и вполне приличное ружье с деревянным прикладом, железным

стволом, куда вставлялся точеный деревянный шомпол с резиновым наконечником-присосом.

Верька тут же устроил пистолетик на пояс, повесил ружье за спину и веселенький замаршировал рядышком, придерживаясь на всякий случай отца, чтобы не потеряться в толпе. До начала цирковых представлений успел перестрелять большую часть приложенных к пистолетику бумажных пистонов. Они громко щелкали, вонюче дымили, но иногда, к великой мальчишеской радости, вспыхивали огоньком, и тогда казалось, что в твоих руках настоящее оружие...

Когда поднялись чуть ли не под самый купол цирка, Веря забрался к отцу на колени, снял ружье и обеими руками прижал к себе. Предвкушал, как постреляет из него, придя домой. С восхищением следил поначалу за воздушными акробатами, за непонятными движениями шустрых фокусников. Жалким и смешным показался рыжий дядя-клоун. Били его чем попало, кому не лень били, а он каждый раз с грохотом, но расчетливо падал, и все смеялись над ним.

В цирке становилось душно, Верю совсем сморило, и во сне видел он себя милиционером, вооруженным до зубов, в белой матерчатой каске, какие носили в Царицыне, когда милиционера ставили на площадь и он указывал полосатой палочкой, кому куда идти. Сам Верька стоял теперь в родной слободе, у входа в настоящий цирк, с пистолетом на боку и ружьем за спиной. Без всяких билетов пропуская одну за другой стайки ребятишек со своей улицы, но цыгана с медведем, перед которым все расступились, никак не пропустил. Цыганский Мишка зарычал на Верю-милиционера, но Верька так засвистел в настоящий милицейский свисток, что сам проснулся: на арене оказалась пара цирковых медведей, но цыгана при них не было видно. Веря удивился, как они туда пробрались и не двоится ли у него в глазах.

Перед выходом борцов на арену играла громкая музыка, а, когда борцы вышли, зрители впереди и сзади поднялись со своих мест, хлопали в ладоши, приветствуя любимцев. Со всех сторон раздавались крики:

- Слобожане с тобой, Поддубный!
- Лурих, не дрейфь!

– Самый сильный Поддубный! Ура Поддубному!

Вскочил и отец да так резко, что едва не уронил Верьку на стоявшего впереди здоровенного детину. Широченная спина его заслоняла арену. Зажав сына в коленях, отец хлопал азартно, кричал и, судя по всему, был за Поддубного. Разглядеть что-нибудь в такой суматохе было невозможно, но, когда отец поднял Верьку на вытянутых руках над передним детиной, задние зашикали со всех сторон. За время этого вознесения Веря успел заметить на арене двух полураздетых мужиков, один из которых коренастый любимец отца – Поддубный, а другой – Лурих, выше, крупнее, грозная мускулистая куча. Мирно стояли они по сторонам, кланялись зрителям, пожали друг другу руки, и тут же схватились, и пошли таскать один другого по арене, никак не поддаваясь. То один оказывался внизу, но выворачивался как-то и подминал верхнего, то все менялось, но победы не было ни на чьей стороне, каждому не хватало самой малости, чтобы победить в переменчивой схватке.

Скоро такая возня надоела Верьке, да и не все видел он из того, что творилось на сцене, лишь в появлявшуюся ненадолго щель между широкоплечим детиной и его юрким, сидевшим как на углях соседом мелькали разгоряченные, потные тела борцов, каждый из которых норовил цепко ухватить соперника, но пальцы скользили, и соперники теряли друг друга. Тогда куча шла на кучу, давила всей своей массой, но случалось так, что снова расходились.

В цирке стоял сплошной гул, недовольство зрителей нарастало. И вдруг после небольших перемен цирк ахнул и замер в тишине, словно никто не ожидал такого конца: Поддубный оказался распластанным на ковре, прижатым на обе лопатки. После этого борцы трудно поднимались на ноги, тяжело дышали, а судьи объявили победу Луриха. Что тут началось – и свист пронзительный, и ногами топали, и крики дикие разрывали цирк:

– Сговор був, був сговор!!!

– Купылы Пиддубного, обманом взяли!!!

– Ще николы нэ бачив я, шоб Пиддубный лягав на лопатки!

– И Лурих – хороша силища!

– Об-ма-а-а-нщики!!!

Больше всего сходились на том, что сговор состоялся, а «гроши»

поровну будут делить. Не было правды на свете и никогда не будет.

Отец возвращался домой в расстроенных чувствах, будто и ему нанесли поражение. Как и многие слобожане, посчитал он себя обманутым, но всю дорогу помалкивал, и Верька не мешал ему переживать, а про себя думал, разве могут люди тайно сговариваться, чтобы обманывать других людей, богатеть на этом обмане. Нет, этого он не мог понять, доверчиво прижимаясь к отцу. И отец потеплел, приласкал, потрепал его за плечо.

Перешли мост, начали подниматься на взгорье, и Веря вспомнил о своей, приглушенной огорчениями отца радости, об отцовских подарках вспомнил и думал уже о том, как выйдет с ружьем на улицу, как соберется вокруг него соседская детвора, как нарисуют на заборе мишень, как даст он пострелять ребятам и расскажет еще, что видел на ярмарке.

К вечеру так и случилось, когда, досыта натренировавшись во дворе, Верька вышел на улицу. Его тут же окружили, с завистью поглядывая на ружье, настоящее, фабричное, висевшее за спиной. Рассказ о цирке никто не захотел слушать, не нуждались и в Верькиных объяснениях, как надо стрелять.

Ружье со спины содрали чуть ли не вместе с головой хозяина, мишенью избрали калитку Верькиного дома и стали всовывать в ствол шомпол с резиновым наконечником и бить по калитке. Следующий стрелок бежал к цели, отрывал причмокнувший наконечник и снова лупил по калитке. О Верьке забыли, словно его и не было тут, никто и не предлагал ему пострелять из его ружья. Сначала лопнул резиновый наконечник, и деревянный шомпол уже не присасывался к калитке, потом и сама точеная палица с трудом входила в ствол и не долетала до цели. Ружье, как ненужную безделушку, бросили Верьке под ноги, и вся ребячья стая как налетела, так и разбежалась.

Подобрав игрушку, Верька даже не заплакал от обиды, спрятал ружье в сених с тайным намерением разобрать завтра, что же произошло с ним, почему оно оказалось таким недолговечным. Было намерение заглянуть внутрь: что там отказало?

До завтрашнего дня надо было еще дожить, но ожидание каких-то открытий не давало возможности уснуть. Верька давно уже заметил подходящее для уединенных занятий место. На самом

песчаном взлобье уходящей в степь Мостовой улицы, напротив каменной казенки, давно уже собирались строить новый дом. Навезли валунов, обнесли забором, и все подворье заросло колючками вперемешку с лебедой, а в дальних углах кустившейся ядовитой зеленью. Об этом месте и вспомнил Веря, думая о завтрашних своих занятиях, и уснул.

На другой день, как только появилась возможность ускользнуть со двора, Верька, прихватив испорченное ружье, добрался до Киргизского переуллка, отыскал в заборе непрочно приколоченную доску, отодвинул её и оказался на заросшем подворье. Как и задумал, шваркнул о ближайший валун отказавшее ружье. Приклад тут же отлетел, но цель еще не была достигнута, было совсем неясно, что же там внутри. Пришлось колотить по валуну, пока ствол не отвалился от остатков приклада, но не сразу выскочила из него измятая ребятейная пружина, а курок, пускавший её ход, уже болтался.

С таким бесхитростным устройством Верька никак не мог смириться: жесткая измятая проволока и вялый жестяной курок. Мог же он надеяться на мощную сверхъестественную силу, которая метко швыряла палицу до самой цели, но в стволе, к его полному разочарованию, ничего волшебного не было. Вот тут-то, усевшись на валун, и заплакал Верька горько-горько, заплакал от большой обиды на людей. Обманули, опять обманули, как обманули сами себя в цирке, как обманывают детей взрослые. Все время что-то обещают и не держат обещаний. А если вся жизнь будет такой, обман за обманом?

Швырнул Веря искореженный ствол в колючки и еще пуще заплакал. В горе и не заметил подходившего от дальнего забора пацана. Тот был постарше, и Верька знал, что живет он где-то совсем близко, но с малышней на улице не играл, сторонился. Не потому, что был неровней, а потому что заметно вырослел. Верька примечал, как проходил он и его отец с книжками в руках, как рассуждали они о чем-то непонятном малышне...

– Ты что плачешь, мальчик? Как зовут тебя?

– Верька.

– Кто же тебя обидел?

От такого участия Верька совсем разрыдался. Вспомнил и об обиде вчерашней, и о только что обнаруженной, и не мог успокоиться,

сказать что-то вразумительное, объяснить, как он здесь оказался. Путаясь, все-таки рассказал и о ярмарке вчерашней, и о цирке, и о ружье, которое привели в негодность ребятишки с Мостовой. Теперь вот выбросил его в колючки, обнаружив, что ружье не настоящее, обманное. А закончил торопливо, сквозь слезы, перемежая слова украинские с русскими:

– Батка купував ружье на ярмарке, а матэ бить будет, хоть до хаты не ходы... Некуда теперь податься.

– Я рядом живу. Зовут меня Борис. Пойдем ко мне.

Новый знакомый взял за руку и повел по едва заметной тропинке в глубину двора. По пути прихватил книжку, которую оставил на примятой траве. Вскоре они оказались в задней части опрятного двора с добротными новыми постройками. В конюшне с диковинным каретником Верьку сразила впервой увиденная извозчицкая коляска с облучком, откидной подножкой и складным козырьком. У задней стены стояли расписные сани, а по стене – развешанная лошадиная сбруя в убранстве, медные бубенцы, колокольчики. Конюшня была в идеальной чистоте, и лошадей здесь, видно, давно не ставили.

– Дед мой Золотарев в Солодушино станцию держал, – объяснил Борис и, заметив мальчишечье недоумение, добавил: «На перекладных и в слободу, и до Царицына возили, извозом занимались»...

По малости лет Верька вряд ли понимал, кто такие золотари. Мне и самому довелось узнать об этом по другому случаю, когда повзрослел. А о солодушинском деде Бориса ходила молва: дескать, случай помог ему разбогатеть. Вез знатную да, видно, богатую личность из Царицына, а личность возьми да и отдай Богу душу в дороге. Так и привез мертвого в слободу. А что у знатного седока в карманах звенело до смерти, никому не ведомо... Только солодушинский извозчик стал с тех пор богатеть, подыматься, как хлеб на дрожжах, и перед самой революцией отгрохал на слободском бугре в Киргизском переулке домище – крепко срубленный, гончѣный, под железной крышей.

Теперь в каретнике этого дома впервые в жизни слушал Верька рассказы про Робинзона Крузо. По складам он и сам давно наловчился читать вывески, но Борис читал бойко, объяснял прочитанное, если

Верька что-то не понимал, вразумительно, словно делал так не в первый раз. Дал и гостю прочитать, помогал верно произносить слова, поправлял, если тот запинался и не мог сразу прочитать длинное слово.

Увлеченный чтением, Верька забыл о своих несчастьях, а вспомнив, заторопился домой. Борис не задерживал его, но у крыльца просил подождать и тут же вынес оловянный пробковый пистолет, какой Верька совсем недавно видел на ярмарке. Борис, показав его, положил в кобуру с ремешком и повесил Верьке через плечо:

– Владей. Пистолет настоящий, отец из Царицына привез. В нем, правда, что-то разладилось и не стреляет, да и пробки кончились. Это тебе на память и для устрашения пацанов.

Домой бежал Верька с радостью: обогрели и приютили в чужом доме. Но и с тревогой: не миновать беды в доме своем. Мать к чему-нибудь да придерется, накажет, отшлепает, а то и в угол поставит. Но дома никого не было, на столе стояла кружка с молоком, накрытая ломтем душистого слободского хлеба. Верька поел, поспал и снова на улице оказался с оловянным пистолетом на боку. Поворачивался этим боком к ребятне, отстегивал кобуру, демонстрировал внешний вид, но в руки не давал, чтоб не знали про изъяны.

– Настоящий, с пробками, – объяснял Верька и закрывал кобуру.

В горящих завистью мальчишеских глазах искры нетерпения вспыхивали одна за другой. Что только не предлагали взамен: и козенки, крашенные и полированные, и залитые свинцом бабки, с плоскими, сверкающими, как у цыганок, кольцами, и тугой черный мячик для лапты. Верька отворачивался, отклонял предложение и устоял перед всеми соблазнами.

Перешли на пустырь, играли в догонялки, потом в прятки, чтобы застукать. Сразу же досталось водить Верьке. И заводили, вокруг пальца обводили каждый раз, застукивались. И снова доставалось водить. Тогда Верька пошел на хитрость, зажал глаза ладонями, а в одном месте слегка раздвинул пальцы и увидел, как пытается укрыться рахитичный мальчонка с отвисшим пузом и ногами рогачом.

Когда совсем стихло, тут же застукал лупоглазого неповоротливого карася, сидевшего на корточках за ближним крыльцом. Новенький, как оказалось, бежал от голода с верховьев Волги и поселился у Покрова. Звали его Шурка Краснухин. Его-то

заводили прямо до слез. Он спотыкался, с ног падал. Бросил всё и убежал, тряся животом. Пришлось искать новые забавы.

К вечеру перебрались на Мостовую, как раз к тому месту, где по дороге начали укладывать булыжники к самой пожарке и навозили кучи песка. Сначала строили из него крепости, а потом кто-то предложил хоронить друг друга, зарывать в песок, но не взаправду, а понарошку. Глаза закрыть самому, чтобы было темно, как в склепе, а нос и рот не засыпать песком, чтобы дышать можно было.

Когда пришел черед хоронить Верьку, начинало темнеть. Туловище и ноги забросали песком довольно быстро, сложенные на груди руки и плечи обкладывали аккуратнее, как-то терпеливее, а дальше всё пошло не по уговору. Больно прижимали руки, голову, забрасывали песком лицо. Верька пытался крикнуть, добиться справедливости, но песок попал на язык, захрустел на зубах, дышать становилось невмочь, и в это время кто-то дернул за кобуру, ремешок лопнул, и кобура с пистолетом отделилась от Верьки. Тут же отпустили руки и голову, и Верька изо всех сил ворохнулся всем телом, вытащил руки, поднял голову и сел, отплеывая песок, протирая глаза, смутно видел стаю убегающих к Успенью, в проулк за дом Нижавских. Вырвавшийся «из склепа» Верька задыхался, сердце колотилось от невероятной обиды, но успел всё же нащупать в песке что-то твердое, похоже, камень. Поднялся и запустил в убегающих. Сначала пискнули, а потом из проулка раздался рёв...

Понял Верька: случилось что-то нехорошее и, отряхиваясь на ходу, побежал к дому с одним намерением шмыгнуть под одеяло, затаиться. Но не тут-то было, в кровать не пустили. Мать вытащила из печи огромный чугунок с горячей водой и стала отмывать чумазого сына, а песок везде – в волосах, в ушах, режет глаза. Мать ахала, обнаруживая синяки, ссадины, царапины боевого дня, проведенного на улице, расспрашивала обо всем, но Верька помалкивал, только всхлипывал. Не в его интересах было давать объяснения.

Ноги наскоро уже домывал сам и тут же забрался под одеяло, сделав вид, что засыпает. В это время в окно забарабанили, как во время пожара, резко, настойчиво, стекла задребезжали. Верька ушел под одеяло с головой, да так, что ноги с грязными пальцами выскочили

наружу. В спешке не вымыл как следует.

А баба с улицы истерично кричала в окно:

– Твуй бандит башку пробыв моему сыну. Хай идэ на расправу, а то викна буду бить!

– Мий пришел як слепый, ничего не баче, очи песком засыпаны. Як вин незрячий голову разбив. Не туды пришла!

Мать защищала Верьку, как волчица волчонка в своем логове, и пошла у окна перепалка. С одной стороны – свое кричат, а с этой – другое. И каждый раз нарастают визгливые, резкие выражения. Но как началась, так вдруг и оборвалась перепалка. Тетка с улицы ушла уже без угроз, а мать, отойдя от окна, кинула взгляд на Верьку, чтобы убедиться, спит ли её нашкодивший сыночек, и увидела торчащие из под одеяла грязные пальцы. Скорее всего, увиденное и выбило из колеи Верькину взбудораженную происшествием мать. Она сдернула одеяло с повинной головы сына и давай колотить его. Верька не видел, как попалась матери под руки угловатая деревянная распорка, которая поддерживала обычно крышку сундука, когда его открывали. И стала ходить эта палка по Верькиной спине, оставляя горячие следы. Верька орал во всю силу свою молодую. Вернулся домой отец и вырвал из рук матери проклятую распорку. Верька услышал слова отца:

– Так у тебя, мать, никогда не будет сына. Убьешь ведь, спину переломишь...

Верька и вправду целую неделю не вставал на ноги. Рубцы на спине от ударов распорки почернели от марганцовых примочек и долго не сходили. Переворачиваясь в постели, Верька постанывал и выговаривал матери:

– А говорила: в рубашке родился, счастливеньким будешь!

Клетка

Трудно вставала новая жизнь в здешних краях, в степях и по Волге – банды, вражда, голод, разорение за разорением. Уже тогда не всё и не сразу приняли здешние крестьяне.

Однажды Верька проник на какую-то пилораму у каменного моста через Ерик. Там полуслепые лошади покорно таскали огромные бревна,

схваченные цепями к пильным станкам, а водил их высокий веселый дядька. Пустил Верьку к себе и даже посадил на тихую понурюю лошадь, когда Верька похвастал, что уже не раз сидел на своем Воронке.

С шутками, прибаутками веселый дядька стал спрашивать и про отца, и про мать, и про то, где работают, чем живут, откуда Воронок им достался. Есть ли корова, какая еще живность имеется, непринужденно задавал вопросы, но не выпытывая ничего и не заставляя отвечать на них тут же. Да Верька и не мог на всё ответить, даже не понимал, что от него хотят узнать.

Где работал тогда отец, Верька даже не знал в точности и не потому, что отец часто менял работу. По малости лет сын мог и не знать об отцовских служебных переменах, как не знал и о том, откуда появился на дворе Воронок, свой ли он или положен по службе в военном комиссариате или на мельнице, когда гарнцевый контролер должен был колесить по степи. Но бывало, что Воронка и по своим делам запрягали и бахчи пахали, и сено возили. Коровы тогда не было и вообще не было во дворе никакой живности, кроме Верьки, которого и оставить не на кого было, потому что мать работала в это время.

Какое-то время жила дома чистенькая кошечка Мурка, у которой было две слабости. Она хорошо ловила мышей, но съедала их, громко урча и хрустя костями, непременно на кухонном столе. А еще была крайне плодовитой, можно сказать, матерью-героиней. Но любила почему-то производить своих котят на супружеском ложе родителей. За эти слабости и пришлось с ней расстаться. Так что с живностью дело обстояло крайне плохо. Даже при наличии Воронка отец не мог потянуть ни на кулака, ни даже на середняка.

— А почему твой отец саботирует коллективизацию? Почему он не вступает в колхоз? — явно провокационно ставил вопросы дядька-шутник.

Рассчитаны были эти вопросы явно не на мальчишку. И что он мог ответить? Через много лет Верька понял, что такие вопросы без всяких шуточек и перед отцом ставили. Может быть, потому и решил он перебраться в Царицын и строить тракторный завод на Волге.

— Но если уж и не кулаки вы, то явно подкулачники! — уже без всяких шуток зло заключил, как резолюцию выносил, веселый дядька,

поводырь отживающих свое время слепых лошадей.

Были у Верьки и еще неожиданные и, можно сказать, символические для своего времени встречи, памятные на всю жизнь. Малышня, забыв бывшие распри, когда «хоронили» Верьку, вновь копошилась в песке. Время уже перевалило за полдень, но солнце жгло нещадно. Из узкой улочки, шедшей от Покрова, от площади, на которой хоронили погибших в наших степях в борьбе с бандами чоновцев и продотрядовцев, медленно, одна за другой выползали запряженные верблюдами подводы с рыдванами, в которых обычно в наших краях возят сено. Валка оказалась длинной, а рыдваны без сена, еще сверху заколоченными, новые планки стянуты узлами, а вся решетка перевита еще и пеньковой веревкой. Издали рыдваны напоминали клетку для перевоза крупных зверей, а то и хищников, но внутри клетки были люди, в каждой по одному. Встать во весь рост они не могли, сидеть было неудобно, кто-то полулежал на брошенном в клетку клочке сена, но большинство стояли на коленях и, уцепившись обеими руками за решетку, искали глазами в подбежавших людях знакомого человека.

Верька уже слышал от отца про Пугачева, поднимавшего против царя народ, изловленного где-то в глубине наших степей и вывезенного отсюда в железной клетке. На этот раз клетки были изготовлены местными властями, их было много, и в каждой по бунтарю, и везли их чуть ли не от самой Кайсацкой, из древних «киргиз-кайсацких степей», из казахских улусов разноплеменных, русских и украинских скотоводов из наших Сусячых степей, что за Торгуном, из тех краев, где родился отец, где встретился с матерью.

Ребята забыли про свои игры и тревожно поглядывали на перекресток, у которого уже толпились набежавшие люди, а на Мостовую выворачивали все новые клетки с одиночными узниками.

Народ у перекрестка зашевелился, зашептался. Потом закричали: – Нюрку Горушкину клычуть, Орыныч зовет!

Кто-то из ребят подтолкнул Верьку, и он, поторапливаясь, подошел к самой клетке, в которой стоял на коленях крупный чужой человек, с открытой лысеющей со лба и уже с проседью головой. Глянув в глубоко запавшие глаза, Верька смутился. Он не знал этого человека, а только слышал, двигаясь за клеткой:

– Матерь поклычь, збигай поклычь!
Ты же Горушкин сын?

– Маманя в пекарне работает, булочки печет. Батяня в Царицын уехал.

– Скажи матери, что дид Сизоненко просыв хлеба с силью. Хай до переправы принэсэ. Раскулачили менэ, в Соловки везуть, як бандита...

Больше он не успел ничего сказать, махнул рукой и отвернулся, чтобы не видел мальчонка набежавшую слезу. Из толпы послышалось сдавленное рыдание, а когда спешил Верька к дому, какая-то баба сзади жутко заголосила.

Мать вернулась домой поздно. Оказывается, какая-то добрая женщина передала ей просьбу раскулаченного старика, и мать еще успела застать его на пристани, всунула передачку. От матери и узнал Верька, что это был за человек, богатейший на всю округу – нескитанные отары овец, самые крупные верблюжьи гурты, свое стадо коров, выращенные на продажу быки и лошади, а работал сам, как вол, с сыновьями и племянниками, батраков нанимая на сезон. Батрачила до замужества на Орыныча и мать Верькина. Никого не оставлял он в обиде, и шли к нему работники со всех сторон. Скотом расплачивался и деньги давал, чтобы работник стал на свое хозяйство. Когда раскулачивали, Христом Богом просил не трогать его, отрекался от имущества своего полностью, на коленях клялся не вредить советской власти ни словом, ни делом. Из Соловков не пришло от него никаких известий, сгинул со света белого...

Как Верька белены объелся

Несчастья валились на Верькину голову со всех сторон и каждый раз неожиданно. Были вперемешку и радости, так что всю правду придётся говорить без утайки. Как и в жизни взрослых, беды и радости у детей идут рука об руку, переплетаются. Верьке казалось, что от взрослых чаще приходится ожидать больших бед и совсем редко –



1913 год.

Рисунок А. Токарева.

маленьких радостей. Сам же Верька был, скорее, не только шаловливым пацаном, готовым на неожиданные проказы, о которых потом сожалел, но доверчивым человечком, открытым для добра с детства.

Разве мог знать Верька, что так несчастливо для него сложится утро нового дня! В этом он нисколько не был повинен. По холодку решил в этот день сходить, как и договорились с Борисом, на тот заброшенный двор, где познавал тайну испорченного ружья. Он часто заглядывал сюда, чтобы почитать вместе с Борисом про Робинзона Крузо. Очень уж хотелось пожить с ним на необитаемом острове и разгадывать каждый раз тайны окружающего мира. Но в этот день все так складывалось, что попасть к Робинзону Крузо в условленное время никак не удавалось.

Страсть как не любил Верька индейских петухов, этих надутых индюков, а они как назло у самой калитки важно расхаживали двумя выводками, вместе со своими индюшками и полным набором серой пискливой мелкоты. Вертели головами во все стороны, наливались кровью, раздувались их бесформенные гребешки, и так они воинственно и раскатисто квохтали, что Верьке становилось нехорошо. А когда он открывал калитку, главный индюк пригибал голову, набирал такую начальную скорость, что Верька едва успевал перед самым его клювом захлопнуть калитку. Давно уже понял Верька, как тяжело жить на свете среди совсем распустившихся индюков детям бедным и беззащитным: на улицу не выйдешь, хотя выйти крайне необходимо.

Оставалось пробраться через соседский двор. Забор отошел от угла дома, образовав заметное пространство. Верька тронул доску – пространство стало шире. Теперь можно и протиснуться, но в соседском дворе подал голос гусак. И Верька вспомнил, как этот гусачище недавно свалил его на пыльную дорогу, схватил клювом за тусы и чуть было не стащил их при всем честном народе.

Потоптавшись у дыры в заборе самую малость, Верька принял смелое, почти полководческое решение – штурмовать владения гусяного задиры. Очень уж хотелось выбраться на улицу! Раз–другой нажал то плечом, то руками повисшую на ржавом гвозде доску, и она отошла в сторону, но, когда пришлось протискиваться между нею и углом дома, доска принялась царапаться, словно слабые мальчишеские ребра торчали во все стороны.

Взъерошенный и слегка ободранный. Верька с воинственным видом, хотя и без доспехов, вырвался на простор чужого двора, где мирно, без всяких призывных кликов, как хозяин, расхаживал остроклювый гусачище, делая вид, что безразличен к вторжению всяких там голоногих соседей. Честь остаться незамеченным была принята как должное. Поспешая и на всякий случай оглядываясь, Верька прошмыгнул через голый двор и – к воротам. А подворотня здесь неплотно прилегала к земле. Верькина голова тут же оказалась на улице. Оглядевшись, вжался уже пострадавшими ребрами в песчаный проём, вцепился в полынный куст и начал подтягивать тылы. Тут-то и услышал, как у самой подворотни захлопал крыльями еще недавно сонный гусак. Ключнув пару раз без особой силы, для пробы, гусак прошел по незащищенным мальчишеским тылам тяжелой пулеметной строчкой. Тут-то Верька и заработал локтями, рванул на волю.

Было ясно, что с окружающим птичьим миром отношения у Верьки, прямо скажем, складывались неважно. Но он знал, что впереди его ждут большие открытия, связанные с жизнью Робинзона Крузо на необитаемом острове.

Цель была совсем близко, когда возникло новое препятствие: верхом на верблюде поднимался в степь низкорослый казах, утонувший меж верблюжьих горбов. Поначалу Верька даже не заметил, что на верблюде кто-то сидит. Казах снял с бритой головы большой пышный малахай, вертел им над собой, а другой рукой манил Верьку к себе:

– Пацана, хади-хади! Сюда хади-хади, пацана!

Опасливо поглядывая на верблюда, Верька видел, что загадочное животное, не переставая жевать, равнодушно изучает окрестности. Подошёл поближе, но так ничего и не понял в бормотаниях казаха, кроме слов «Кайсацкая», «Торгун», которые были известны Верьке как географические ориентиры, связанные с детством и юностью отца. Когда казах узнал, кто Верькин отец, он всем своим туловищем начал покачиваться меж верблюжьих горбов и радостно причитать:

– Васил Гаврила карашо! Васил Гаврила карашо!

– Как можно было понять, казах теперь знал, куда ему надо ехать. Обещал в другой раз привезти «Василе Гавриле» «кароший барашка» и спросил ещё:

– Где живешь, пацана?

Верька рванулся вперёд, чтобы показать свой дом, и совершил в тот день еще один доверчиво-опрометчивый поступок: оказался под самой верблюжьей мордой. Знал ведь Верька, чем это грозит, но уклониться уже не успел. Верблюд щедро оплевал его. Видно, ничего хорошего от юркой проказливой малышни он давно не ожидал.

После очередной в этот день и самой большой неприятности пришлось удирать стремглав, на ходу оттираясь и радуясь тому, что на улице не оказалось ребятни. Вот бы нахохотались на этом его позорище. Повалившись совсем на переднюю верблюжью кульбаку, казах сонно колотил не желавшего подчиняться верблюда по шее и с большим трудом поворачивал его на дорогу, ведущую в дальние Суслячы степи.

Пробраться на заброшенное подворье у дома Бориса Золотарёва не представляло никакого труда. Кто-то выдрал доску с гвоздями и унёс – там теперь зияла заметная дыра. Оказавшись сразу внутри двора, Верька той же, едва приметной тропкой направился к примятой траве у забора, на которой Борис, расстелив тряпочную ватоду, читал в прошлый раз про того же Робинзона Крузо.

Не найдя Бориса на месте, Верька прошёл дальше, к внутренней калитке во двор Золотарёвых, но она была наглухо закрыта. И тут только заметил, что незнакомый парень, только что висевший на заборе, метнулся в ядовито зелёные заросли. Вскоре парень, убедившись, что перед ним безобидный мальчонка, вышел из укрытия и направился к Верьке. Был он ростом невелик, но скроен ладно, грудь колесом, а глаза острые, настороженные и со злинкой. Поиграл мускулами и, скрывая досаду, что его застали на заборе за подглядыванием, спросил с хитрой наигранной улыбкой:

– И ты до Бориса? Шо ты шныряешь тутычка, як шпана?

Готовый обидеться, Верька насторожился, но, нисколько не растерявшись, ответил:

– И совсем не шпана я, а мальчик, друг Бориса. И не я, а ты лазишь по заборам, а я пришел читать про Робинзона Крузо...

– Кого, кого будешь читать?

– Про Робинзона Крузо, как он дикарей-людоедов победил на необитаемом острове, когда они на пирогах туда приплыли...

Но парня с острыми злыми глазами Робинзон Крузо, видно, нисколько не интересовал.

– А што ты такой заплеваный? Мабудь, верблюд рыганул? От горшка два вершка, а туда же... И закончил уже примирительно:

– На, обитрысь.

Протянул Вержке тут же сорванную метелку подсохшего веника.

Оттирая доступные места, Вержка решил, что верблюд не очень обозлился на него и даже пощадил лицо. А может быть, на голову и на спину попало жеваной зелени, но какая беда, обсохнет, отстанет, а вечером мать отмоет мочалкой, хотя, скорее всего, той же мочалкой и перепадет разок- другой.

Гораздо важнее исподволь разглядеть незнакомого парня в грязной майке и латаных штанах. Сейчас он стоял против Вержки и демонстрировал себя: поплёвывал сквозь зубы, поигрывал мышцами, а совсем недавно заглядывал на золотаревский двор. И было видно, что неожиданный приход Вержкин чем-то помешал ему. Он и при Вержке продолжал искать возможность заглянуть внутрь двора, но забор был плотным, и ничего не получалось.

Явно недовольный приходом нарушившего его намерения малыша, юркий парень отошел в глубь заброшенного двора, к высоким ядовито-зеленым, как крапива, кустам с крупными ягодами и поманил Вержку к себе. Кусты эти были осыпаны такими же ядовитыми гроздьями. Вержка принял их за ещё не поспевшие пасленовые ягоды, но эти были крупней и с каким-то заманчивым блеском. Такие гроздья Вержка видел впервые. Крепыш в грязной майке бухнул:

– Дурак ты, пацан! Цэ не паслен, цэ райска ягода! Спробуй. Гирька, як хина, но рай побачишь!

И сам тут же сорвал и бросил в рот ягоду. Когда он выплюнул её, Вержка не заметил.

Кому не хочется поглядеть райскую жизнь, чем она от нашей отличается! Бросил Вержка в рот пару ягод, раскусил и замер от горечи, в горле как заколодило, но, давась, всё же проглотил. В это время скрипнула и открылась калитка. Появился Борис. Увидев Вержку, сказал:

– Я тебя, Веря, давно жду. Сейчас читать начнём. Потом, заметив крепыша, резко сменил интонацию:

– А ты, Сивый, что тут делаешь? Опять шkodить пришёл?

Юркий парень бросился в кусты и – удирать. Борис подошёл к Вержке и стал расспрашивать, чем тут занимался Сивый. Вержка объяснил, что застал его в то время, когда он висел на заборе и подглядывал.

– Ты что, не знаешь Миколу Сивого? Это же шпана с Ерика, мелкий воришка. Он уже к нам забирался.

– А мы с ним райскую ягоду ели, – признался Вержка и, раскрыв ладонь, показал оставшиеся несъеденными два ядовито-зеленых плода.

Борис изменился в лице и повысил голос, чего раньше Вержка не замечал за ним:

– Беги скорее домой! Покажи матери, что ты тут съел!

Вержка не на шутку испугался, заторопился, а Борис чуть ли не подталкивал его в спину, вывел на улицу. У дома своего Вержка почувствовал тошноту, легкое головокружение. Мать, придя с базара, была в летней кухне, возилась у печки, когда Вержка, едва перешагнув порог, схватился за полог и, оборвав его, упал на мазанный глиной пол.

– Что с тобой, сыночек? – кинулась к нему мать.

Вержка успел разжать ладонь, и из неё выкатились две оставшиеся «райские ягоды».

– Батюшки мои, беда! Да ты же, Вержа, белены объелся...

Что было дальше, Вержка не помнил. Знал только, что спас его отец, пришедший в тот день с работы раньше обычного. Узнав про беду, сбежались соседи, но никто толком не знал, что делать в таких случаях. Отец схватил сына в охапку и – вниз по Мостовой, к доктору Коблову, молодому доктору, только что появившемуся в слободе. Тот растерялся, засуетился и честно признался, что не может оказать первую помощь. Отец повернулся и – к старому испытанному слободскому фельдшеру Иващенко. Тот и помог: вызвал рвоту, промыл желудок и велел отпаивать тёплым молоком...

Как отец донёс Вержку домой, как с трудом уложил в постель – всего этого Вержка не мог знать. В бреду он бормотал что-то, издавал бессвязные звуки, размахивал руками, лез на стенку и, стискивая зубы, никак не хотел принимать молоко. Отец, скрестив руки сына на

грудь и зажав их коленом, округлым тупым ножом разжимал рот, а мать влиwała молоко, вызывавшее новые рвоты.

Три дня и три ночи, как в сказке, боролись за его жизнь. Обо всем этом Верька что-то узнал потом со слов родителей, а, что пережил сам, припоминал смутно. Жизнь его была на грани сказочного и реального, но объяснить своё состояние после того, как Сивый накормил беленой, он никак не мог.

Сплошным бредом с галлюцинациями оказались вторые сутки. Голова чугунно-тяжелая, словно бы отделенная от туловища, ноги и руки беспорядочно бьются о стенку. Царапая себя ногтями до крови, хотел вырваться из духоты, подняться над горячей постелью. Тело, кажется, стремясь к блаженству, облегченно уносится в иные миры. Да и видения в таком состоянии были уже не миражами, а какими-то райскими, потусторонними.

Случилось Верьке уже чуть постарше переболеть малярией. И то ли от хинина, то ли оттого, что температура поднималась до смертельной грани, в ушах гудело, веки набрякли до того, что глаза открыть не было возможности. Беспорядочные резкие движения сменились тяжестью во всем теле, язык не помещался во рту, и оттого духота нарастала. Весь мир, казалось, растопится – нездешние желтые цвета смешивались с красными и были языкастыми, как всепожирающий огонь.

Верька рассказывал мне, что после съеденной «райской ягоды» были у него и видения «райские»: наступала непроглядная чернота, всё угасало, но мрак неожиданно, на мгновение, освещался пронзительно, словно молнией прорезывался. После чего оставались голубые всполохи, подогреваемые жарким языкастым пламенем. Появлялись после этого белые, как пуховики, манившие влагой тучи, а над ними порхали, как ангелы, нежно-белые голубки с розовыми ножками, словно манили, звали к райской жизни.

Никакие холодные компрессы не помогали, даже горчичники, поставленные на пятки, не оттягивали жар от головы, а тёплое молоко всё вливали, вливали в горящее тело. Рвоты утихали, хотя дышать всё ещё было трудно.

К середине третьих суток жар начал спадать, Верька реже бредил, а иногда даже глаза открывал, но фельдшер сказал родителям, что

резкий свет опасен, и велел наложить повязку на глаза. Верька метался в темноте и пытался срывать повязку, а к ночи вышел из забытья и попросил пить. На смену потусторонним видениям с буйством красок, множеством незнакомых на земле цветовых перемен, приходила явь, даже бытовые картины, разорванные жизненные эпизоды, серые будни, но ещё освещенные слабым, уже далёким светом иного мира, в который вела начинавшая отступать болезнь.

Начинали появляться живые подвижные лица, то добрые, как у отца, то насупленные, злые, как у Домового с каланчи. Появлялись ласково-блаженные люди, которые вдруг превращались в стариков и старух с уродливыми масками вместо лиц и творили дикие пляски вокруг костров. А смена света и тени на их лицах-масках делала их совсем страшными.

Верька даже вздрогнул, когда в языках пламени появилась голова Миколы Сивого, словно бы он горел в костре, но улыбался сладко и ласково до приторности и уговаривал, отводя злые глаза в сторону: «Ты попробуй, це не паслён, це райская ягода. Спробуй!». Может быть, в это время Верька и закричал от испуга, замахал руками, а, когда мать стала успокаивать, вырвал руки и впервые проснулся, с испугом спрашивал:

– Где я, мама, где? Прогони Сивого, прогони скорее!

Мать не понимала, какого Сивого надо гнать, но обрадовалась, что сын впервые связно заговорил. Верька ещё долго страшился таких видений, но, успокоенный матерью, вскоре уснул, задышал ровно и глубоко.

К утру пошли совсем живые картинки про Робинзона Крузо, как он ушёл из дому, как на корабль напали пираты и как бежал из плена, охотился в Африке на льва, на леопардов, встречался с дикарями, голыми чернокожими людьми. Обо всём этом читал ему Борис Золотарёв. Верька и теперь слышал его голос, затаив дыхание, как на пустыре, когда вместе лежали в траве на ватоле.

Шторм в море на пути из Бразилии, крушение корабля и жизнь на необитаемом острове потрясли Верьку, открывая неведомый доселе мир. Робинзон становился героем, верным спутником мальчишек, избиравшим его образом для подражания.

Вскоре после того, как Верька выздоровел, отец принёс ему

новенькую книжицу с яркими увлекательными рисунками. Книга была желанной – «Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо». Лучшего подарка и придумать нельзя. Веря читал по слогам, папа помогал ему, чтение шло всё лучше, интерес к книге нарастал. Более радостной, совсем счастливой жизни в это время, кажется, и желать было невозможно. Отец не отходил от Верьки, баловал его, брал с собой во все поездки. К зиме сшили для Верьки настоящий кожаный жилет, и он ездил в нём вместе с отцом в степь. Тогда даже заблудились, попали в жуткую метель, но Воронок выручил, привёл к жилью...

Ранней весной выезжали на Воронке далеко за слободу пахать бахчи. Снег сошёл, но было ещё холодно. Там, где лежала целина, красными и жёлтыми газонами цвели тюльпаны, словно бы высаженные заботливой рукой человека, голубели нежно герани, а рядом чёрно-рыжими квадратами стелилась только что вспаханная степь, сочная, ждущая семени.

Отец шёл за плугом, мать вела Воронку, а Верька семенил рядом. Очень хотелось ему помочь, но он больше мешал. Воронок напрягался, ритмично помахивал головой и вырывал поводок от уздечки из Верькиных рук. Загон оказался длинным, и чтобы пахать без проплешин, нужно было помогать отцу уверенно вести прямую



На бахче. Рисунок А. Токарева

борозду насквозь. Отец уставал, всё больше отходя по службе от крестьянских дел, отдыхал сам, да и Воронку давал отдохнуть. А Верьку под всякими предлогами отгоняли от лошади. Отец сажал его верхом на Воронку и, вышагивая рядом, отвозил на стан.

В день приезда на пахоту было пасмурно, порою срывался снег, и отец на скорую руку соорудил шалаш из нескольких слег и прошлогодних подсолнечных будыльев, накрыл всё это сооружение старым брезентом, а внутрь бросил пару навильников сухой, перезимовавшей в скирде соломы...

Когда родители вновь ушли на пахоту и загон увёл их так далеко, что пахарей и разглядеть было невозможно, Верька забрался в шалаш и почувствовал себя Робинзоном на необитаемом острове. Добыл из отцовской плетеной корзинки спички и решил развести очаг перед самым входом в шалаш, как, казалось ему, делал это отважный Робинзон Крузо.

Надо вспомнить здесь, что после болезни Верька воспылил страстью к огню. Любил он особенно вечерами сидеть у круглой голландской печи и наблюдать за причудливыми языками пламени, за яркой, но короткой жизнью огня. На этот раз чиркнутая о коробок спичка вырвалась из рук и улетела к выходу из шалаша. Так появился сначала совсем маленький, временами затухавший язычок пламени, он поначалу неуверенно двигался в сторону, опадал вниз и, затухая, плясал на отдельных, отливавших золотом соломинах. Верька, как заколдованный, наблюдал за пляской огня перед самым его носом, а вспыхнула солома внезапно и бурно, с лёгким потрескиванием, и пламя в одно мгновение заслонило выход из шалаша.

Никак не предвидя такого исхода, Верька растерялся. Пламя разрасталось, седовато-чёрный дымок уже забирался в горло и в ноздри, начинался кашель, а пламя по слегам полезло вверх – и выход из шалаша был отрезан. Тут-то Верька и решился на отчаянный шаг, вспомнив, как в буйном бреде райских видений возникали пляшущие вокруг костра дикари, как прыгали они через огонь. Ринулся в пламя на выход из шалаша и, обожженный, – без ресниц и бровей – оказался на воле. Выскочив, испуганно озирался по сторонам, дрожь пронизывала тело, зуб не попадал на зуб, а, объятый пламенем, шалаш полыхал, отдавая Верьку жаром.

Из дальнего загона верхом на выпряженном из плуга Воронке раньше всех оказался у догоравшего шалаша отец. Вслед за ним, запыхавшись, прибежала мать. Начали сходитья люди, пахавшие поблизости. А Верька так и стоял перед шалашом, у совсем уже опавшего к земле огня, бледный, как смерть, полный сознания непоправимой вины своей и готовый принять любое наказание.

Как всё произошло, Верька не мог никому объяснить, если бы даже его стали пытаться. Но он догадывался, что наказывать его никто не будет, и от этого переживал свою вину ещё острее. Отец прижал сына к себе и чувствовал не только дрожь его тела, но и тревожное душевное состояние вступающего в жизнь пацана, уже познавшего, как тяжелы её «райские ягоды», как сложны, а нередко жестоки людские отношения, как несправедливы отцы и дети перед лицом непознанного мира.

Огонь пожирал совсем жалкий, наспех сооруженный шалашик, а интерес к жизни, жажда познания всего сущего, несмотря на жестокие удары по неокрепшей ещё мальчишеской спине, продолжала разгораться.

К красной Маше на черной свинье

Рано, слишком рано Верька влюбился в одну маленькую, пухленькую, умненькую и очень красивую девочку.

Случилось это совсем неожиданно. Мама решила приодеть Верьку, сшить ему вельветовые штаны на помочах и повела сына к портнихе, что жила неподалеку.

Во дворе зажиточного дома со светлыми, залитыми солнцем окнами находился деревянный флигелек с крохотными оконцами на темный переулок. Прямо из холодных сеней вступаешь в горенку, где и повернуться-то было трудно. Темные окошки за светлыми шторами, узкие подоконники сплошь уставлены пахучей геранью. А в темных передних углах – угрюмые фикусы с ребристыми, почерневшими от времени и вьющейся пыли листьями-крыльями. А меж окон на маленьком столике приткнулась ручная машинка «Зингер и К^о».

Портниха оказалась совсем молодой, моложе мамы. Шустрая и

ловкая, она примеряла раскроенные куски вельвета и тут же сметывала их. Когда ей помешали замызганные полотняные штанишки, она, не спрашивая разрешения, слегка приспустила их. Верька даже не заметил слишком делового жеста и продолжал покорно поддаваться тому, что его вертели и крутили туда-сюда. Он не раз обернулся вокруг себя и совсем неожиданно заметил, как у глухой стены горенки раздвинулись пестрые занавески, прикрывавшие спальню с пышно заправленной кроватью, и меж створок блеснули огромные глаза в черной оправе ресниц и бровей. Шедший оттуда, из бездонной глубины, свет озарил всю горенку. Глаза эти уставились на него и смотрели так внимательно, что Верька невольно потянулся обеими руками к сползавшим полотняным штанишкам и шустро поддернул их, возвратил на место.

– Мальчик, чего ты испугался? – сказала портниха. – Это моя доченька... Маша, подойди сюда, дай ручку мальчику Вере.

Девочка подошла, протянула руку и сказала, стесняясь:

– Маша... А почему тебя зовут Вера? Ты же мальчик...

– И вовсе не Вера, а Веря, – после некоторой паузы нашелся гость, а сам исподтишка постреливал глазами на новую знакомую.

Маша так понравилась Верьке, что после скрытного подглядывания он начал стесняться её. Девочка была чистенькая, ухоженная и такая ладная и общительная, что Верьке хотелось скорее привыкнуть к ней, но её огромные нездешней глубины глаза с добрым потайным блеском продолжали смущать. Он не мог открыто и спокойно смотреть в эти глаза, тонул в их глубине и терялся, когда Маша простодушно, с детской непосредственностью смотрела на него...

По дороге домой мама спросила Верьку:

– Понравилась тебе Маша?

Верька молча кивнул. Через некоторое время, после затянувшихся размышлений, мама сказала вслух, скорее, для себя, чем для Верьки:

– Крепко, видно, приворожил нашу швейку заезжий цыган. – Оставил и память о себе, такую красавицу девицу – залюбуешься...

Понял Верька, что Маша понравилась и маме...

Через пару дней, когда снова отправились в знакомый переулок, Верька шел охотно, припрыгивая и радуясь. К сожалению, занавеска не раздвинулась. Маши не было дома. Она явилась со двора, когда

началась примерка, и уселась невдалеке, смущая Верьку еще пуще, чем в прошлый раз.

Еще до появления Маши, в самом начале примерки, Верька понял, что в новых штанах слишком много прорех – и спереди, и сзади – и стал протестовать против такой несправедливости. Дескать, сверстники издеваться будут, видя такую заботу о нуждах мальчонки, да и сам он, в конце концов, кое-что соображает. Но мать настаивала на такой конструкции с прорехами, ссылаясь на какие-то давнишние случаи, чем очень обидела сына. Подумаешь, всего разок-другой и случился грех. Со всеми такое может случиться. Хорошо, что об этом вспомнили тогда, когда Маши не было.

Совсем неожиданно, уже при Маше, чтобы убедить Верьку в своей правоте, весело, вспыхивая раскатистым смехом, начала вспоминать, как встретила впервые со своим суженым. Совсем девчонкой оказалась в глухой степи в то смутное, полное неясных перемен время, батрачила у богатого Орыныча. А молодежь оставалась молодежью, жгла по вечерам костры, собиралась с окружных хуторов для свиданий. Кто побогаче тот, на вечера прискачет и принаряженный гарцует у огня, выказывая удаль молодецкую. Василий пешечком приходил. В обычной крестьянской одежде, что и в будни носил. Одинок стоял в стороне, выглядывая свою избранницу среди набежавших на огонь девчат...

– А штаны у него с прорехой были, – закончила свои неожиданные и неуместные воспоминания мать. – Так и замуж за него пошла. Новые только к свадьбе сшили.

От такой материнской откровенности Верька даже опешил, все это время тревожно поглядывая, как внимательно и настороженно слушала Маша. Верьке даже неприличным показалось материнское откровение. Пуще всего обиделся сын за отца. Пусть так и было, но зачем на людях рассказывать об этом? Чтобы отца обидеть, его серость, бедность, забитость деревенскую выразить? Или чтобы сына заставить до свадьбы такие же штаны носить? Может быть, унижить его в глазах Маши? Ну, уж этого Верька совсем не мог вынести! Казалось, что мать не хочет его понять или нарочно издевается над его переживаниями.

Верька уже готов был расплакаться от обиды и бессилия что-либо переменить в своем положении. Уперся, что штаны такие он, хоть и

маленький еще, но носить не будет. Настоял все-таки на своем: заднюю прореху застрочили, а переднюю застегнули скрытой пуговицей.

Ушел Верька из флигелька, даже не попрощавшись с Машей. Стыдно ему было за маму, так нехорошо обрисовавшую его отца да еще при Маше, о которой совсем недавно говорила – «залюбуешься красной девицей». Неужто она не понимала, что переживал её сын? Да и в глазах Маши прочитывалась неловкость. Она с сочувствием поглядывала на Верьку, убеждая глазами стоять на своем. Разве матери не надо понять эти первые, трепетно обнаженные и незащитные чувства сына? А дома еще и выдрали Верьку за упрямство. А что тут такого? Только и сказал матери тихо, без всякой злобы:

– Я эти паршивые штаны ни за что носить не буду.

Долго бы лежали чистенькие, наглаженные штанишки без дела, если бы не случай...

Жила-была у соседей большущая, черная-пречерная свинья. Казалось, она только тем и занималась, что плодила себе подобных. Ее брюхо розовело вечно оттянутыми сосками, всегда готовыми накормить прожорливых питомцев, которые тыкались в нее бесцеремонно и требовательно, наступая друг на друга, а то и покусывая кормящую мать без всякой надобности, ради своего свиного удовольствия. А была еще эта свинья, в отличие от иной докучавшей Верьке живности в ближайшей округе, необычно доброй. К Верьке она относилась даже ласково, если можно сказать так о свинье.

Когда черная Хавронья забиралась в позеленевшую лужу у колодца, она походила на плывущую бочку. Маленькие ее ножки скрытно семенили в воде, и казалось: грязная бочка покачивается из стороны в сторону, и рябь от нее расползается по луже кругами. Вот только долго ей нежиться не давали, выгоняли из лужи. Тогда она довольствовалась меньшим – широко разбрасывала свои тела на сыром песке и блаженно похрюкивала. Верька, оказавшись в такое время на улице, не упускал случая почесать Хавронье за ушами. Она блаженно щурила глазки, закрывала их в великой неге, но изредка все-таки приоткрывала до самых узеньких щелочек, чтобы запомнить того, кто доставляет ей такое удовольствие.

О сотворенном благе Верька быстро забывал, но Хавронья это не могла забыть. Возвращаясь домой и проходя мимо заигравшегося в песке Верьки, она как-то особенно благодарно хрюкала, прикасалась пяточком к уху. И так было всегда. Она издали замечала Верьку, даже поджидала его, чтобы выразить особое к нему расположение. Этим свиным чувствам Верька, разумеется, никакого смысла не придавал. Знал о них, и только. Тем более, никак не рассчитывал воспользоваться ими корыстно.

Когда же произошла размолвка с матерью, у Верьки в голове завертелись все наличные к тому времени шарики и начала складываться необычная, но привлекательная мысль: а не использовать ли добрые хавроньины чувства во благо? Чем дальше, тем больше эта мысль оттачивалась в Верькиной голове, поворачиваясь неожиданными сторонами. То пугая своей бедовостью, то вызывая радостную улыбку и веру в осуществление планов.

Поначалу Верька решил промерить весь путь от своего дома до портнихино флигелька. Была и надежда встретиться с Машей без пригляда матерей, что называется, с глазу на глаз. А натура Верькина с малых лет переполнялась нетерпеливой, жаждущей действия энергией. Выжидать он не привык и тут же подался с горушки прямо по Мостовой. Спуск до Золотаревского переулка показался крутоватым и тяжелым. Пожалуй, для мелких свиных ножек он был бы совсем крутым. Даже Верькины ноги вязли в горячем песке. Зато дальше, уже до заветного переулка, шла тропинка и гладкая, и совсем некрутая. Планы складывались верные, в этом не было никаких сомнений.

Теперь бы еще Машу повидать. Не успел подумать об этом – как в сказке, скрипнула калитка, ведущая во двор к флигельку, и вышла из нее загоревшая, румяная Маша в красной панамке. Прикладывает ладошку к глазам, просматривает жаркую улочку и вздрагивает от неожиданности, узнавая Верьку. Видно, ждала его, радуется встрече, но виду не подает, потупилась взором.

Встретившись уже у калитки, долго стояли молча. Верька не знал, с чего начать, отводил глаза от Маши, смущенно поглядывая вниз и наблюдая, как она перебирает пальцами босых ног в горячем песке. Маша первой подняла свои бархатные глаза и спросила:

– А почему ты так долго не приходил? Тебе от мамы попало?

Веря кивнул, но ничего в свое оправдание сказать не мог. Да, попало.... Да, не приходил давно. И этим как бы говорил: видишь, я стою перед тобой, все-таки пришел...

Маша спросила:

– А где штанишки, какие моя мама сшила тебе?

– Лежат в комод.... Еще не одеванные...

– За них тебе и попало?

Верька опять кивнул. Они с Машей, кажется, понимали друг друга без слов.

– А мы скоро уезжаем, – грустно, растягивая слова, сказала Маша.

– За нами папка приехал... Увезет далеко-далеко, к морю.

От такой новости Верька совсем опешил, не зная, что и сказать. Хотел он попросить Машу остаться, не уезжать, но просьба застряла в горле и никак не выговаривалась. Затянувшееся молчание Маша вновь прервала вопросом:

– А ты еще придешь ко мне?

– Приду. Завтра же приду, – поторопился Верька с ответом. – Я даже приеду!

– Буду ждать тебя, – сказала Маша.

Они заглянули друг другу в глаза, пожали руки, словно расставались не до завтра, а надолго. Верька ненасытно глядел в нездешние Машины глаза, и она не смущалась, отвечала ему тем же. Верьке даже показалось, что ее рука дрогнула в его ладошке. Так и простились. Калитка скрипнула и закрылась.

На другой день, выждав, когда мать ушла на работу, Верька забрался в комод, достал новехонькие плисовые штаны, свежую рубашку с пуговицами горошком, в которой, как он считал, появился на свет белый, и выбрался на улицу. Теперь главную роль в его планах суждено было играть черной свинье.

Хавроньи около колодца не оказалось. Наверное, решила не выходить сегодня на свою обычную прогулку. Долго подждал ее Верька – сначала терпеливо, а к концу ожидания уже без всякой надежды. Свидание с Машей пришлось переносить на завтра...

Всю ночь Верька не спал, всю ночь ему снилась Маша с нездешними глазами, в поволоке которых, как в ночном бархатном небе, можно было разглядеть Млечный путь, усыпанный искрами

звезд. Они то притухали, почти гасли, то разгорались вновь, таинственно мигали, звали к себе.

Неожиданно из густой темени появилась едва приметная, черная-пречерная и, как показалось Верьке, несколько виноватая Хавронья. Она хотела, но не могла объяснить свое вчерашнее отсутствие и спешила замолить свои грехи, выказывала готовность тут же прийти на помощь и развалилась перед Верькой в ожидании.

А у Верьки разыгралось воображение. В ночи вовсю горели костры, освещаая взгорье у лимана. Со всех сторон съезжались крепкие крестьянские ребята, коренастые степняки. Верька видел все это, как наяву, и рассуждал с самим собой. Что же делать, если у нас во дворе да и во всей округе не осталось ни одной лошади. Так пусть отвезет меня к ней соседская свинья. Чего тут такого, ничего зазорного нет. Правда, очень уж она черная, частенько бывает и грязной, но зато добрая. А Маша поймет и простит. Не было у меня другого выбора.

Проснувшись, Верька бросился к окну. Хавронья была на улице и уже вывалилась в зеленой луже как следует. Болотная пена клочьями свисала с нее. Лучше бы она, конечно, не свершала таких свинских выходов, но с этими ее слабостями приходилось мириться.

Верька в одно мгновение принарядился в ту же белую рубашку и в новые свои плисовые штанишки на помочах и выбежал к колодцу. Хавронья заметила его и, похрюкивая, пошла на сближение. Верька выдрал у забора большой лопух и, почесывая избалованной свинье за ушами, вытирал ей спину, сбрасывая с места, где будет восседать, скользкую зеленую пену.

На первом этапе выезда решено было прижаливать Хавронью. До Золотаревского переулка Верька бежал за ней рядышком, почесывая за ушами, всячески ублажая и очень надеясь, что черно-зеленая спина успеет обсохнуть за это время. У казенки приостановил свинью и взобрался на нее. Хавронья довольно легко и покорно понесла для нее не тяжелый груз, охотно продолжала путь, не зная усталости, хотя впервые так далеко уходила от своего дома. И все-таки дорога для нее была долгой и непривычной. Тяготила и тяжесть, хотя Верька сидел на спине смиренно.

У самого переулка, когда надо было поворачивать к портнихиному

флигельку, Хавронья забеспокоилась, начала вертеться на месте то в одну, то в другую сторону, словно норовила сбросить Верьку, направлявшего ее в переулок ногой, как лошадь. И это ей, видно, больше всего не понравилось: чем Верька сильнее колотил ее по правому боку, тем больше она не хотела подчиняться ему. Хавронья сначала повизгивала, выражая недовольство, потом протест ее нарастал, она визжала во весь голос, как резаная, и в довершение всего повалилась на бок, прижала ногу, вываляла в грязи, даже поддала пяточком Верьке под зад, фыркнула и подалась домой на горушку.

На что были похожи Верькины новые плисовые штаны, родимая белая рубаша с пуговицами горошком! Все было измято, испачкано зеленью вперемешку с землей до неприличия. Разве мог он в таком виде предстать теперь перед всегда чистенькой Машей? Самые лучшие его замыслы Хавронья испоганила, превратила в грязь. Вместо торжественного наряда для выезда у Верьки был жалкий вид замызганного бродяги. И все-таки он не мог не повидать Машу,

Когда совершенно подавленный Верька подошел к щели и стал заглядывать через щелки забора во дворе, калитка скрипнула и в ней появилась основательная, всегда чем-то недовольная хозяйка большого дома. Оглядела Верьку недоверчиво, буркнула:

– Что шныришь тут, пацан, что подглядываешь?.. Фу, да от тебя несет, как в свинарник лазил...

Пускаться в объяснения Верька не собирался и лишь, переминаясь с ноги на ногу, спросил:

– А Машу можно позвать?

– Была Маша да вся вышла.

Заезжал портнихин хахаль и забрал их с собой. Обещал



Юность.

Картина А. Токарева.

сладкую жизнь у самого синего моря. А ты еще малый по девкам бегать... Хай тебе мать ремня выдаст.

Что он мог сказать этой вредной тетке? Что дома его ждет ремень? Так это он и без нее знал. Не сказал ни слова, отвернулся и пошел к Мостовой.

Машу Верька больше никогда в жизни не видел, только во сне. Как всегда возникали в ночи ее глаза, бархатно-ласковые, бездонные, как небо, с теплыми зовущими искрами. Вспыхивая, они звали к себе, но было в них и что-то тревожное, как и вся жизнь наша, хотя над глазами этими всегда вздрагивали счастливые подковки бровей...

В ночное

Отец начал рано приучать Верьку к домашним делам, к обычным житейским хлопотам, что были под силу и малышу. То небольшое ведро с водой поднести к кухне, то охапку сена бросить Воронку в кормушку, то какую-нибудь дощечку приколотить, двор подмести. Не все получалось сразу, но Верька старался, прирастал к делу.

С малых лет приучал его отец сидеть верхом на Воронке. Вцепившись в гриву лошади, Верька поначалу орал, боялся упасть, а отец делал вид, что не слышит крика, но всегда был рядом и доглядывал, чтобы малыш не рухнул с лошади, а привыкал к ней.

В то утро встали в доме, как всегда, рано и собирались не торопясь, основательно. Отец приторачивал к телеге хорошо завернутые в холстину косы, чугунный котелок приличных размеров. Мать на кухне собирала в узлы глиняную посуду с деревянными ложками, хлебом и солью, совала в зембель кринку с квасом, горшок с кислым молоком и снедь эту прятала в сено на заднике той же телеги.

– А ты, сынок, сходи к колодцу, напои Воронка, – сказал отец и отдал в руки сына поводок уздечки.

Верька рад стараться. Воронок привык к нему, идет сзади, помахивая головой, тычась мягкими губами в Верькину щеку. Подвел к колоде лошадь, напоил и собрался домой. Но Воронок не хочет идти, фыркнул, махнул головой, вырвал поводок из рук мальчика и доволен: лег на песок, катается, шею вытягивает, голову о землю чешет. Испугался Верька, бросился стремглав через улицу и, едва

открыв калитку, кричит на весь двор:

– Папа, скорее... Воронок помирает, на песок упал и ногами дрыгает!

Отец подбежал к калитке и вместе с Верькой – на улицу, а Воронок уже стоит у колодца, поднялся с песка, отряхивается и сам идет через улицу к дому. У Верьки глаза на лоб забрались: только что помирала лошадь, теперь бодренько идет домой, фыркает от удовольствия, потому что дурачка обманула. Как бы невзначай отец потрепал сына за ухо и сказал:

– Ты, оказывается, сынок, обманывать научился... Собирайся-ка поскорее, возьму и тебя на сенокос. Пусть мать даст одежонку потеплее, тогда и в ночное пуцу, Там, гляди, и узнаешь, что лошади так не помирают.

И оказался Верька в Займище, на лугах. Переправлялись на узконосых лодчонках. Сережа Восьмушин гордо сидел с правилом на корме, как жердь проглотил, и ловко вырулил через затравевшие протоки на сухой берег, где и разбили стан на всех сложившихся в артель косарей. Подъезжали еще лодки, выгружались со снастями и припасами новые косари и уходили бригадами в глубь длинющего Казачьего острова.

Травы в тот год буйствовали, чуть ли не в рост человеческий вымахали, и острующие, как бритвы, косы вгрызались в самую гущу спутанных водой и ветром трав, ходили в дурманно-сочных зеленях, выговаривая:

– Вжиг, вжиг, вжиг...

И видел Верька, как кружились над взмокшими головами косарей шмели и осы, как темнели рубахи меж лопаток, как падала, падала, падала только что стеной стоявшая трава...

Один за другим вспыхивали на берегу костры. Прихваченная косарями ребятня из тех, что повзрослее, забивала рогатины, бегала к реке за водой, и меж рогатин вешались на жердях прокопченные чугунные котелки, вместительные, на всю бригаду. Берег был усыпан мелкой ребятней, соревновались, кто больше наловит сорной рыбешки на уху. Сережа взял Верьку в свою лодку и давай шнырять по заводям. В траве у него еще загодя были поставлены венгеря на хорошую рыбу с приманкой. «Трясли» и чужие венгеря, если попадались под



На рыбалке. Рисунок А. Токарева.

руку. К костру привезли рыбы не на одну уху – и окуни, и лини, и шустрые щучки приличных размеров. Всего вдоволь, а ребятня ершишек и всякой мелкоты для вкуса натаскивает.

В полдень потянулись к становью совсем взмокшие косари, раскидывали в тени брезенты и садились обедать. Вместе с отцом из одной миски и Верька хлебал вкуснющую ушицу, ел подsunутые отцом куски мягкой рыбы без костей, закусывали мамиными пирогами, запивали холодным кислым молоком прямо из крынки. Так было хорошо, благодотно на душе, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Вздремнув самую малость, косари уходили к своим наделам, и вновь кружилась под ногами земля, падала трава под косой полукружьями, а солнце медленно сползало с выси к горизонту, из огненно-желтого становилось красноватым и уже не жгло так нещадно, как в середине дня. Косари возвращались на становье совсем без сил, падали в наспех сооруженное ложе и засыпали, чтобы утром продолжать привычное дело.

Ребятня уходила в ночное стеречь оставленных за рекой лошадей. Запасались картошкой, брали одежду потеплее – ночи были еще холодные¹ – и переправлялись на слободскую сторону. Здесь, на высоком бугре, на стыке Волги и Воложки, паслись наши стреноженные лошади. Пьянящий дух скошенной поутру луговой

травы смешивался с наносимым со степи ветром особым ароматом здешних трав, находившихся в буйном весеннем цветении, и едва еще слышимым дыханием молодого, совсем только чуть-чуть седоватого полынка.

С Волги доносились то глухие протяжные басы буксиров, то резкие и всегда неожиданно пронзительные гудки пароходов, после чего тишина становилась невпроворот густой, только слышно было, как лошади где-то совсем рядом жуют траву.

Уже в ночи из собранного сушняка запаливали артельный костер. Он постреливал изнутри жаркими шустрыми угольками, а язычки пламени порхали на черно-синем полотнище ночи, чуть выше над костром едва курился, причудливо извиваясь, сизый дымок. Самый ловкий из старших ребят Шурка Христенко поддерживал этот огонек, давал ему возможность разгораться. Все остальные располагались на животах вокруг костра и следили за причудливой пляской огня, когда дымок еще слабо и приятно щекочет ноздри, щиплет глаза.

Пришло время закладывать в костер картошку, а вскоре из костра начали прорываться и волновать ноздри совсем домашние запахи. Тут-то и повалили всякие рассказы, «побрежушки». Старшие ребята что-то слышали от взрослых, а, может быть, и сами придумывали всякие страшные истории, стараясь пуще всего напугать малышню, но нередко пугали и сами себя.

– Вот слышал я совсем недавно брехню про чертей, – начинал кто-нибудь из самых смелых. – Говорят, что черти ребятишек воруют. Рога свои прикрывают, хвост крутят, як у поросю, и прячут в портки. Одним словом, притворяются людьми и воруют, як цыгане. Ребятню прячут потом ловко, ни за что не отыскать.

Озаренные огнем лица разомлевшей у костра малышни настораживаются, в глазах трепыхаются язычки пламени, и пробегает между ними робкая тревога.

Другой норовит про свое сказать:

– А я вот слышал, что на земле есть люди дикие, в звериных шкурах ходят. Так они человечину едят, а кровью запивают...

Глаза у ребят все больше ширятся, в зрачках – страх самый настоящий, неподдельный. Дрожащим голосом Верька все-таки вякнул:

– Неправда это! Людоеды давно жили, теперь их нет. Робинзон Крузо, читал я, про них рассказывал, а сам боялся, когда приплывали людоеды на необитаемый остров.

– Ишь, тоже читатель нашелся... Не-прав-да... – осекли Верьку, и он уже больше не встревал в «побрехушки» старших, притихал и слушал их молча.

Рассказывать теперь взялся Сережа Восьмушин. Его рассказ про недавнее прошлое звучал как быль, может быть, слегка приправленная близким к правде домыслом рассказчика:

– Дело было недалеко отсюда, чуть выше по реке, на Камягиных хуторах. Батяка мой про случай тот знал хорошо и мне говорил. Да на хуторе я и сам бывал. Дом там стоял большой, с двумя выходами, с хозяйской половиной и с жильем для сезонных рабочих. Летом набирали их помногу, и нашего брата, и казахов, и татар по огородному делу. Вокруг дома – крепкие конюшни, копаные хранилища для овощей с обложенными диким камнем входами. А сараи – с широкими воротами-въездами. И все под коваными запорами, под амбарными замками. Было на хуторах два чигиря, крутили верблюды, а обихаживали их казахи.

Имя хозяина на хуторах этих батяка мне называл, но я теперь уже не помню. Бежал он от революции. То ли в степь подался, в банду, то



На хуторе. Картина А. Токарева.

ли в чужедальние края ушел. Держал хозяин работника-горбуна. Служил ему тот горбун верой-правдой, ближе был самого близкого родича. И одежонку почистит, и сапоги смажет, как лакей, и на сезонных рабочих доносил, если роптали. Тут же рассчитывал их хозяин, прогонял. Жил горбун на хозяйской половине, и не было у хозяина от него никакой тайны. И до революции, и после революции. Оставался горбун в доме и тогда, когда хозяин бежал. Новые власти забрали дом и выгнали горбуна, а поселили рабочих плантаций. Те, значит, в первую ночь и наложили в штаны, когда побачили, как маленький горбатый человек, весь в белом, ходит по крышам конюшни, по крышам сараев и к дому подбирается.

Как-то возвращались рабочие с вечерних работ, канавы для завтрашнего полива прочищали. Подходят к дому, глянь, а в каждом окне свечка горит. И вовсе в тот раз перепугались да и отказались жить на хуторах. Пришлось на работу из слободы людей привозить. Нашлись люди и бесстрашные. Ничего не боялись, затаились к ночи за хутором и следили. От них и слухами пользовались, что горбун каждую ночь приходил, по дому расхаживал с фонарем, как хозяин, чем-то побрякивал. Исчез потом сразу...

В самую коллективизацию, мне уже годов девять было, начали ремонтировать дом. Горбун тут как тут, в первую же ночь появился. Народ перепугался, разбежался с того места, как с прокаженного, но горбун опять исчез, и больше его никогда не видели в этих краях. К чему заявлялся в дом по ночам, или что искал, или для хозяина, или сам обогатиться – никто про это не знает. Только когда перекладывали печку, нашли кирпич-не кирпич, темный, тяжелый. Потерли, а он блестеть стал. Оказалось, золотой слиток, а на вид – кирпич. То ли этот слиток искал горбун, то ли хозяин секрет имел от него. Вот какую историю рассказывал батька мой...

Костерок к концу Сережкиного сказа уже догорал, покрылся пеплом, тлели только отдельные угольки, но они вдруг вспыхивали, озаряя ребячьи лица, возбужденные услышанным. А над костром на черном бархате неба – бриллиантовая россыпь звезд. Там, где небо бледнело, обнаруживая вечную свою глубину, нарождался тоненький месяц с нежным женским личиком, и тогда все небо представляло в божественном наряде. Красота такая, что ни в сказке сказать, ни пером

описать. И ребята у костра, и собака у их ног, и чуть дальше, если хорошо всмотреться, отвернувшись от костра, силуэты лошадей – весь этот мир вступает в вечную таинственную связь, которая, казалось, никогда не будет познанной до конца и не перестанет вечно манить загадочной красотой.

Старшой Христенко начал вытаскивать из пушистого жаркого пепла картофелины в тонкой корочке, кое-где прижженные сквозь пепел провалившимися углями, и в том месте поджаристые, и особенно вкусные. Старшой раскатывал их, чтоб остыли, но малышня не имела терпения, хватала, обжигалась, перекатывала с ладони на ладонь, дула на картофелины, не выдерживая их внутреннего жара, бросала на землю, тут же сдувала песок, снимала кожуру, вновь студила, перекатывала во рту горячие рассыпчатые кусочки и, обжигаясь, глотала эту божественную еду, Ничего такого Верька в жизни своей никогда не едал! Говорят, печеная картошка пахнет дымом костра. Неправда, она пахнет степью, ее духом пропитывается все вокруг, на языке остаются ароматы степных трав, ими дышишь, как воздухом, забываешь, что дышишь.

О вкусах, говорят, не спорят, но в отношении печеной картошки я полностью согласен с Верькой – благодное восприятие мира в ночном порождалось вкусом и ароматом печеной картошки!

Кутру похолодало. Сережа прикрыл Верьку какой-то кацавейкой, и тот даже уснул, склонившись к Сереже, а потом и голову положил на его колени. Сон был коротким, пробуждаться не хотелось, но Сергей тормозил во всю, так что голова едва держалась на шее:

– Вставай, засоня! Всю красоту проспишь, лопух!

Верька потер глаза кулаками и едва разодрал слипшиеся ресницы. Сережа уже сбегал к реке и набрал родниковой водицы. Прежде чем повесить котелок на костер, Сергей плеснул Верьке на протянутые ладони. Так и обожгло лицо холодной свежестью, сон как рукой сняло. И увидел Верька, глядя в степь, как появляется в глубине ее большая румяная хлебная краюха. Румянилась краюха эта все больше, сначала в половину круга, но половина эта, как казалось, была еще далеко-далеко, и на нее еще можно было смотреть, не опасаясь обжечься. Солнце на глазах румянилось, словно под ним костер невиданных размеров, и костер этот все больше разгорался, и наконец

из-за горизонта вывалился огромный пылающий шар...

Каждое утро солнечный круговорот возрождался на земле. Первыми навстречу солнцу потянулись, медленно раскрываясь, поздние, совсем уже мелкие тюльпаны, «лазоревые цветки», как их издавна величают русские люди. Окропленные чистой росой, распрямлялись, шли в рост травы всех семейств и мастей. Пробуждалась, суетилась в трудах всякая живность, но больше всех радовались солнцу затихшие на ночь птицы, выказывая свою радость на разные голоса: и раскатистым звонким пением, и плавным журчанием, и тонким свистом и почти человеческим восхищением, изумленным возгласом. И все это хорошо оркестрованное птичье щебетание выливалось в созданную природой музыкальную цельную симфонию, которой завершилось первое Верькино ночное, и оно открывало для него еще одну ступень вхождения в мир.

Без Воронка не было бы у Верьки такого памятного ночного, ему Верька был обязан и этим вхождением в мир. Вскоре Воронка увели с подворья, потому что отец ушел со службы в военкомате, а там служил и Воронок. самая мирная, самая любимая на этом свете Верькина лошадь. Верька обнимал голову Воронка и плакал, а Воронок тыкался мягкими губами в его щеку, словно, прощаясь, целовал, хотя не мог знать, что расстанутся они навсегда.

Как-то к осени Верька снова оказался в ночном. Старшим ребятам уже доверяли на выпас вместе с лошадьми и верблюдов. Было это почти в тех же местах, на озерах у плантаций с поливальными чигирями, которые крутили верблюды. На них же возили в слободу всякие овощи – раннюю капусту, травы-приправы, огурцы и помидоры, выращенную в заливных низах картошку,

Верька про норы верблюдов кое-что знал и – чего скрывать – побаивался этих мирных, выносливых, послушных, но еще и не совсем познанных человеком животных, прямо-таки загадочных, древних.



*Неофициальный герб
города Николаевска.
1980-1990 г.г.
Эскиз А. Токарева.*

Верька давно вертелся около верблюдов, и они его никогда не трогали, не обижали. Не трогал их и Верька, а отец, выросший в степи, исподволь приглядывал за сыном, остерегал от проказ и шалостей с этими животными. Уж он-то и от казахов что-то перенял, да и сам умел достаточно ловко управляться с верблюдами.

Поведал как-то малышне о том, что знал про верблюдов, и Сережка Восьмушин. Он-то и зашел за Верькой в тот день загодя, чтобы успеть добраться до Комягиных хуторов вовремя. Было у него и желание искупаться в тамошних озерах, да еще и посидеть на вечерней зорьке с удочкой, а, если случится удача, и уху к ночи сварганить.

Мать сунула в руки сына узелок с еще теплым караваем подового хлеба, со всякой приправой для ухи, и новоиспеченные пастушата, выйдя за слободу, спустились к Воложке и берегом добрались до озер на старой Резницкой протоке. Солнце еще светило вовсю, даже пригревало, но уже в меру своей осенней силы.

Кучно сложили на берегу одежку, съестные припасы, рыболовные снасти. Сережка взобрался на знакомый прибрежный валун, прыгнул и саженками вымахал чуть ли на середину, на самую протоку. Верька топтался у берега, потому что не мог плавать, побаивался воды, ждал возвращения старшего, под присмотром которого только и велено было заходить в реку. Пока Сережка плавал, отфыркивался где-то на середине протоки, Верька бегал по берегу, заходя в воду по щиколотки – не больше, ощущая под ногами прохладный, ласкающий пальцы песок.



Вечер. Рисунок А. Токарева.

Когда Сережка вышел на берег, Верька был уже чуть ли не по колена в воде, радостно подпрыгивал, приседал, поднимал вокруг себя брызги, изнутри чувствуя вхождение бодрящей влаги в каждую новую клетку набирающего силу тела.

В радости и азарте не заметил, как оказался в воде по пояс. Но тут же прозвучал остерігающий голос Сергея:

– Все! Дальше не ходи! Барахтайся здесь, а я за валуном у коряги удочку заброшу.

Не мог Верька не согласиться со справедливостью указаний своего старшего. Отталкиваясь от песчаного дна и барахтаясь, он плыл теперь к берегу, а скорее всего, полз животом по песку.

Верьке так понравилось быть в реке, заходить все дальше и ползти к берегу, что он пропустил ту опасную грань, которая отрывала его от берега и влекла в реку все глубже. То ли дожди в тот год шли к осени чаще, воды в реке становилось больше, и ее стремительней тянуло к протоке, то ли в этом месте с той самой опасной грани, к которой добирался Верька, дно становилось скользким, илистым и уходило в глубину совсем круто.

Незаметно для себя Верька оказался в воде сначала по грудь, потом по горло, но его теперь тянуло все глубже. И, странное дело, он словно бы смирился со всеми этими обстоятельствами, не мог даже позвать на помощь, вымолвить хотя бы одно слово, крикнуть. Когда вода подошла ко рту, он даже хлебнул пару глотков, но, приподнявшись, успел хорошо вздохнуть, а выдохнул уже из-под воды – да так, что вокруг него вода забулькала пузырьками. Скорее всего, это и спасло Верьку.

У Сергея начался клев, поплавок сильно потащило в сторону коряги. Он подсек слегка и в рыбацком азарте не спускал с поплавок глаз. В это время и услышал какие-то звуки за валуном, зыркнул туда, а там, где только что купался Верька, из воды торчала мокрая щетка его выбеленных солнцем волос да мелкие пузырьки расплзались вокруг...

Как был в расстегнутой до пояса, выгоревшей рубаше, засученных до колена штанах, так и бросился за Верькой, и уже под водой схватил его за волосы, и стал тащить к берегу. Отталкиваясь от песчаного дна, приподнимал Верьку, видя, что на лице его все стало круглым: и глаза, и рот, и ноздри, вся мордаха округлая...

Верька жадно втягивал в себя и воздух, и воду, но молча, как рыба. И только на берегу издал первый звук, заревел в голос. Сергей схватил его за ноги и начал трясти так основательно, что голова моталась по песку,

Позже выяснилось, Верька даже не успел испугаться. Только, вытасченный на берег, догадался, что могло произойти с ним, и заплакал. Через несколько минут он уже сидел растертый докрасна, утепленный всем, что было под руками, и всхлипывал. Рядом, подавленный случившимся, стоял Сергей и, заикаясь, выговаривал одно слово:

– Лоп-п-ух!.. Ну, лоп-п-пух!..

Видно, испугался он больше Верьки. Все произошло в какие-то считанные секунды, никак не мог понять Сергей, почему «лопух» молчал, не крикнул, не позвал на помощь. Да что Сергей, я, можно сказать, близкий родич «лопуха», знавший его почти изнутри, не находил никаких объяснений тогдашнему Верькиному состоянию. Даже будучи взрослым, объяснял мне Верька как-то по-детски, что ему хотелось из-под воды посмотреть на красоту другого мира. В ушах уже звенело, в глазах сверкали молнии, можно было притаиться и не дышать... Вот чего хотелось маленькому Верьке, когда Сергей, нарушив таинство желаний, тащил его за волосы! Ну, кто же мог его понять в этих желаниях, если сам он их осознавал смутно, да и рождались эти желания стремительно, без понимания их губительного для жизни исхода.

Стоило представить себе, что ожидало Верьку дома, вернись он сейчас туда и расскажи, что пришел почти с того света, мурашки стаями начинали бегать по спине. Колотить во что бы то ни стало детей, как я теперь думаю, родители могли только в отчаянном безумии, никак не вникая в душевное состояние малолетних сорванцов, вызывая страх физической болью, да еще – желание отомстить за эту боль.

Совсем мирно развивались в дальнейшем события на берегу Резницкой протоки, видевшей в прошлом, судя по ее древнему названию, полные драматизма столкновения. Сергей выжал свою одежонку, разложил сушиться на валуне, а сам зашел в воду, чтобы вытащить брошенное при спасении Верьки и прибитое к коряге

удилище. Сделать это оказалось не так просто. Сережа думал, что крючок зацепился за корягу, но, когда хотел отцепить, нащупал в воде сидящую на нем скользкую рыбу и с трудом, ухватив под жабры, вынес на берег вполне приличного сазана.

Поправив свою снасть, Сергей поймал с десятков себелев, красноперок, окуньков. А когда Верька на другой крючок каким-то чудом впервые в жизни вытащил на берег золотистого увальня-ляля, ребята поняли, что уха сегодня может состояться, а жизнь, несмотря на некоторые неприятности, прекрасна и удивительна. Верька заулыбался, даже подумал, а, может быть, он и вправду в рубашке родился.

Завечерело, и ребята, собрав манатки, стали взбираться наверх, в степь, куда к ночи казахи обычно отгоняли и верблюдов. Поднявшись, оказались вблизи неглубоких балок, спадавших к старой протоке. Ребятня, пришедшая раньше, уже раздула костер и кашеварила, а теперь с радостью набросилась на упавший с неба «рыбный вклад» и, предвкушая сытный ужин, принялась чистить рыбу, готовить уху по-крестьянски, с пшеном.

Оставленные на ребячье ночное попечение лошади и верблюды широко разбрелись по степи в сторону Левчуновки. Когда-то в этих краях до самого Еруслана шли выпасы чумацких волов, возивших соль с Эльтона. Теперь, прихватив по корке хлеба, густо посыпанного крупной солью, Сергей с Верькой собирали по степи лошадей и верблюдов, чтобы подогнать их ближе к своему костру. Верька видел под ногами высохшую уже после осенних дождей, растрескавшуюся землю с редкой растительностью и удивлялся, чем тут могут питаться даже самые неприхотливые животные. А верблюды ели все, что росло на этой лишенной влаги земле или цеплялось за нее, – и горькую полынь, и иссохшее до звона перекасти-поле, и даже ни для кого не съедобные колючки, как-то справляясь с их желтыми иголками. Ничем не брезговали.

Несколько молодых верблюжьих пар отделились вместе с верблюжатами от основного стада. Во главе их гордо выхаживал самец, по кличке Седой. Он брал на себя охрану брачных пар. Издали завидев приближение ребятни, он настороженно озирался по сторонам, готовый в любое время подать сигнал опасности или занять удобную

для защиты позицию. Верька даже вздрогнул, когда сзади его кто-то слегка подтолкнул. Оказалось, верблюжонок с любопытной озорной мордочкой. Маленький, на точеных ножках, словно детская игрушка, белорыжий, пушистый, ухоженный. Ему явно хотелось поиграть с ребятами, он заигрывал, но осторожничал, чуть что взбрыкивал и не подпускал к себе.

Невдалеке в верблюжьем стаде выделялся крупный верблюд, по кличке Губошлеп. Вредный, норовистый, злой, с волосяной веревкой в ноздрях и палкой («цурка» называется), чтобы легче управляться с его норовом, если разгуляется. Сергей знал Губошлепа давно и предупреждал Верьку, чтобы близко к нему не подходил.

– Он не тутошний. Со степи, из-под Кайсацкой, видно, пришел. Его всегда в голове валки ставят, и он всю дорогу орет: «А-а-а-а!» . Просто тошно становится... - рассказывал Сергей по пути, а когда подошли ближе к стаду, Сергей остановился:

– Не ходи за мной. Кто знает, какое нынче у Губошлепа настроение, куда повернет...

Да и сам подходил к возвышавшемуся над верблюжьим стадом Губошлепу с некоторой осторожностью, протягивая щедро осыпанную солью корку хлеба и приговаривая:

– Соль! Соль! Соль!

Губошлеп милостиво изволил наклонить голову и захватить желанный дар разлапистыми губами. Пожевал, пожевал и пошел за Сергеем к костру, а за ним потянулось все стадо верблюжье и вскоре без всяких хлопот разместилось вблизи костра.

Наступала пора вечерять, ребята проголодались и заждались общего сбора, когда можно полялякать, всякие побрехушки послушать. Тут-то и появился из темноты верхом на лошади наш старшой Шурка Христенко – крепкий, рослый, в широченных шароварах, с огромным соломенным брылем за спиной. В ярком свете вспыхивающего костра он, только что пригнавший из дальних балок целый табун лошадей, казался ребятне настоящим героем, лихим казаком-запорожцем. От одного свиста его хоть к земле пригибайся.

Кое-кто из ходивших в это ночное видел нашего Христеню на скачках, между гамазеей и огороженными плетнями, знаменитыми

на всю слободу садами. От плетня к плетню скакали на лошадях перед изумленными глазами собравшихся. Кто в плетень врежется, кто на бегу слетит, кто через голову резко остановившейся лошади перевернется. И смех и грех, и радость и горе. Всякое выпадало на долю смельчаков, но Христа всегда был на высоте, сидел на лошади как влитой в нее, с гордой завидной осанкой, готовый не только сказать, даже от земли отрываться и лететь. Впрочем, чего не может показаться восторженной ребятне!

А теперь этот герой ловко соскочил с лошади, присел к костру, отведал ухи и стал нахваливать ее, облизывать ложку, просить добавки, а насытившись, вспомнил, как ехали они с Сережкой и его отцом на хутора в сторону Кайсацкой:

– Дило було осенью. Хлиба вже в закрома звозыли. Тильки скирды соломенные и стоять ридко, близ дорог, чтобы пидъихать легче. Хутора дальние, а степь голая, як столешница, куда ни глянь - дикое поле, все побачить можно. От радости, шо на свободе, драли горло, удалые песни спивали.

Пид самой Кумыской глянул назад, а там волки увязались за нами, тройкой бегут, на каждого по одному. Держатся подальше, но не отстают. Берлога у них, видно, где-то под скирдой была, и недавно вылезли. Шерсть торчком, а в ней солома. Бегут шустро... Ясно як божий день, не уйти нам от бирюков! Тощие, голодные – не отвяжуются. Повозка груженная, уходить трудно, лошадь загнать можем, она и так нервничает, шаг прибавляет. День клонился к вечеру, но темнеть только-только начинало, а до хуторов ще пилять да пилять...

Тут мы с дядькой Осипом и Серегой порешили дать бирюкам бой. Батьку на вожжи, чтобы коня держав, не спускав в разгон, достали серники, надергали соломы из-под епанчи, скрутили в жгуты, приготовились: Серега с правой стороны повозки, а я слева. Чем скорее надвигалась ночь, тем волчья стая подбиралась к повозке все ближе. Теперь они так близко, что ощеренные клыкастые пасти, горящие глаза разглядеть можно. Стая раскололась и начала обходить повозку. Тут-то и стали мы с Серегой поджигать жгуты и швырять в волков. Они огрызались, но пришлось отступать. Запахло паленой шерстью, но бирюки не сдавались. Через какое-то время стая приближалась и норовила взять нас в клещи. И так до случая, когда

жгут упал на спину матерого бирюка. Вновь запахло паленой шерстью, и бирюк, повизгивая, бился на дороге. Отставать стала и пара, шедшая за повозкой. Так вот и отбились. А колы дядько Осип завернув к кошаре, шоб заночуваты, став распрягать, а кинь в оглоблях бьется, по краям зиркая, а кожа на нем с головы до хвоста рябью ходит. Шо лошадь, сами обмерли, понять не могли, як и отбылись.

Ребяшня, как всегда, слушала и на этот раз, раскрывши рты, затаив дыхание. Понимали ведь, что это не какие-нибудь побрехушки, а настоящие события. Тем героичнее выглядели в их глазах сидящие у костра подлинныи герои. Верька, как романтик, прямо надо сказать, благоговел перед ними и чуть-чуть завидовал, что не мог помочь старшим товарищам, хотя во время рассказа страх мурашками бегал по спине, и от этого теперь было как-то неловко.

Ночи в степи становились прохладнее, особенно к утру, перед восходом солнца. Ребячья мелкота все еще побаивалась верблюдов, но после встреч у костра предпочитала проводить около них оставшуюся часть ночи: и теплее, и никто не обидит, верблюд всегда предупредит об опасности, не даст подойти внезапно ни зверю, ни человеку с недобрыми намерениями.

Впереди расположившегося к ночи верблюжьего стада со стороны степи одиноко лежал Губошлеп. Сергей с Борькой обошли его и выбрали двух мирных молодых верблюдов, меж которых оказались как за крепостной стеной. Справа и слева зубчатые башни из верблюжьих горбов, а вверху – звездный шатер, небо темное-темное, усыпанное золотом и серебром звезд.

– Ну как, нравится? – спросил Сергей.

– Красиво! – ответил Верька и прислонился к верблюду. – Мягко, тепло.

– То-то же! Жалко, Бориса Золотаря нет: он бы все небо, как по книжке, обрисовал. А я что, главное только и запомнил. Вон, видишь, яркая-яркая? Не видишь? Дывись-дывись, ковшик из звезд! Бачишь? По краю ковша, вверх над ним, звездочка ярко горит, Полярной кличут. На самый север глядит, дорогу в холодные края указывает.

Верька только начинал читать небо, хотя оно манило к себе, притягивало своей загадочностью. На всякий случай и Сергею сказал, что видит Полярную звезду, а про себя подумал: «Там, видно, и

Соловки, куда в клетках-рыдванах раскулачивать увозят».

Вглядываясь в небо, помолчали какое-то время, словно побыли наедине с вечностью. Сергей, видно, вспоминал и о том, о чем только что у костра рассказывалось, потому и сказал вслух:

– Ты знаешь, Христя не все выложил, что тогда случилось, когда от волков отбивались. А случилась встреча с Губошлепом. Почти всю ночь мы тогда не спали, боялись: нападет волчья стая на кошары. Только выехали на заре – скачет кто-то нам навстречу. Все ближе и ближе. Вгляделись – казах, вцепившись в холку пузатой лошаденки, колотит ее по брюху ногами, что есть мочи хлещет. Что такое? Куда бежит, что с перепугу кричит? Тю, за ним верблюд – бешеную скорость набрал, почти догоняет казаха. Шея вытянутая, шаг широченный, ноги выбрасывает далеко, отпихивается от земли и летит какое-то время распластавшись, как пуля летит, как снаряд! Такой верблюжий бег впервой видел, куда и неуклюжесть его девалась. Разгон верблюду делать тяжело, а остановиться еще тяжелее, не может остановиться. Добежав до цели, делает круги, чтобы укротить себя. В то утро Губошлеп врезался в кошары, отвалил угол и остановился. И то не сразу... Молодой, горячий самец, еще без цурки ходил. Видно, много верст гнал он казаха, нашу повозку и не заметил. Хотя батька от греха подальше свернул с дороги, прямо в степь. Он посчитал, что казах неопытный, лопоухий оказался, помешал, видно, самцу за верблюдицей ухаживать.

После этого рассказа Верька притих в размышлении, прикидывая про себя, как много узнал о жизни, побывав в ночном. О людях узнал, о животных, о природе и мире вокруг, о сложности отношений. Что-то открывалось мальцу впервые, оставаясь загадочным и еще не доступным в полной мере его сознанию. Не сразу и уснул от всех этих впечатлений, но проснулся легко.

Солнце вставало медленно, какое-то недовольное, хмурое, и грело совсем скупое. Пришлось побегать, чтобы разогреться. Христя уже погнал на водопой лошадей, а верблюды что-то и не торопились подниматься, следуя примеру Губошлепа, который важничал перед ними, едва поворачивал голову с прищуренными глазами.

Тут-то и разыгрались на Верькиных глазах почти драматические события, когда уже Сергея надо было спасать.

Набросав в подол рубахи речного песка, Сергей направился к Губошлепу, ласково приманивал к себе:

– Соль!.. Соль!.. Соль!..

Но сколько ни повторял это магическое для верблюдов слово, на Губошлепа оно не производило никакого впечатления. И мордой не повел. Не ожидая такой встречи, Сережа и сыпанул песок прямо в его нахальную морду. Губошлеп недовольно рявкнул и с непривычной для него поспешностью начал подниматься на ноги. Сергей сообразил: намерения у обиженного верблюда слишком решительные – и лучшего выхода, чем давать стрекача, тикать к реке, не нашел.

Глядя, как набирает скорость Сергей, как мелькают его пятки, Верька никак не мог понять, почему он только что ласково кликал норовистого верблюда, остерегал малышку, не давал подходить к Губошлепу, а теперь сам убегает от него. Сережка потом объяснял, что никак не ожидал такого поворота. Хотел поднять Губошлепа скорее, а с ним и всех верблюдов отогнать к чигирям и сдать хозяевам... К реке, дескать, побежал просто так, на всякий случай, думал, верблюды плавать не могут...

Но не тут-то было! Оглянувшись, увидел Сергей, что Губошлеп настигает его, становится все ближе и ближе. Тогда и пришлось с разбега бросаться в реку. Страх удесятерил силы, махал саженками, как крыльями на ветру мельница. На середине протоки готов был облегченно вздохнуть. Перевернулся на спину и с ужасом увидел торчащую в реке голову Губошлепа, не спускавшего с него глаз... Опасный противник, усиленно подгребая под себя воду, приближался.

Новая волна страха пробежала по спине Сергея. Выбрался из реки и что есть духу побежал через займище. Зыркнул пару раз назад, видит, что вышел верблюд из воды, отряхнулся и, решив, что беглецу деваться некуда, пошел вслед за ним, как хозяин положения.

Сергей и вправду не знал, как спастись и где его спасение. Метался по займищу, с горечью сознавая, что Губошлеп настигнет его в конце концов... А вот оно, спасение! Мысль эта пришла стремительно и неожиданно, когда увидел молодой, начинавший терять листья осокорь. Взобрался на него со скоростью привыкшего жить в тропическом лесу Маугли.

Губошлеп не спеша подошел к осокорю, огляделся и начал нажимать снизу на него, раскачивать. А молодое деревцо аж потрескивает. «Ну, все, пропал, плохи мои дела, – мелькнуло в голове Сергея и как прожгло насквозь: – Сломает дерево, растопчет...» Ничего не оставалось, как надеяться на случай.

Лошадей уже угнали на хутора, верблюды сами потянулись за ними на плантации к чигирям, Верька остался на бугре, готовый в любую минуту расплакаться от отчаяния – не знал, что и предпринять... Он видел, как гнался Губошлеп за Сергеем, как подошел к дереву и вскоре лег под ним, готовый, видно, не вставать до победного конца. Понял это и Сергей. Никак не ожидал, что верблюд выпустит его на волю скоро и без борьбы. Сергей начал устраиваться удобнее на дереве, чтобы выдержать осаду.

– Сергей, ты живой? – решился позвать Верька товарища.

Сергей не сразу отозвался, но через какое-то время, сложив руки рупором, крикнул:

– Живой! Беги на хутора. Кличь хозяина верблюдов. Нехай выручают! Понял?

– Понял! – ответил Верька и помчался к плантациям спасать Сергея от Губошлепа.

Пока помощь подоспела, времени утекло много. Сережка мокрый сидел на дереве, продрог на ветру, совсем съежился, посинел. Когда пришли двое казахов и не без труда подняли и увели Губошлепа, Сергей спустился на землю. Старший из казахов возвратился от старой протоки и предупредил Сергея:

– Ты, малец, совсем-совсем не хади сюда... Губошлеп тебя учует, узнает всегда. Ушибить может...

Возвратились домой молча, как побитые. На плечи каждого давили свои неудачи, а в головах вертелись разорванные на клочья горькие размышления о бедствиях и несчастьях молодой жизни. Совсем было приуныли Сережка и Верька. Кто-то, видно, донес о наших бедах отцу Сергея, и он, как отрезал, – никогда больше не пускал сына в ночное.

– Хватит! Одно баловство...

Это еще были не последние слова дядьки Осипа:

– Пойдешь со мной в церкву. Пора и грехи замаливать.



На закате. Картина А. Токарева

Верькины родители даже не знали, что он тонул, что его выручил Сережка... Долго не знали.

Игрища на улицах

За минувшее лето Верька подрос, мог запросто и себя защитить в уличных драках с пацанами. А жизнь его, как и всегда, с утра до поздней ночи проходила на улице. Только улица теперь была новой, называлась Новоузенской и вела за слободу в дальние степи – на Палласовку, к Большим и Малым Узеньям - последнему пристанищу Пугачева... И соседи были новые, и сверстники в этой округе были другие. Сережка Восьмушин стал ближе.

Вся Верькина семья перебралась в обычный слободской дом у горбатого моста через Ерик. На задах за Ериком дом к дому лепилась Татарская улица с мечетью, с вершины которой по вечерам Верька слышал заунывное пение муэдзина, отчего на душе становилось как-то муторно, тоскливо. Забегать на эту улицу Верька еще не решался, побаивался живших на отшибе замкнутых людей таинственной веры и чужого быта.

В самых ближних соседях в маленьком домике с двумя оконцами

на улицу и вечно закрытыми щелястыми ставнями жила одинокая, видная, но не совсем счастливая женщина с ухоженным, щеголеватым сыном Владиславом. Он года на три был старше Верьки и, оправдывая свое властное имя, держался важно и значительно.

Почти всегда так случалось, что Верьке приходилось общаться со старшими ребятами, а они считали своим долгом поучать, подтягивать «шкета» до уровня, на какой поднялись и каким овладели сами, а Славка знал про все в жизни даже на много лет вперед. Чему он только не учил малыша Верьку.

Славкина мать с утра до ночи работала в банях, а отца не было, о нем не принято было вспоминать, но дух его витал в доме, и Верька своим умом дошел, что отец Славки еще совсем недавно жил здесь. Его то ли прогнали, то ли он ушел сам.

Однажды, когда Славка и Верька остались в доме одни, а так случалось целыми днями, Славка налил Верьке на ладошку и велел лизнуть огненной жидкости. Малыш обжегся и чуть задохнулся, а слезы все-таки сдержал. Славка со сноровкой алхимика налил теперь уже на чисто выскобленный пол и поджег целую лужицу этой жидкости, вспыхнувшей едва заметным пламенем с голубым язычком. Объяснил при этом, что и внутри у Верьки горит и жжет его такой же огонь. А жгло и вправду. Верька испугался, скоропалительно решил, что он на пороге смерти и уже горит в этом синем пламени. От сознания, что жизнь кончается, не успев начаться, он разрыдался по-настоящему, бежал из соседского дома и больше никогда не ходил к Славке... Вместе с матерью «алхимик» вскоре покинул слободу, оставив у Верьки стойкое отвращение к спиртному духу.

Еще через пару домов у колодца жили два брата – рано осиротевший Володя Лященко и его двоюродный брат-тезка Нешпоренок, росточка совсем маленького, крепко избалованный, мелкозубый и злой. Он щерился в гневе, как хорек... Старший Володя опекал Верьку и Хорька, брал их с собой на речку и зорко приглядывал за ними, водил на каток, покупал леденцы, а зимой читал книжки...

В один из таких выходов Верька в одночасье, совсем случайно научился плавать. Самый озорной из озоровавших ребят отцепил мостки для полосканья белья, и они медленно уплывали от берега. Загоравшая тут же малышня несколько не растерялась, стала

«стрыбать солдатиком» в воду и с визгом, в брызгах плыла к берегу. Верька набрался мужества и решился покинуть отходившие от берега мостки вместе со всеми, видно, по солдатскому принципу, ему еще не известному, – на миру и смерть красна. Работая одновременно руками и ногами, почувствовал: держит его что-то на поверхности. С тех пор перестал бояться воды, решил – не хитрое дело. И стал плавать...

У Нешпоров был большой двор, даже два двора. Первый – хозяйственный: с амбарами, постройками для скота, летней кухней-мазанкой, с мастерской, в которой столярничал их дед, чистенький, розовый старикашка с седой клинообразной бородкой. А второй двор за постройками – хорошо возделанный до самого Ерика огород.

Такого двора у Верьки в детстве никогда не бывало, его родители почему-то всегда жили там, где во дворах на супеске и солончаках никогда ничего не росло. Верька просто тосковал по садам и огородам, его так тянуло к зелени. Можно было, конечно, и в этот нешпоровский, совсем недалекий огород пробраться тайком, а то, чего доброго, и в Ерик рухнешь... Но не это останавливало Верьку. Было чертовски совестно, даже подумать стыдно, если бы он проник на огород каким-то воровским путем. Володя сам водил туда Верьку, и ему разрешалось пощипать укроп, выдернуть пару морковин, отведать стручки сладкого гороха... Может быть, Володе попадало за эти щедроты от скуповатых родичей. Но он видел, что Верьке нравится, и радовался, что доставляет малышу удовольствие.

Давно уже нет в живых никого из Нешпоров, погиб на фронте Володя Лященко, но запах помидорной ботвы и – особенно пронзительный и вечный – смородины остался у Верьки от их огорода на всю жизнь... Запахи эти вошли в него вместе с устойчивым, каждодневным восприятием запахов прокаленного солнцем воздуха, теплой и пыльной, полынно горькой земли, волжской воды у пристаней, обросших густым зеленым мхом. И с этими неистребимыми запахами вставали перед глазами живые люди, которым Верька был обязан памятью, всей этой горько-сладкой и радостной жизнью.

Обжившись на новой улице, не забывал малыш и старых знакомых, делал вылазки к Успенью до самой каланчи, навещал Бориса, выходил на Покрова, но пробираться в одиночестве к друзьям на эти края



Пристань. Рисунок А. Токарева, 1952 г.

удавалось не каждый день. Бывало и так, что на улице возникали ребячьи заставы. Чужого не пропускали, брали в плен, требовали выкупа... Хоть пятак, но плати. А где его взять?

Удирал Верька из дому к старым друзьям, жившим теперь в центре слободы, между Узкой улицей и Широкой, куда ближе пробираться переулками-закоулками, вилявшими у самого Ерика. Верька выбрал дальний путь, зато дорога благополучней, веселей. Перебежишь через Ерик по Горбатому мосту и жми напрямую, минуешь улочки-переулочки, и вот она – ветлечебница, а напротив – без единого деревца, залитая солнцем улица, застроенная большими домами с просторными верандами, застекленными чуть ли не разноцветными витражами. Называлась она по недавнему губернскому городу – Астраханская, а нынче зовется – Советская. На ней и вся власть такая – уездная и волостная, и жители, новые хозяева, как говорили старики, все откуда-то привезенные, присланные, не местные... Этой Советской улицей и шпарил Верька до самого Сережки Восьмушина, а уж он мастак был на игрища со всякими придумками.

По весне и в разгар лета начинались на солнечной этой улице настоящие баталии, разворачивались и выплескивались до самой церкви Александра Невского большие игрища, участие в которых вскоре принял и Верька. Жарким летом привел его сюда опять же



*Одна из улиц слободы Николаевской. Начало XX века.
Рисунок А. Токарева*

Серезка Восьмушин, прямо к большому кирпичному дому, второй этаж которого выходил верандой во двор. Внизу, в темной, заставленной фикусами половине, жили большой семьей без отца тихие, забытые несчастьем Крылышкины. Одна лишь зубастая Нюрка была крикливой, задиристой, бесцеремонно шумной, все норовила попасть в ребячьи игры и даже разрушить их.

Вверху жил вояка и заводила мальчишеских военных сражений Гешка Синельщиков, по прозвищу Пузырь. Откуда был он родом, сказать трудно, скорее всего, из тех, кого потянуло сюда на легкие свободные хлеба, и кто, пережив тутошнее голодное время, сроднился со слобожанами, остался здесь навсегда. Хотя могилу его, скорее всего, надо искать где-то под Берлином, потому что «фашистское логово» штурмовал и боевой летчик Геннадий Синельщиков... Могло и так случиться, кто знает, может быть, не осталось для него на этой земле самого последнего пристанища...

Гешка Пузырь, как и Сергей Восьмушин, с детских лет мечтал стать военным, а пробиться в небо и летать в те годы хотелось каждому, даже Верька перестал считать за благо в милицейский свисток посвистывать, хотя о вознесении в небо на железной птице подумывал не без смущения... В каждом из наших старшин была, как говорится, «военная косточка». И они сами себя готовили к защите

Отечества, никак не думая об особом своем предназначении, и никогда не бросались высокими словами о долге, призвании, любви.

Среди нас в буднях наших они оставались пацанами, может быть, немного, самую малость нами же и приукрашенными. Правда, Гешка и тогда казался малышне округло тяжеловатым, с припухшими, надутыми, как мячик, щеками. За эти щеки и прозвали его Пузырем, но кличка не мешала ему быть подвижным, смекалистым, удачливым и в школьных занятиях, и в уличных играх. А вот Сережка, пожалуй, уже и школу позабросил, пропадая на улице, а рос он, тянулся вверх быстро, на глазах мальчишеских становился длинным, тощим, как жердина, гибким, почти с акробатическими способностями, да и в находчивости, в смекалистости отказать рослому сорванцу было нельзя. Все это и давало ему возможность верховодить в играх.

Играли обычно в красных и синих, потому что в белые никто не хотел уходить, да и быть синими соглашались лишь по уговору и шли, когда наступал черед. Шантрапа, мелочь, какую набирали для трескотни, для большого шума, всей оравой шла в отряды красных, только там готова была добывать победы в справедливых войнах, радоваться успехам, как только могут радоваться дети, и по-детски горько оплакивать общие неудачи, как свои.

А у Верьки неудачи пошли с самого начала игр. Оказавшись к этому времени безоружным, он и психологически не был готов к грозным и злым сражениям. Какой солдат в таком виде, в таком состоянии вступает в ожесточенные битвы своего времени? Необученный, невооруженный, босой, совсем почти голый...

Пришлось уговаривать прадеда соорудить для правнука деревянное, но грозное оружие. Прадед Данила был мастер на все руки, и у него здорово получилось чуть ли не настоящее ружьишко: с прикладом, со стволом, даже с примкнутым к стволу штыком. Напоследок ружье прокоптили над фитилем лампы, и выглядело оно, если издали поглядеть, как взаправдашнее. Ружьишко, честно сказать, не отдавало вороненым блеском, попахивало керосинчиком и долго пачкало руки. Да еще настоящего ремешка не нашлось. Верька покушался на тот клепаный ремешок, что висел у двери и частенько гулял по его мягкому месту, но в это самое время ремешок

куда-то исчез. К ружью, чтобы на плечо повесить, пришлось веревку приделывать.

Хотелось, конечно, и Верьке, прийти на сборы ко двору Гешкиного дома как настоящему солдату революции. И пришел человек с ружьем на плече, хотя и маленький, хотя и босиком, хотя и с животом голым, без рубашки.

Вооруженная до зубов пацанва гудела как пчелиный рой, как старшие на Воскресенском базаре, разогревшись по случаю праздника. Чего только не было у ребят на вооружении – и винтовки, и пулеметы с трещотками, и свинцовые пугачи, и проржавевшие наганы, без барабанов, но в кожаных кобурах, сохраненных отцами с гражданской войны, и самопалы с бронзовыми стволами на деревянных ручках.

Серьезный народ из тех, кто постарше, сколачивали в отряды: братья Квитки, Шаповаловы, Гуренки, Колесниченки, Иван Вдовенко, Василий Христенко, Микола Руденко. В гимнастерках, в фуражках со звездами, а кое-кто перепоясанный пулеметными лентами, словно выточенными палочками в патронных гнездах. Среди шантрапы – Толька Зубанев, Сергей Токарев, Марик Перепелов, Иван Ушаков. Народ малорослый, но воинственный. И у каждого на лбу красная звезда намалевана. Явное намерение попасть в красную дружину, как говорится, на лице. Ни дать ни взять – красные дьяволята.

– Шо ты за голыша притащил, пузом блестит? – недовольно спрашивали Сергея, когда Верька оказался в его отряде, среди красных. – Белобрсых к красным не берут... не той масти пацан!

– Верька Горушин из наших краев, из-за Горбатого моста. Парень шустрый, - представил Сергей, чтобы отвязались.

– Грушкин, Стружкин-Старушкин? Будем стружку снимать!

– Попрыгушкин? Будем ноги ломать!

– Поучим и на пузе плясать!

И начали фамилию выкручивать, кличку искать. Чуть было не довели до слез не ожидавшего такого приема Верьку. Но тут отряды разделились. Гешкины остались во дворе, а Сергей увел своих к казначейству. Отобрали самых отчаянных, потоптались в стороне, пошептались, получили знамя и ушли с секретным заданием

дальше, чтобы сохранить это знамя и водрузить во время победы на видном месте в знак конца игры и своего торжества. Такое было правило, и им диктовались особенности начатого на целый день сражения.

Из красных дьяволят во главе с Ушаковым образовали передовую разведку, чтобы проникала во вражеский стан, выведывала их планы, сообщала о перемещениях, а главное – про знамя: где хранят, кто в охране и прочее... Какие-то военные слова говорили, не все и не сразу было понятно Верьке.

Оставляя по дороге заслоны, красные отряды начали отходить к церкви Александра Невского. Верька радовался, что его с Николкой Мельниковым выслали вперед, а Марик и Иван подстраховывали сзади. Слобода еще была застроена плотно, заросших травой пустырей в тутошнем краю почти не попадалось, переулки редкие, заборы высокие и прочные, дворами не пробраться, а улица узкая – до дальних вымоин насквозь видно. Подвигались перебежками, прикрываясь то крыльцом, то выступом хаты, то палисадником, то забегами в редкие переулки. Так и оказались в глухом заулке, похожем на овражек, по которому весной ручьи в Ерик сбегали. Затаились у Точкиного забора, лебедой заросшего, а Иван с Мариком на той стороне овражка за камнями укрылись.

В это время по узкой улице низину перебежали передовые отряды воинства Гешки Пузыря с синими повязками на руках. Мы с Николкой вылезли из лебеды, обогнули дом и спрятались около палисадника под крыльцом. Николка жил на этой улице и кое-какие потаенные места давно знал: вечерами ребячьи тут играла в прятки. Посидели, согнувшись в три погибели. Ничего и никого не видно, не слышно, тишина мертвая.

Не успели выбраться из-за крыльца, глядим, бегут синие Гешкины вояки, а за ними наши с трещотками гонятся. Отогнали и отстали. Тут-то и заметили нас синие, с радостным гиком набросились на Верьку, не успел даже защититься, а Николке руки скрутили, толкают в спину да все больней норовят ударить. Конечно, Верька отстаивал свое деревянное дедово орудие, но только весь перемазался черной копотью. Сорвали ружьишко чуть ли не с головой, оборвали веревку, накинули петлю на шею и

потасили к Гешкиному дому как козлят, издеваясь и похохатывая по дороге:

– Ну и воинство голопузое! Ме-ме, ме-ме! Где борода-то у вас, не успела вырасти! Ха-ха-ха! Ходи-ходи шустрее, шантрапа пузатая!

От обиды, что так печально сложилась с самого начала горькая военная судьба, пленники плакали, но даже слезы нечем было вытереть, так и текли по щекам, оставляя извилистые, как горькая жизнь, дорожки.

Обидно было и потому, что свои не выручили – ни Марик, ни Иван Ушаков. Но и урок был первый: не зарывайся, блюди честь смолоду, думай крепче, поворачивайся шустрой, жизнь только начинала лупцевать нашего брата и пока тычет в спину мальчишескими кулаками... Кто же знал, что через какой-то десяток лет в нашу молодую судьбу ворвется настоящая, самая жестокая война. И под гусеничными траками фашистских танков где-то в калмыцких степях, на дальних подступах к Сталинграду, вместе с горсткой товарищей сложит голову тихий молчаливый Николай Мельников... А в самом Сталинграде на Мамаевом Кургане останется в Зале Славы одна строка от Марика Перепелова – фамилия с инициалами. Да и ту, задрав голову, с трудом отыщешь под самым куполом среди многих фамилий погибших товарищей.

В тот день так и просидели Верька с Николаем чуть ли не до самого вечера в темном сарае, по-детски переживали свое неудачливое участие в самом начале захватывающе поучительных на будущее сражениях.

Пока Верька с Николаем на все лады проклинали бросивших их товарищей, они успели предупредить свою дружину, что разведчики Пузыря, дескать, идут следом, обходят красных по Широкой улице, жмут к Ерику, гонят в степь, к плотине. Сергей вывел дружину скрытно за Ерик, велел сосредоточиться за Горбатым и Каменным мостами, обойти синих и вырваться в одно время к Гешкиному дому. Марику поручили освободить из плена сопливых разведчиков. От него-то и узнали Верька с Николаем, что разведчики синих едва не добрались до знамени красной дружины, но Сергей, отправив ряды к мостам, взял на себя заботу о нем. Отказавшись от охраны разведчиков, он спрятал его на груди и по известному одному ему пути рванул вперед:

через какие-то дворы и тупики пробирался, прыгал через заборы, взлетал над ними махом да так, что заглядевшиеся на рослого, ловкого пацана слободские домохозяйки и ахнуть, и обругать «фулигана» не успевали.

А вот угрюмый, заросший по глаза рыжей бородой хозяин-барин своего двора, живший по принципу «мой дом, моя крепость», встретил во всеоружии оказавшегося во дворе, как рысь в клетке, Сергея: спустил с цепи кобеля-хрипуна со вздыбленной щетиной, а гвозди на заборе давно наколочены, проржаветь успели, густо стоят – не пройдет забежавший пацан. Пришлось подключать находчивость. Не бросаться же на гвозди, не идти на верную гибель.

Стрельнув глазами по сторонам, выбрал амбарный угол у самого забора, начал взбираться по бревнам, но в этом маневре кобель уже настигал Сергея. Ничего не оставалось, как двинуть по ощеренной башке босой ногой. Сбил кобеля, но ногу о клыки поранил. Разъяренный кобель снова взметнулся вверх, ухватился за портки и стал рвать их... Но дело было сделано, теперь уже струхнувшему хозяину доставались одни клочья латаных-перелатаных, совсем ветхих мальчишеских штанов...

У самой ветлечебницы Сергея чуть было не настиг молодой бугай с кровавыми от ярости глазами, набычился в стойке, склонил рогатую голову, ринулся к избранной цели, чтобы пырнуть в самый зад убежавшего пацана. Но не тут-то было, шустрый парнишка перед самым носом исчез, оказался по ту сторону добротного плетеного забора, а оплошавший неопытный бугайшка еще долго не мог вытащить увязшие в плетне рога.

Сергей успел из того же плетня вырвать увесистый кол, выбежал на нейтральную полосу к ветлечебнице и вывесил на видном месте победный флаг своей красной дружины. Ее отряды в это время брали в клещи штаб-квартиру Пузыря и торжествующее «ураааа!» победно несло по всей Советской улице. Была и у Верьки большая радость в этот день – наши-то победили! Да и Нюрку Крылышкину поколотили немного, совсем малость, не будет рот разевать, язык показывать да вредничать. Никогда не поздно проучить этих задиристых, крикливо-языкастых девчонок!

Но, если честно признаться, настоящие радости пацанам в таких игрищах не часто выпадали. Большие сборища случались и в

школьное время, на Займище – в сторону Разгуляя или на пути к Соленому затону... Начинали как раньше, в центре слободы, но чаще уходили совсем в другую сторону, за маслособойно-горчичный завод «Слон». Влекли туда не грибные места в Займище, даже не заросшие густой речной травой заводи с рыбными угодьями и волшебными ночными кострами на берегах, а старинные яблоневые сады. Верька знал про них с детства, потому что не одну байку сочинили ребята про свои набеги в те края... Но старшины наши не решились брать с собой малышня, видя в ней обузу в случае неудачи, когда приходилось деру давать.

Даже старики уже позабывали про эти древние богатые места, откуда слобода зачиналась, примыкая к затону, издревле облюбованному рыбаками, садоводами, огородниками. Когда по весне спадала большая волжская вода и освобождала Займище, приходили сюда наши предки на разоренное степными пришельцами пепелище – Зауморье тож... Строили дома на сваях, возили соль с Эльтона в прикрытый займищными берегами затон, ставшим соленым. На глазах превращался он в городок-крепость, бойкую пристань с соляными амбарами и магазейнами.

Когда узнал Верька, что игрища будут где-то близко от садов уже за слободой, выпросил у матери самую крепкую, почти новую рубашу.



На берегу Резницкого озера. Картина А. Токарева.

Думал ведь, шельма, про себя, а вдруг к этим садам пробьется?
Куда ж яблоки ховать, як не за пазуху!

У старшин сердце не железное:

– Шо, бисовы диты, яблочек забажалы?!

– Да и от дульки кто откажется...

– Шо уж перепадет, – стеснительно вякали малыши.

Наскоро созвав совет, Сергей принял боевое решение – обойти ближний сад и обложить его. Давненько знал он, что охрана сада ненадежна. Для близира стоял там совсем ветхий и глухой дед Сопля со слезящимися глазами и вечно мокрым носом, имея на вооружении допотопную, будто бы заряженную солью, но еще никогда не стрелявшую берданку.

Младшим было дано задание поднять большой шум и оттянуть деда на себя. Старшие тем временем заберутся в сад с другой стороны и натрусят яблочек на всех. Ребята визгливо кричали, пустили в ход трещотки, но, видно, мало старались. А скорее, дед так оглох, что даже если бы в одночасье зазвонили все порушенные к тому времени в слободе колокола, то и они не достигли бы, кажется, навсегда уснувшего слуха бывшего вахмистра.

Что же происходило в это время на другой стороне сада, малышне не было ведомо. Когда они уgomонились, мертвая тишина стояла вокруг: ни сучок не треснет, ни шороха, ни звука, лишь жаркое солнце жжет вихрастые макушки затаившихся осадников. Яблоки – вот они, перед глазами. Как тут удержаться от соблазна, хотя и не велено забираться в сад! Не выдержал Верька, а с ним такие же нетерпеливые голопузы. С трудом допрыгивая до нижних ветвей, они встряхивали их, но яблоки держались крепко, и пришлось Верьке совать за пазуху больше падалицы. Когда поднял голову, увидел меж деревьев деда Соплю, шустро бежавшего на другую сторону сада, – только мелькали обшитые потертой кожей пятки его валенок. Видно, разгадал старый вахмистр хитрую стратегию Сергея...

На всякий случай Верька дал стрекача, но в спешке не попал в ту дыру, через которую побирался в сад. Повис на сучке, а, когда дернулся, рубашка разорвалась на спине, подол выскочил из трусов, и посыпалась на землю жалкая добыча. Только парочка падалиц задержалась в руках. Пробежал сотню метров, виляя на всякий случай

из стороны в сторону, и пал в канаву пузом вверх, втискиваясь в сухую прогретую землю с выгоревшей травой. Наперед знал, негодник, какое место в таких случаях спасать надо. Довольный тем, что пока все обошлось, принялся грызть точеную червем падалицу. Тут-то совсем невдалеке и грохнул выстрел, аж в ушах зазвенело. Верька насторожился. Не было никакого сомнения – дед Сопля решил применить соляное оружие. Ощупав живот и найдя его в полной сохранности, подался Верька к займищу. Огляделся – то тут, то там мелькали вихрастые головенки убежавших от злосчастного сада. Издали разглядел и воинственного сторожа, похожего на огородное пугало, но стоявшего на своем боевом рубеже гордо, с грозной берданкой наперевес.

Когда собрались на протоке, перед Верькой предстала вся печальная картина неудавшегося набега на сады. Запыхавшиеся беглецы были без яблок. Это было еще полбеда! На берегу лежал, сцепив зубы, сам старшой Сергей Восьмушин и делал все возможное, чтобы скрыть, какие муки он испытывал. Дед Сопля выпалил точно, попал туда, куда целился. Он не зря нес службу – потому и стоял так гордо. Коварная соль достигла Сережку уже на излете, прошибла рядно летних штанин, испятнала седалище по самой поверхности. Тут же на протоке стали выковыривать самые крупные соляные кристаллы и промывать заслуженные раны, Сережка слегка постанывал. И больно было, и неловко, а больше всего обидно, что даже дед Сопля достиг заветной цели, а отец дома, это уж точно, еще и добавит по тому же исстрадавшемуся месту...

Неловко было и Верьке, когда вспомнил, как оберегал себя, как втискивался в землю, как бежал, виляя, хотя в него никто не целился. Больше всего тяготило, что нарушил наказ – в сад не забираться и тем выдал замыслы старших. Кто же мог подумать в то время, что война уже близко и скоро принесет невиданные испытания, уже решительно и всерьез проверит прочность рождавшейся в детстве верности содружеству, скреплявшему наше поколение еще в детских играх, даже в не очень украшавших нас в глазах старших озорных проказах.

Ухо горит

Самый краешек процветания родной слободы, переименованной тогда в уездный город, Верька еще захватил. Процветание подкосил небывалый, охвативший все Поволжье голод. Может быть, это было уже не процветание, а нэповская агония, но слобода жила в довольстве и благополучии. Во всяком случае, она стояла целой, нисколько не тронутой разорением. Многие его сверстники жили в добротных срубленных домах, еще пахнувших свежим деревом, таких домов было немало. Люди заглядывали вперед, собирались жить в этих краях прочно и долго.

Когда однажды Верька увидел слободу через иллюминаторы парохода, она сияла огнями, десятки барж и пароходов грузились на ярко освещенных пристанях. Возбравшись тут же по крутому взвозу к дому Альтухова, Верька вступил в чистый, большой белокаменный город, украшенный вырвавшимися к нему церковными куполами и золотыми крестами. А приехал Верька от родичей из грязного Царицына и захолустного Камышина...

Испокон веков жила слобода окружавшей ее дальней степью больше, чем близкой Волгой – солью с Эльтона, слободским хлебом, горчицей, гуртами лошадей и верблюдов, отарами овец, кожевенными,



Пристань. Картина А. Токарева, 1993 г.

маслобойно-горчичными, лесными заводами, паровыми и ветряными мельницами... Знаменита была она и своими ярмарками, особенно торговлей хлебом и скотом.

Великую славу ей создали добрые души и золотые руки мастеров своего дела. Бывшие ломщики и возчики соли стали пахарями, кузнецами, колесниками, шорниками, мельниками, пекарями, кожевенниками, чеботарями, портными, шапочниками, валяльщиками, знатоками дерева, металла и кирпича, лудильщиками, точильщиками, стекольщиками, кондитерами, колбасниками. Какие только вывески не пестрили на улицах слободы! Иные горделиво начинались: «Мастер на всю Волгу»... Везде с достоинством, верой в силу своего дела встречали самых прихотливых, разборчивых заказчиков. И каждый хотел не обмануть, а сделать лучше другого.

Но в душах людей, особенно державшихся земли крестьян и верных им мастеровых людей, что-то происходило. Они тревожно воспринимали даже нэповские перемены. Но, куда денешься, еще держались земли-кормилицы, своих подушных полос-наделов и все поглядывали, крестясь на небо: сожжет ли нынче солнце их посевы, или будет дождичек вовремя? Все ли подчистую выметут власти из нового урожая или оставят что-то, чтобы пережить новые засухи? Каждый год хитрая новая власть придумывала перемены. А ну как новые законы пойдут один другого жесточе?

Пошли урожаи после смертного голода по всей Волге, Бог дал. Почти каждый год огрузали закрома у слобожан, лишний скот заводился. Но тут повеяло новыми ветрами: начали создаваться какие-то коммуны. Власти из сил выбивались, чтобы поддержать коммуны, разрушить привычные для старого времени подушные наделы, согнать в кучу крестьянство.

Слышал Верька, как отец с матерью, укладываясь спать, переговариваются, что гиблое идет время, как бы ни силой стали сгонять крестьян. Но нет, такого не было слышно, но люди чего-то выжидали, не спешили, не было веры в новое. На своей шкуре испытали жестокость перемен и тяжесть голода...

Тут-то и пошла новость напролом: тракторами будут поднимать непаханные зеленкинские дачи, отгоны для лошадей. Никто, правда, не видал этих тракторов в глаза, но поговаривали, что Америка шлет

их в Россию с большой охотой да и со своими наставниками. Вот-вот за самой большой мельницей Пфляумера, за слободой, будут показывать народу, на что способен «Фордзон», какой глубины борозду берет и как ловко разваливает...

Отец как раз служил на той мельнице и прихватил Верьку на эту показательную вспашку. Сначала какой-то Джек-американец рассказал все про «Фордзон», а потом молодой слободской парень Пашка Пустовой похлеще американца борозду вел, одну к другой приваливал, как своей рукой, с превеликой нежностью. Вот каким мастером оказался чумазый Пашка из ремесленного училища! За плугом, до блеска отполированным, гуртом бежала любопытная босая пацанва. Да и весь загон облеплен был народом любопытным, больше безземельным. Ходили уже слухи по слободе, что отдадут «Фордзон» коммуне «Ясная поляна» на слободских дачах Зеленкина, где раньше только конские табуны выгуливались и два казаха кобылиц выдаивали для хмельного кумыса.

И потянулись со всей округи давно разорившиеся, обнищавшие, можно сказать, бывшие хлеборобы на даровую пахоту в коммуне, но оставались все врозь, глядели по сторонам и дело не заладилось. Разбежалась «Ясная поляна», как сбегалась под одну крышу, лишь бы непогоду переждать да в ярмо голову сунуть...

Верька знал, что из этого может получиться, потому что отец давно уже купил ему книжку «Джек Восьмеркин-американец», в которой про коммуны рассказывалось красочно, но не очень правдиво. Сенька Голосов там табак сначала разводил, а потом трактор купил для коммуны и вроде что-то получалось у них на первых порах в помещичьей усадьбе, но, в конце концов, тоже все развалилось, когда коммунары в разные стороны поползли, как лебедь, рак да щука в басне. А тут на самом деле так получалось...

Но больше всего поразило Верьку в этой книжке какая-то неправда. Вроде все автор придумывал, как ему хотелось и чтобы интересней было читать. Особенно кулак был изображен, как на картинке того времени: в жилете, при часах. Сразу видно – нехороший человек, страшилище. Верька видел богатых людей – и прижимистых, и жадных, но они были из жизни, их можно было увидеть на улице. А этот, в книжке, – неживой. Отец тоже прочитал чуть-чуть, не стал много и говорит,

только рукой махнул: «Не видал я такого у нас. Сочинительство все это. На что-то похоже, но совсем не так, как в жизни бывает».

Вскоре новые слухи поползли, что в какие-то колхозы загонять будут силком. Верька прибежал с улицы, запыхавшись, и тут же к отцу:

– Папа! И я тоже хочу в колхоз, давай вступим...

– Дурачок ты несмышленный... Зачем-то сразу голову в петлю совать? Оглядеться надо.

А ночью слышал, как отец матери новость сообщил почти шепотом:

– Три колхоза в уезде создают – «Динамо», «Локомотив» и «Двигатель»...

Вскоре нанялся отец в «Динамо» бумажные дела вести.

Ходили при этом и еще слухи. Сказочные преобразования будут, у Соленого затона плотину строить начнут, Волгу перегородят, железную дорогу через нее пустят, каналами всю степь изрежут, а самую слободу зальют – ни шиша от нее не останется. В Царицыне трактора гудеть будут, не чета американскому «Фордзону», на гусеничном ходу, все суслиные норы раздавят. Воды теперь будет залейся, даже Торгун судоходным станет... Ко всему этому прислушивался народ с недоверием. Но ходил смурной, еще больше замкнулись люди в своих домах-крепостях, переживали новости в одиночку и совсем тяжело, чаще приходили к решению: покидать надо родные места, пока удавку на горле не затянули так крепко, что и дыхнуть не будет возможности.

Старики уходили со слезами, перекрестив родное подворье, завязав в узелок кормившую их земельку, молодые – угрюмо, махнув рукой, дескать, не пропадем, пока сила в руках есть. Вот тогда и начали зорить слободу. Дома на слом, на дрова шли по дешевке, целые пустыри-проплешины, заросшие бурьяном, появлялись в разных краях, а на буграх со степи оставались от хорошо и надолго построенных домов песчаные взгорья, как могилы на кладбищах. И ветер гулял среди них, поднимая песчаные бурунки. Уходила, на корню увядала средь верблюжьих колючек хлебная слава здешних мест.

Больше всего менялись люди. Хотя, казалось бы, внутренние перемены происходили медленно и незаметно. Хворали душой, если

не могли сделать так, как привыкли делать, боялись перемен, все более тревожных и совсем непонятных, пугавших таинственностью и неизбежностью того, что за ними последует. Одни замыкались в себе и переживали новое, непривычное еще тяжелей. Другие чувствовали себя свободней, внешне веселились, становились говорливой, вслух хвалили все новое, а втайне, перекрестясь, брали грех на душу, нашептывали одному соседу про другого всякие небылицы и выдавали за чистую правду: дескать, и не по душе ему эти перемены, и зубами скрипит, аж желваки каменные становятся, и нож по ночам точит, готовый все новое в клочья разодрать, а пуще того и наговаривали друг на друга – мол, один другого по миру пустить желает...

Нравственная преемственность поколений рвалась как трухлявая нитка. Старики переживали это с болью, молодые даже не осознавали, что рвется нечто коренное, возвращенное длительным временем. Первыми, как можно было понять из рассказов отца, нарушили веру сами духовники вскоре после революции. Попы-расстриги из двух-трех слободских церквей всенародно признались в своем безверии и пошли выступать на митингах, крушить религию с такой страстью, с какой антирелигиозная пропаганда делать этого еще не могла. Старухи-прихожанки, убедившись в предательстве своих недавних наставников, лишились дара речи, а верные православию сослуживцы в тех же церквях предавали их анафеме к великой радости верующих. Но все-таки что-то стонуло, надорвалось, надломилось в самих обычаях, в крестьянской повседневности, что-то рушилось. Пошли агитки про толстопузых, плакаты про религию как опиум народа. Молодежи нравилось, и она запела частушки, звонкие и похабные. Старики крестились и в изумлении говорили:

– Охальники! Господи, прости...

Все это происходило на глазах у Верьки. Все это он запоминал без всяких усилий. Памятливый и сообразительный был парень. Правда, соображал он еще наспех, на ходу, на всем молодецком бегу, о завтрашнем дне не думал, да и сегодня жил как живет, бесхитростно, как день сложится. Да что и требовать от малыша! Но прошли годы, и прожитое он стал видеть в другом свете, что-то видел как бы заново. Что уж говорить о детском восприятии, коли взрослые сами осознают, как часто они бывают сильны задним умом...



Церковь в селе Слободка. Рисунок А. Токарева

Когда начали ломать церкви, народ совсем отшатнулся от власти. Еще терпели, что крестьян догола обирали налогами, подчистую хлеб мели, «кулачили» и выселяли из родных мест. Но теперь сходились в новых чувствах, стихали даже завистники, пуще всего пугало: а что же дальше будет? Попов пересажали в первую голову, самых богатых крестьян искоренили как вражескую силу. Теперь что – подчистую народ выметать будут? А кто же пахать, сеять, хлеб работать станет? И сами пугались, не зная, что и ответить на такие вопросы...

Верька еще успел увидеть все семь слободских церквей, начиная с самой старинной – Преображенской. Правда, эту он застал в уродливом виде, со сбитой колоколенкой. Походила она на жалкий кубик, увешанный плакатами и лозунгами, а величалась «Клуб завода «Профинтерн». Даже окрестные жители стороной обходили этот клуб, вход в него забили досками крест-накрест, а потом и совсем доломали... А ведь вокруг этой церкви слобода обосновывалась, и деревянная ее хоромина, видевшая Пугачева, знаменитыми путешественниками «осьмнадцатого века» отмечалась как красивейшая в округе, с богатыми иконами древнего письма. Когда перевезли ее в Александровку, на Соляной тракт, чумаки не раз склоняли головы у ее алтаря.

Раб божий Верька крещен был в престольной многоалтарной

церкви Никольской, давшей имя слободе. Тут трудилось все купечество, не пожалевшее средств на золотые кресты и утварь. Пуще всего одарили церковь прихожане богатыми старинными книгами в кожаных переплетах с застежками, с узорными заглавными буквицами и красивейшими многоцветными рисунками. Когда последних попов пересажали и служба в этой церкви прекратилась, многие из книг церковной библиотеки Верька видал на чердаке, многие из них, чихая от пыли, листал. Но образование его не давало понять смысл и бесценное значение этих рукописей и старопечатных книг.



*Успенский собор.
Рисунок А. Токарева.*

Вот и вертели из них кульки для конфет слобожане. До сих пор стыдно...

Дальше на площади у здания райкома партии (до революции этим зданием безраздельно владела богатая помещица) стоял собор несколько дворянского типа, с колоннами у главного входа. Был он райкому явно не по соседству, его и спихнули в первую очередь, только раскидистые тополя и оставались еще какое-то время.

На исходе Широкой улицы дольше всех стояла самая бедная приходская, для простого народа с окраин церковь Александра Невского – приземистая, кряжистая, хотя изгородь и постройки вокруг пообломали. Может быть, и задержалась дольше других на земле этой, чтобы стать щепнем, укатанным на взлетных площадках, создав хоть какие-то удобства для летчиков, защищавших Сталинград в великой истребительной битве. Послужила еще Отечеству и кирпичиками своими... В церковь эту почти целое столетие ходили мои предки, при ней отец и школу приходскую кончал, да и деды, наверняка, тут же учились грамоте.

На песках, раскорячившись, стояли Покрова, сменившие



*Успенский собор.
Рисунок А. Токарева.*

деревянную церковь, перевезенную в Левчуновку. Тут отец с матерью венчались.

Но ближе всего с детства была мне Успенская церковь, ладная, стройная, открытая взору со всех сторон... Тут и ученье свое пришлось начинать, и приезжать сюда на родимое пепелище после разорения и переноса слободы. С этими местами связано и особое воспоминание.

Случилось это весной, скорее всего в мае, когда солнце пекло основательно и жара набирала силу. До сих пор не знаю, по случаю какого праздника за

полуразрушенной уже церковной оградой собирали крестный ход, выносили хоругви, раздували паникадила. Во главе хода гуртовались нарядные священники, больше всего в золотистых ризах и высоких сиреневых клобуках, суетились мелкие иереи, много народу стояло за оградой, собираясь присоединиться к торжественному шествию. Малышня и школьники, выпущенные на перемену, толпились на полуразобранной ограде, на которой оставалась и щебенка, и осколки кирпичей. Зрелище отсюда представало красочное, и, судя по всему, праздник собирался большой.

Ребята толкали друг друга, потихоньку сбрасывали ногами камешки во двор, а иногда и пошвыривали руками. норовя попасть в кого-либо из знакомых. Там, где ограда была пониже, кое-кого удавалось столкнуть вниз, и взобраться ему уже не давали. Так и Верьку спихнули, но кто-то сунул ему руку и помог подняться. Верька благодарно улыбнулся, узнав Сережку Восьмушина, и прижался к его ногам. Теперь он был под прочной защитой. Но парни постарше с их улицы звали к себе и даже тянули за рукав.

У них складывался какой-то коварный план, и они подбирали команду. Как начнут выходить из-за ограды и направляться к

Никольской церкви и к Собору, так и швыряйте камни в хоругви, в ризы попам и под ноги... Никто их не учил этому, но видела и понимала ребятня, что власти стеной стали против попов, унижают их как только могут. А ребятне только дай покуражиться, себя показать, смелость проявить.

Когда шествие двинулось в путь, в руки Верьки уже сунули приличный обломок кирпича. Он выбрал цель – захудалого попишку, а скорее, псаломщика или пономаря, что, принарядившись, замыкал шествие. Уж больно досаждал он ребятне с Мостовой улицы, когда во время церковных богослужений в церковь пытались проникнуть или на ограде висели. Злющий был служитель, все норовил за ухо схватить.

Верька понимал, что день торжественный, и старался не попасть в башку псаломщика, в ноги метил. «В ризу попаду, – думал про себя, – и то хорошо». Камни с ограды уже полетели один за другим в голову шествия и уже нарушили его торжественное движение. Прихожане в сторону шарахнулись, стали оглядываться, кое-кто вспрыгнул на ограду, чтобы укротить разгулявшихся шалопаев. Верька только и успел замахнуться, как его схватили за руку, да так цепко, что камень выпал под ноги. Хотел оглянуться, чтобы узнать, кто это схватил его, но в это время еще и ухо крутить начали, да с такой силой, что Верька взвыл. Боль все сильнее, ухо вот-вот отвалится. Орал Верька во всю мощь, визжал уже не своим голосом. Заметил только, что за спиной его орудует небольшой, но крепко стоящий на ногах мужичонка, да ус у него большой, по случаю праздника с особым прилежанием закрученный, и пахнет от него постным маслом. Решил про себя, что это дядя Иоська-милиционер, что еще недавно по слободе в белой каске расхаживал, а сорванцы бежали за ним и всякие непонятные слова выкрикивали: «Эй, ты, мебель, кебель, фельвебель! Не боимся, разбежимся, не поймаешь никого!». А он шел своей дорогой и усом не вел. Терпение уже кончилось, и Верька заорал во всю оставшуюся силу, спасая собственное ухо:

– Ах ты, Иоська! Какой ты милиционер, когда попов защищаешь и детям уши рвешь!

После этих слов ухо выскользнуло из рук истязателя, и Верька уже мог пощупать его своей рукой. Легче от этого не было: ухо

распухло и стало мягкое, как свиное сало, и не умещалось в прикрывшей его руке.

Верька знал, что его мучитель давно уже не служил в милиции и не носил форму, но то, что Иоська-фельдфебель стал старостой церковного прихода и по должности, но еще с милицейской жестокостью наблюдал за порядком, этого даже Верька предугадать не мог. Ухо еще больше раздулось, накалилось болью докрасна. Но Верька уже смирился с этой своей участью, важно, что ухо было на месте.

Когда Верька, плача, прибежал домой, мать не только что трепки не дала, а даже испугалась, сделала примочку, завязала ухо так, что у Верьки на голове стали торчать, как у зайца, белые тряпошные уши, и ему стало жалко самого себя. Мама не раз принималась ругать Иоську-фельдфебеля и собиралась жаловаться на него. Правда, она постепенно утихла. Утихла и боль у Верьки, и он даже начал признаваться самому себе, что наказание имело какой-то смысл и молчаливо напоминало о порядочности. Верька еще вспомнил, с какой укоризной поглядывала на него седая учителька Марья Степановна, и ему все более становилось стыдно за себя.

Но тогда что-то мешало признать свою вину, Скорее всего, боль. И все-таки при беглом размышлении он признавал свою неправоту, хватался за ухо и сознавал, что горит оно за дело. Прошли годы, Верька стал забывать об этом случае. А недавно признался мне, что теперь, когда вспоминает о грехах молодости, потерпевшее ухо горит. Годы прошли, и какие годы, а ухо все горит. Словно живая память в нем на всю жизнь заложена.

За окоемом¹

Выехали с отцом в степь еще затемно. Верька боялся проспать, но, когда его будили, чтобы усадить рядом с отцом на крытой опанчой бричке, он стал хныкать. Отец прижал его к себе, и, почувствовав родное тепло, сын снова уснул.

Конь с мельницы попался резвый, горячий, черногривый, с

¹ Это последний рассказ Виктора Васильевича Гуры. Закончить его автор не успел...

благородной сединой, весь в белый яблоках. Когда выбирались на Крячковскую дорогу по песку между кузниц и ветряных мельниц, отец сдержал гнедого, приберегая для долгой дороги в степи, соскочил с брички и пошел рядом, облегчая лошади тянуть поклажу. В пути всякое случается, а дорога дальняя. На заднике – целая скрыня с нужными в пути припасами. Небольшой деревянный бочонок с водой для себя и для лошади, под епанчой – не один слой ароматного сенца, торба с овсом. Отец как гарцевый контролер объезжал все мельницы уезда. Целый месяц по его прикидкам придется быть в пути.

Перед восходом солнца степь начала явственно проступать, светлеть со всех сторон. Налетел с востока дерзкий торопыга-ветерок, стало прохладней. Верька совсем близко прижался к отцу, но отец не пригорнул его, чтобы пригреть, а сказал:

– Просыпайся, солнце уже всходит.

Верька протер глаза, но никакого солнца не увидел, только впереди чуть посветлело. Вновь откуда-то издалека налетел ветер, пахнувший свежими степными травами, круто перемешанный с утренней прохладой. Верька передернул плечами и, недовольный таким началом путешествия, спросил:

– Где же оно, солнце? Не хочет приходить или опаздывает?

Сказал и замер, увидев, как впереди, прямо по дороге, над самой лошадиной дугой, небо зарумянилось, округлилось, как выскочивший



Ветряная мельница. Рисунок А. Токарева.

из печки румяный колобок. Солнце огромным испепеляющим кругом выкатилось на небо и всеторжествующе взбиралось выше и выше, подавляя мощью своей и красотой окружающую степь. Это было не солнце, а какое-то древнее божество. Завороженный, мальчик готов был стать на колени и перекреститься. Верька не знал, как величают это божество, но всепобеждающая ярость Солнца крутила в голове какие-то близкие слова. Появилось, разъярилось, яркое, великое светило? Не Ярило ли?

Замерший в изумлении, молитвенно стоявший рядом с отцом на коленях, Верька поначалу не заметил, что творилось в это время в просыпавшейся к жизни степи... Она, как девица-красавица в утренней постели, встречала вновь начинаемую жизнь изумленно и радостно, расцветая все красочней.

Росой, как крупной слезой, пригрело, прижало к земле придорожное многотравье, и Верька постепенно разглядел у обочины какие-то веселые пестрые цветочки: белые мелкие искорки, красные и синие зевы степного горошка, хватающегося за что попало, за совсем зеленую полынь, за чернобыл, даже за старую высохшую колючку, чудом не угнанную ветром. Вся степь, насколько видел глаз, бархатно зеленела до самого окоема, только местами проскакивали среди этой зелени запоздавшие красные и желтые тюльпаны. Совсем мелкие, они тоже хотели жить и еще открывались навстречу солнцу.

Радуюсь началу дня со всеми, Гнедой шел ходко, и отец не сдерживал его. Поутру было еще не так пыльно. Пыль выбивалась из-под колес, но курилась сзади еще вяло. По сторонам дороги уходили в бесконечную даль веселые зеленые щетинки хлебных посевов, и было такое впечатление, что человеческие руки не оставили необработанным ни одного кусочка земли – все засеяли. Отец даже знал, чем засеяли, и объяснял Верьке. Но он еще не мог отличить один посев от другого, кроме подсолнухов и кукурузы, которыми обычно обсажены были бахчи.

Вся эта земля близ слободы совсем недавно была подушными наделами и пестрила хуторами, а чем глубже в степь, тем хуторов становилось больше. Где-то совсем далеко, по словам отца, был когда-то маленький хуторок и у их деда Гаврилы.



Вечер. Окраина. Рисунок А. Токарева.

Вскоре съехали с дороги, чтобы подкормиться: отец вытащил кринку еще холодного молока, краюху слободского хлеба и кусок сочной брынзы. Верька уплетал все это в степи, под тенью брички с умноженным удовольствием. Отец бросил Гнедому сенца, и тот пережевал его до зеленого сока, кивал головой с благодарностью. Поглядывал Верька на коня-красавца и думал про себя: какое это благородное животное! Иной раз и среди людей не сразу сыщешь, чтобы так верен был и платил ближнему за добро привязанностью и дружбой.

Солнце пекло уже нещадно, когда тронулись дальше по изъезженной пыльной дороге. За бричкой пыль теперь крутилась клубами и оседала медленно на железные крылья над колесами брички, на спины седоков, на придорожную растительность. Солнце уже изнуряло, взобравшись на самый верх неба, а впереди над самой землей курились туманы, сначала серые, потом белесые с пеной поверху, и не было им конца и краю, словно впереди плескалось море. Вот-вот дорога упрется в него. Но чем длинней оказывался путь, тем дальше отодвигалось море и манило, звало к себе еще азартней. Верька спросил, что это впереди, похожее на расплескавшееся море, и если это море, то почему оно все время отодвигается. Отец объяснил очень уж по-научному: дескать, в степи так бывает иногда, когда

воздух сильно накаливается, а земля парит – вот и появляются обманывающие человека видения. Верька не очень понимал такое объяснение, но мираж нарастал – вода курилась и плескалась впереди, и у Верьки стала кружиться голова. Он пугался все время наступавшего на него и уходившего моря.

И вдруг справа от дороги туманно-водяные всплески стали реже, в промежутках появилась земля, а еще чуть дальше врезались в небо зеленые-презеленые тополя-раины. Это оказалось настолько неожиданным, что Верька замер, голова закружилась еще пуще, уже от радости, и он спросил у отца:

– А это что такое? Правда или опять показалось?

– Это Грицютин сад... Большущий сад, красивый, но чеченцы его порубили в войну.

Тут только заметил Верька большой, сиявший под солнцем домище, а рядом над колодцем вздернутый в небо журавль.

– Давай, папа, заедем. Отдохнем от моря, по саду прогуляемся. Да и пить хочется.

Отец не сразу решился: надо сворачивать с большой дороги, давать крюк, два лимана объезжать. Но отказать сыну не хватило сил, да и пора было давать передышку коню и детскому воображению. Наступило самое жаркое время дня, пора перекусить и передохнуть. Крюк оказался небольшим, а хозяин – знакомым отцу приветливым человеком. Коня напоили и поставили к коновязи в тени за домом, а седоков пригласили в хату и накормили хорошим борщом и вываренным в нем ароматным мясом. Не сад, а оазис в степи, с прохладой даже в эту лютую, разгулявшую жару, когда, кажется, и деться от солнца некуда. На яблонях и грушах плоды подросли до верькиного кулачка. Еще были кисловатыми, вяжущими во рту, но нравились свежестью. На свету завязывалась вишня, между раин цвели сирень и акация. Таким ароматным духом Верька еще не дышал никогда. Сморил его сон, мальчишку уложили на прохладной веранде, а отец поехал в усадьбу Зеленкина и в коммуну «Ясная поляна» поглядеть крупорушки.

Возвратившись, отец с грустью рассказывал, как хиреют без хозяина зеленкинские уголья и как на глазах разваливается «Ясная поляна».

– А работники там были хорошие, – рассказывал отец. – Помнишь Пашку Пустового, что пахал на «Фордзоне» у мельницы Пфляумера?

Конечно же, Верька не мог забыть первый увиденный в жизни «Фордзон» и чумазого парня, ловко им управлявшего. Но помнил он и Джека Восьмеркина, ставшего во главе коммуны, книжку про которого совсем недавно читали вместе с отцом. Это была вторая в жизни Верьки – после «Робинзона Крузо» – книжка, тоже из мира приключений и фантастики. Но фантастикой там выглядела жизнь нынешняя, иногда очень похожая на слободскую, а чаще всего, на какую-то далекую от нее, несбыточную сказку ...

1990-1991.

Вологда - Переделкино



Окраина. Рисунок А. Токарева

В фондах Николаевского музея краеведения хранится огромный краеведческий материал, в большинстве своем рукописный, по которому воссоздана история нашего края.

Это результат многолетней, кропотливой работы В. В. Гуры с различными архивами нашей страны:

- Центральный Государственный архив древних актов, г. Москва;*
- Центральный Государственный исторический архив СССР;*
- Государственный архив Саратовской области;*
- Государственный архив Астраханской области;*
- Государственный архив Волгоградской области.*

Об этом свидетельствуют документы, хранящиеся в музее: запросы, расписки, квитанции об оплате фотокопий документов XVIII - XIX в.в.



*А.П. Токарев.
Автопортрет*

Жил-был художник...

**Анатолий Петрович ТОКАРЕВ
(18.03.1930 г.– 28.03.2000г.)**

В завершение несколько слов о талантливом художнике, чьи работы достойно проиллюстрировали книгу «Хлеб да соль!».

Идея обратиться к работам Анатолия Петровича Токарева настойчиво требовала своего воплощения. Его картины, эскизы, зарисовки, наброски были созвучны авторскому повествованию стопроцентно. Подобное совпадение, конечно же, не могло быть случайным. За этим созвучием прочитывались их обоюдная преданность и любовь к прошлому малой родины, «канувшей» в водах рукотворного моря слободе Николаевской. Самостоятельные работы художника так точно соответствовали тексту писателя, словно речь шла об авторском заказе одного к другому. Конечно же, расстановка тех или иных иллюстраций – произвольный выбор составителей книги. Но выполнить эту работу им было не сложно, потому что и писатель, и художник смотрели на мир единым взглядом, они словно были на одной волне и, как мудрые собеседники, вели между собой диалог, неторопливый, заинтересованный и вдумчивый.

Писатель и художник знакомы с детства. Оба – уроженцы слободы Николаевской. Анатолий Петрович был одноклассником Тамары Васильевны Гуры, младшей сестры Виктора Васильевича.

По утверждению людей, близко знавших обоих, их связывали долгие дружеские отношения, которые они пронесли через всю жизнь. Виктор Васильевич бывал в свои приезды в Николаевск на знаменитой

лоджи художника, которую тот оборудовал под мастерскую, видел его работы, благодаря которым оживали картины прошлого. В свою очередь общение с ученым и писателем подвигло художника к написанию трех исторических картин «Чумацкий тракт», «Добыча соли на озере Эльтон» и «Озеро Резницкое», которые сегодня находятся в стенах Николаевского краеведческого музея. По воспоминаниям первого директора музея В. И. Гончаровой, Виктор Васильевич и Анатолий Петрович состояли в переписке. Сохранившиеся письма художника были переданы музею вдовой ученого Ириной Викторовной вместе с архивом мужа.

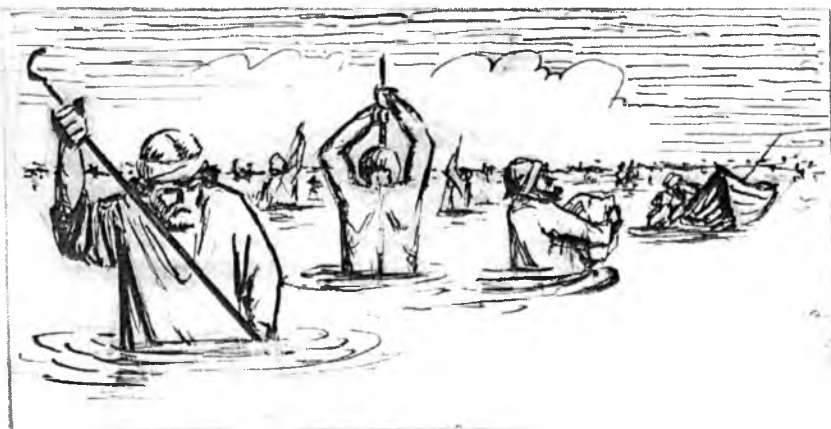
Как все-таки замечательно, что в нашем городе есть краеведческий музей, где бережно относятся к истории родного края. Ведь и сама эта книга появилась на свет благодаря тому, что ее машинописный вариант нашел приют в его фондах и ждал своего часа долгих 30 лет: как после этого не поверить в провидческие слова классика о том, что рукописи не горят!

Все тот же музей помог выяснить, что тридцать лет назад, в конце ноября - начале декабря 1983 года, на страницах районной газеты «Заволжье» в нескольких номерах была опубликована повесть «Хлеб да соль!» с иллюстрациями художника Токарева. По всему видно, что эти эскизы делались художником с учетом тогдашней верстки газеты, в жестком формате двухколонного или трехколонного клише. Сегодня, благодаря компьютерным технологиям, мы можем увидеть их в увеличенном виде и рады, что, хотя бы и с опозданием, но они станут частью книги (к сожалению, об этой находке составителям книги стало известно, когда работа над ней была уже практически завершена, а потому оказалось невозможным по техническим причинам полноценно включить их в текст книги).

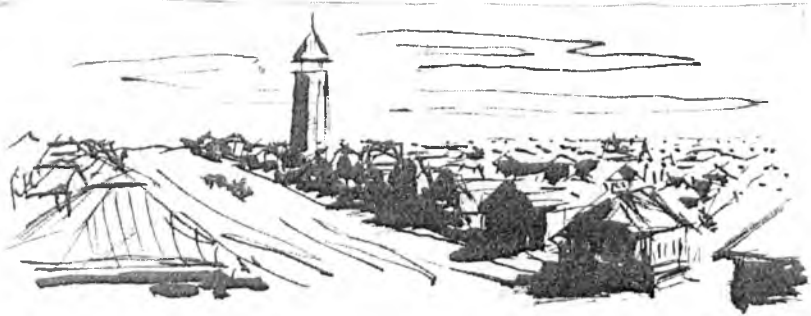
Литературный клуб «Слово» надеется, что следующей его коллективной благотворительной работой станет издание каталога картин Анатолия Петровича Токарева. Члены клуба благодарят всех бескорыстных помощников, которые оказали поддержку в подготовке к изданию этой книги.

**Наталья Гребенникова,
технический редактор издания, журналист**

ХЛЕБ ДА СОЛЬ!

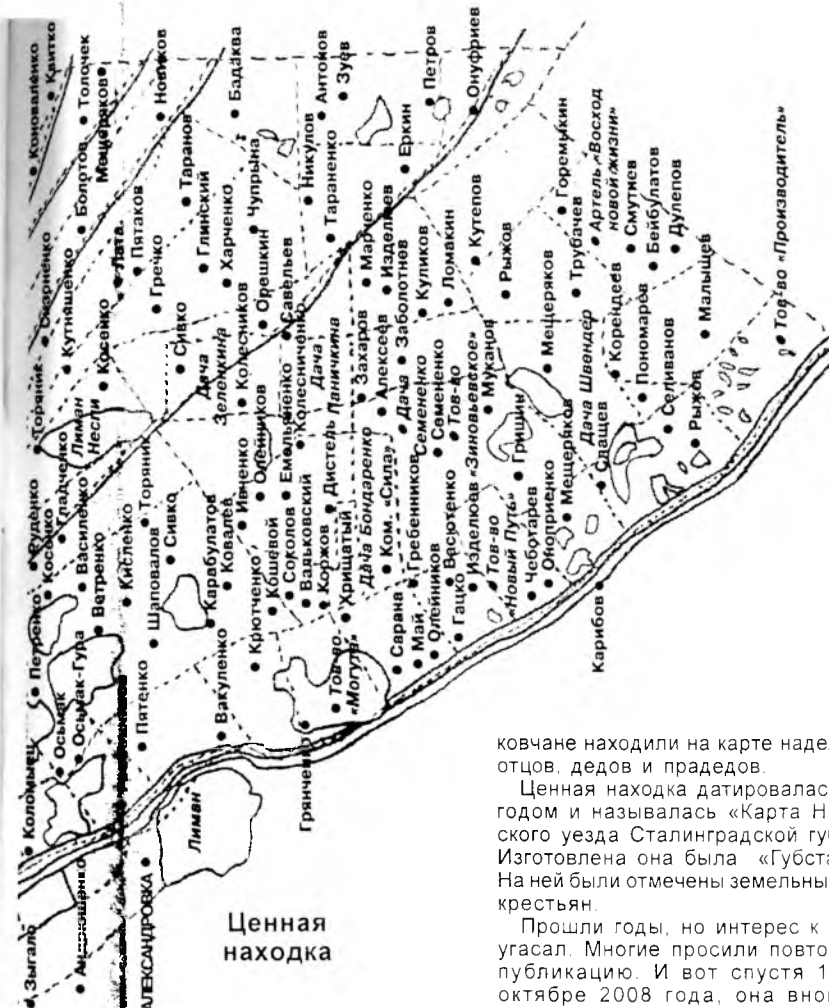
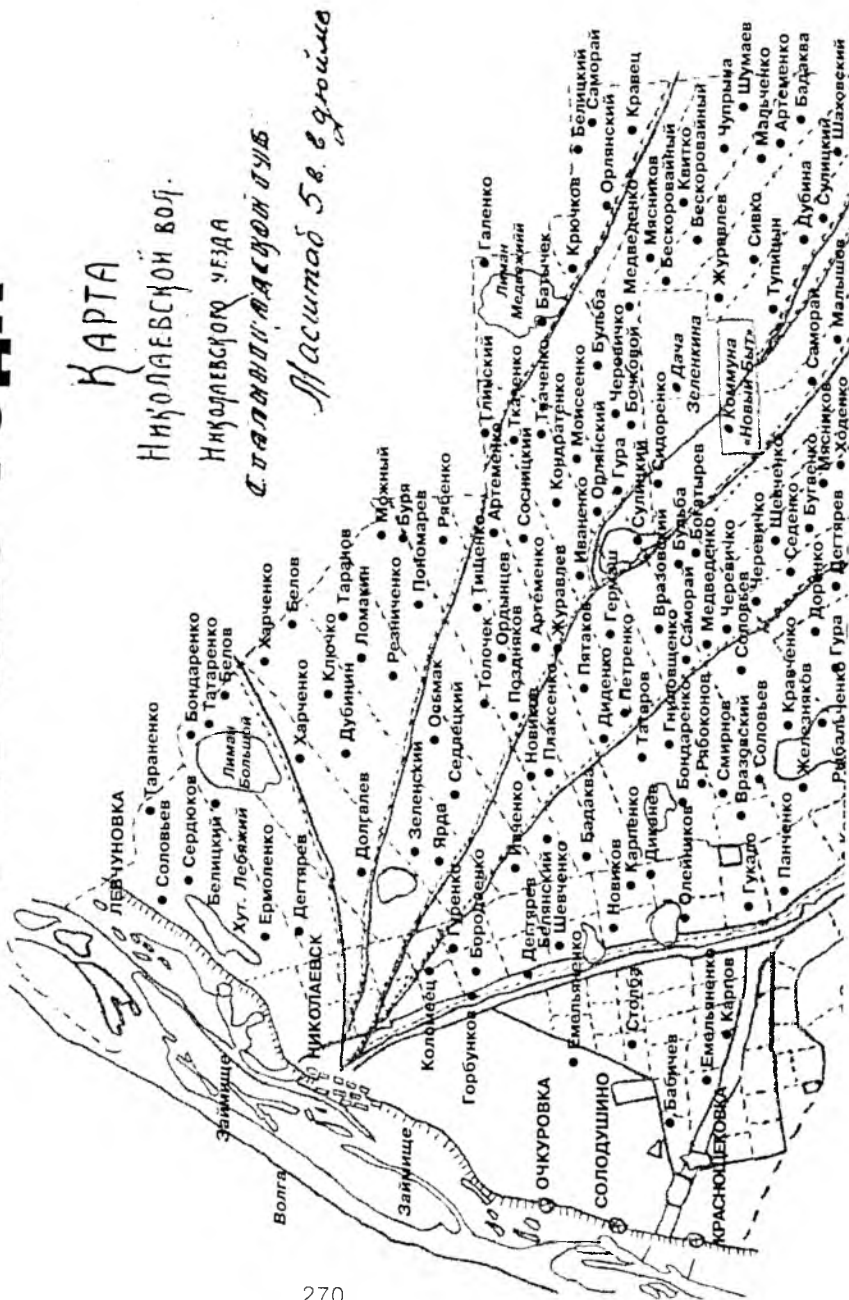








КАРТА 1926 ГОДА



Эту карту, пожелтевшую и полуистлевшую от времени, потертую на сгибах, принес в 1998 году в редакцию газеты «Компас» коренной местный житель Павел Васильевич Вакуленко.

Публикация такого редкого документа не осталась незамеченной: были многочисленные звонки в редакцию, письма. Многие николаевцы и даже их соседи-бы-

ковчане находили на карте наделы своих отцов, дедов и прадедов.

Ценная находка датировалась 1926-м годом и называлась «Карта Николаевской уезды Сталинградской губернии». Изготовлена она была «Губстатбюро». На ней были отмечены земельные наделы крестьян.

Прошли годы, но интерес к карте не угасал. Многие просили повторить её публикацию. И вот спустя 10 лет, в октябре 2008 года, она вновь была опубликована в газете, но уже в слегка отреставрированном варианте. С разрешения нашего коллеги, редактора газеты «Компас» Николая Васильевича Матвеева мы публикуем ее на заключительных страницах книги Виктора Васильевича Гуры «Хлеб да соль!».

Наша история – это нити, связывающие нас с прошлым. Без прошлого нет будущего.

Ведь мы не «иваны, не помнящие родства». Не так ли?

Содержание

Воин, ученый, писатель.....	3
Хлеб да соль!.....	15
Орлы и коршуны.....	93
С каланчи детства.....	121
Под кожушкой.....	161
Верькины истории.....	179
<i>Приложение</i>	
Жил-был художник... ..	264
Карта 1926 года	270

14.05.2025 037

